



# KETTŐS TÜKÖRBEN





# KETTŐS TÜKÖRBEN

ВЕНГЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ  
/ Magyar irodalom oroszul

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ВЕНГЕРСКИХ ПЕРЕВОДАХ  
/ Orosz irodalom magyarul

СБОРНИК КОММЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕВОДОВ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ВЕНГЕРСКИХ И  
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
/ Kortárs magyar és orosz szerzők műveinek  
fordítása kommentárokkal



KAIROSZ KIADÓ, 2019





Подготовлен сотрудниками, студентами и выпускниками  
СПбГУ, Дебреценского университета и Сегедского университета  
/ Készítették a Szentpétervári Állami Egyetem, a Debreceni Egyetem  
és a Szegedi Egyetem oktatói, valamint jelenlegi és végzett hallgatói

Составители и редакторы:  
Йожеф Горетить (Дебреценский университет) и старший  
преподаватель Оксана Якименко (СПбГУ)

A kötetet összeállította és szerkesztette:  
Goretity József (Debreceni Egyetem)  
és Okszana Jakimenko (Szentpétervári Állami Egyetem)

ISBN: 978-963-514-052-7

A kiadásért felel a Kairosz Kiadó vezetője.  
1134 Budapest, Apály u. 2/B.  
www.kairosz.hu

Tördelés: Németh Ilona  
Nyomta és kötötte: Innovariant Kft., Algyő  
Felelős vezető: Drágán György

## ОГЛАВЛЕНИЕ / TARTALOM

<i>Előszó</i> (Goretity József).....	7
<i>Предисловие</i> (Йожеф Горетить).....	9

<i>Сборник комментированных переводов</i> (Оксана Якименко)....	10
Okszana Jakimenko.....	11

### ЧАСТЬ 1 / I. RÉSZ

#### ВЕНГЕРСКИЕ АВТОРЫ НА РУССКОМ / MAGYAR SZERZŐK OROSZUL

Ласло Чабаи: <i>10 (чужое пальто)</i> / Csabai László: <i>10 (nem azé, akié)</i> .....	14
перевод Оксаны Якименко Комментарии переводчика.....	28

Кристина Тот: <i>Пиксели</i> / Tóth Krisztina: <i>Pixel</i> .....	39
перевод Виктории Попиней Комментарии переводчика.....	52

Дёрдь Шпиро: <i>Весенняя выставка</i> / Spiró György: <i>Tavaszi tárlat</i> .....	58
перевод Алины Щегловой Комментарии переводчика.....	69

Эрвин Лазар: <i>Фарфоровая кукла</i> / Lázár Ervin: <i>A porcelánbaba</i> .....	78
перевод Елизаветы Сочивко Комментарии переводчика.....	88

Кристиан Гречо: <i>Красавчик</i> / Grecsó Krisztián: <i>Szép</i> .....	97
перевод Людмилы Кулаговой Комментарии переводчика.....	110



## ЧАСТЬ 2 / II. RÉSZ

РУССКИЕ АВТОРЫ НА ВЕНГЕРСКОМ / OROSZ SZERZŐK MAGYARUL

Alekszandr Tyerehov: <i>Hipnózis</i> / Александр Терехов. <i>Гипноз</i> .....	120
Goretity József fordítása Fordítói kommentár.....	132
Zahar Prilepin: <i>Gyufa és dohány, meg miegymás</i> / Захар Прилепин. <i>Спички и табак, и все такое</i> .....	147
Molnár Angelika fordítása Fordítói kommentár.....	160
Roman Szencsin: <i>Az igazi férfi</i> / Роман Сенчин. <i>Настоящий парень</i> .....	175
Teleki Anna fordítása Fordítói kommentár.....	183
Jurij Bujda: <i>Kazimir Malevics másik élete</i> / Юрий Буйда. <i>Другая жизнь Казимира Малевича</i> .....	195
Kóti Regina fordítása Fordítói kommentár.....	205
Grigorij Rjazszkij: <i>A luk</i> / Григорий Рязский. <i>Дырка</i> .....	213
Valkai Szabina fordítása Fordítói kommentár.....	226
Vjacseszlav Pjecuh: <i>A vég – kommentárokkal</i> / Вячеслав Пьецух. <i>Кончина и комментарии</i> .....	234
Debreceni Ferenc fordítása Fordítói kommentár.....	244

## ELŐSZÓ

### *Műfordítások és kommentárok*

Fordítani lehetetlen, de muszáj – ez a paradoxon az alapja minden fordítói, különösképpen műfordítói tevékenységnek, amelyet munkája során minden fordítónak szem előtt kell tartania. Fordítás közben e paradoxon feloldása nem más, mint hogy a fordító gúzsba kötve táncol: pontosan, a nyelv szabályainak megfelelően, mégis művészien, szabadon bánik a célnyelvvel (legtöbbször az anyanyelvével) úgy, hogy közben adekvátan visszaadja az átadó nyelven létrehozott szöveg jelentését és minden stilisztikai árnyalatát. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a fordítónak (elvileg) mindent tudnia kell, bármilyen témáról is szólna az eredeti szöveg, és tudnia kell bármilyen nyelvi regiszteren megnyilvánulnia, akármilyen távol is álljon tőle az eredeti szöveg stílusa. A feladatot a fordító különféle megfontolások és döntések sorozatán keresztül végzi el: fordítás közben felmerülnek a legkülönfélébb megoldások, variánsok, amelyek aztán nem kerülnek bele a végleges fordításba – alapjában véve ezek mind a fordítási folyamat „melléktermékei”, „hulladék anyagai”, amelyek az olvasót egyáltalán nem érdeklik. Érdekelhetik viszont azokat, akik valamely idegen nyelvet tanulnak, mélyebben érdeklődnek egy másik nép irodalma iránt, vagy esetleg fordítással (műfordítással) foglalkoznak. A kötetben szereplő magyar–orosz és orosz–magyar műfordítások ízelítőt nyújtanak az érdeklődőknek a kortárs magyar, illetve a kortárs orosz irodalom tendenciáiból, képviselőiből, művészi világából. A fordításokhoz tartozó fordítói kommentárok pedig betekintést engednek a fordító műhelymunkájába, az eredeti szöveg szerzőjével és munkásságával való ismerkedéstől a fordítandó mű értelmezésén, a narrációs eljárás felfejtésén és a stílus kialakításán keresztül egy-egy konkrét szó szemantikai, stilisztikai, hangzásbéli, stb. szempont alapján történő kiválasztásáig. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, a kötet létrehozásában – nemcsak azért, mert dolgoztak a szövegekkel, hanem azért is, mert fordítóként, nem kis bátorságról tanúságot téve, mintegy „meztelenre vetkőztek” az

olvasó előtt: láttatni engedték a fordítói munkából mindazt, ami más, „normális” esetben takarva marad. Külön köszönet Okszana Jakimenkónak, aki magára vállalta a közös munka koordinálásának és a kötet összeállításának nem könnyű feladatát, valamint a Tolsztoj Társaság a Magyar–Orosz Együttműködésért Egyesületnek, amely lehetővé tette e könyv megjelenését.

*Goretity József*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### *Переводы и комментарии*

Переводить невозможно, но необходимо. Этот парадокс – основа деятельности любого переводчика, особенно переводчика художественной литературы, и каждый из нас должен помнить о нем в процессе работы. Для разрешения парадокса переводчику приходится буквально танцевать со связанными ногами: а именно, следуя правилам и нормам, но при этом художественно и свободно обращаться с языком перевода (чаще всего это его или ее родной язык) и в то же время адекватно передать созданные в тексте оригинала смыслы и стилистические оттенки. Чтобы это произошло, переводчику (по идее) надо знать все – какой бы теме ни был посвящен оригинальный текст, и уметь передать стиль текста оригинала в любом регистре – как бы ему ни был чужд этот регистр. Выполняет переводчик эту задачу путем различных решений и рассуждений: в ходе перевода возникают самые разнообразные варианты, которые впоследствии не попадают в окончательный вариант перевода – по сути речь идет о «побочных продуктах», «отходах» перевода, и читателя они вообще не интересуют. Однако они могут заинтересовать тех, кто изучает иностранный язык, хочет лучше узнать литературу другого народа или же занимается переводом (в том числе и художественным). Опубликованные в сборнике переводы с венгерского на русский

и с русского на венгерский дадут возможность всем, кто интересуется современной венгерской и русской литературой, узнать о тенденциях и представителях обеих литератур, их художественным миром. А написанные к каждому переводу комментарии позволят заглянуть в мастерскую переводчика и отследить весь процесс: от знакомства с авторами оригиналов и их творчеством и анализа конкретного произведения, через раскрытие характера повествования и составляющих стиля до выбора конкретного слова исходя из соображений семантики, стилистики, звучания и т.д. Благодарен всем, кто поучаствовал в создании сборника – не только за работу с текстами, но и за то, что осмелились в определенном смысле «раздеться догола» перед читателем, продемонстрировав немалую смелость, и разрешили увидеть то, что в «нормальных» условиях остается скрытым. Отдельное спасибо Оксане Якименко, взявшей на себя непростую задачу скоординировать совместную работу над сборником, а также – Ассоциации «За венгерско-российское сотрудничество» им. Л.Н. Толстого, благодаря которой эта книга увидела свет.

*Йожеф Горетитъ*

## СБОРНИК КОММЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕВОДОВ

Несколько лет назад во время проведения очередного венгеро-русского летнего лагеря для молодых переводчиков мы с коллегой, профессором Йожефом Горетитом задумались о том, что неплохо было бы объединить наши усилия и, наряду с уже традиционными для участников этого лагеря сборниками русской прозы на венгерском и венгерской – на русском, издать еще и общую книгу, где можно было бы представить не только переводы на венгерский и русский языки, но и комментарии самих переводчиков. Признаюсь, с самого начала идея показалась мне довольно смелой: читатель обычно не слишком интересуется переводческой кухней, ему важен сам текст, а уж что там думал переводчик, принимая те или иные решения – его, переводчика личное дело. Однако коллега резонно отметил, что переводы читают не только те, кто не знает иностранных языков, напротив, они часто полезны тем, кто эти языки изучает и хочет их совершенствовать. Так и родился замысел этой необычной книги, в которую вошли небольшие тексты – рассказы или фрагменты более крупных прозаических произведений, – переведенные преподавателями, выпускниками, аспирантами и магистрантами Санкт-Петербургского государственного университета и университета города Дебрецен (Венгрия) и снабженные пространными комментариями. Каждый переводчик рассказывает о выбранном авторе, о сложностях, возникших у него или нее при переводе конкретного текста, и объясняет свои переводческие решения. На мой взгляд, знакомство с переводами даст возможность венгерским и российским студентам не только расширить свои представления о литературе обеих стран, но и лучше понять, как работает переводчик, а то и поспорить с предложенными решениями. Хочется также поблагодарить всех коллег – и опытных, и молодых, – кто откликнулся на наш призыв.

Уверена, попытка отразить ход собственных мыслей в процессе перевода, стремление обосновать выбранную стратегию помогает нам всем – и опытным и начинающим переводчикам – выйти на новый уровень и, в каком-то смысле, стать частью высокой традиции. Если обратиться к истории перевода, мы увидим, что многие переводчики (в том числе и те, чьи переводы в буквальном смысле изменили ход истории, как Мартин Лютер, например) считали необходимым объяснять своим читателям и коллегам, как и почему они переводят. В XX в. блестящим примером такого переводческого текста стала книга Умберто Эко «Сказать почти то же самое». Сегодня же, в эпоху, когда художественный перевод остается практически единственным видом переводческой деятельности, выполняемой без помощи систем автоматического перевода и искусственного интеллекта, подобные начинания носят еще и глубоко гуманитарный характер.

*Оксана Якименко*

## KOMMENTÁROKKAL ELLÁTOTT FORDÍTÁSOK KÖTETE

Néhány évvel ezelőtt, a fiatal fordítók számára megrendezett, soron lévő magyar-orosz nyári fordítótábor idején kollégámmal, Goretity Józseffel elgondolkodtunk azon, hogy nem lenne rossz egyesíteni az erőinket, és a tábor résztvevői számára hagyományosan létrehozott orosz nyelvű magyar és magyar nyelvű orosz prózaköteteken kívül megjelentetni egy olyan közös könyvet is, amelyben nemcsak az orosz és magyar nyelvű fordításokat mutatnánk be, hanem a fordítók kommentárjait is. Bevallom, kezdetben az ötlet eléggé merésznek tűnt: az olvasót általában nem különösebben érdekli a fordító műhelymunkája, neki maga a szöveg a fontos, és hogy mit gondolt közben a fordító, amikor ilyen vagy olyan döntéseket hozott, az legyen a fordító személyes dol-

ga. A kollégám ugyanakkor logikusan megjegyezte, hogy a fordításokat nem csak azok olvassák, akik nem tudnak idegen nyelveket, éppen ellenkezőleg, a fordítások gyakran azok számára is hasznosak, akik tanulják az adott idegen nyelvet, és fejleszteni szeretnék a nyelvtudásukat. Így született meg e nem mindennapi könyv ötlete, amelybe olyan rövid szövegek – elbeszélések vagy nagyobb terjedelmű prózai művek részletei – kerültek, amelyeket a Szentpétervári Állami Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Egyetem oktatói, végzett hallgatói, doktoranduszai és mesterhallgatói fordítottak és láttak el terjedelmes kommentárokkal. Minden fordító mesél az általa választott szerzőről, azokról a nehézségekről, amelyek a konkrét szöveg fordítása során merültek fel, és elmagyarázza fordítói döntéshozatalait. Véleményem szerint az e szövegekkel való megismerkedés nemcsak arra ad lehetőséget a magyar és orosz hallgatóknak, hogy bővítsék ismereteiket a két ország irodalmáról, hanem arra is, hogy jobban megértsék, miként dolgozik a fordító, sőt hogy akár vitába is szálljanak a fordító döntésével. Szeretnék egyúttal köszönetet mondani minden olyan kollégának – tapasztaltnak és fiatalnak egyaránt –, aki reagált a felhívásunkra.

Meggyőződésem, hogy reflektálni a fordítás közben kialakult gondolatmenetre és megpróbálni megalapozni a választott fordítói stratégiát, mindannyiunk számára – tapasztalt és kezdő fordítók számára egyaránt – segítséget nyújthat abban, hogy magasabb szintre léphessünk, és leagalább valamennyire egy jelentős hagyomány részeivé válhassunk. Ha szemügyre vesszük a fordítás történetét, láthatjuk, hogy a fordítók (köztük olyanok is, akiknek fordításai, mint Luther Mártonéi például, a szó szoros értelmében megváltoztatták a történelem menetét) szükségesnek tartották elmagyarázni olvasóiknak és kollégáiknak, hogy miként és miért fordítanak. A 20. században az efféle fordítói szöveg ragyogó példajaként szolgál Umberto Eco Majdnem ugyanazt mondani című könyve. Manapság pedig, amikor a fordítói tevékenységnek gyakorlatilag a műfordítás maradt az egyetlen olyan formája, amely számítógépes fordítói programok és mesterséges intelligencia használata nélkül valósul meg, az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések ráadásul még mély humánus jelleget is öltenek.

*Okszana Jakimenko*

## Часть 1 I. Рész

### Венгерские авторы на русском / MAGYAR SZERZŐK OROSZUL

Ласло Чабаи

## 10 (ЧУЖОЕ ПАЛЬТО)

*фрагмент романа «Синдбад, детектив»*

– Будь вы по-настоящему знакомы с Нярлигетом, вы бы знали: дома по Шелковой, Оленьей и Речной улице скрывают не только украденные завещания и имена настоящих отцов младших детей, но и прелестных, образованных и к тому же небедных барышень, которые удаляются – летом на террасу, в холода – в зимний сад под предлогом, будто им срочно надо почитать исторический роман, или вздыхая жалуются на головную боль, а сами ждут, когда же хоть кто-нибудь позовет их замуж. Барышни эти все больше блондинки, носят жоржет коричневого оттенка... Кстати! Вы заметили, сколько в Нярлигете блондинок? Словачки – понятное дело, потому что славянки, насчет швабских девушек – тех, что с Напкора, Ракамаса, да с Гавы сюда переселились, – тоже удивляться нечему, немки все-таки, но даже еврейки светловолосые попадают. В толк не возьму, отчего, может, на них с остальных перекинулось...

– Могу поверить! – перебивает Синдбад Эрнэ Шульц, он же Шульцер, канцелярист, недавно уволенный из городской мэрии (после третьей кружки темного крепкого – вроде того, что варят на дрехеровских заводах – сыщик вдруг настроился на неожиданно лирический лад). Сам Шульцер уже пьет десятую. – Явно ждут кого-то, да только я в их глазах никто, и навсегда останусь никем, тем более, если завтра меня отправят за решетку!

– Назначили, выходит, слушание. Быстро они, – реагирует детектив, но к удовлетворенности работой коллег тут же примешивается жалость. Синдбад старается скрывать это при посторонних, но к тем, кто преступил закон, он испытывает сос-

традание, если они, конечно, не закоренелые преступники. – Адвоката выбирайте из «среднячков», слишком дешевый провалит дело, а дороже платить – деньги на ветер бросать! – советует он Шульцеру, но тот стучит кружкой по столу.

– Да только я невиновен!!! Не-ви-но-вен!!! – на крик оборачиваются все посетители ресторана Обештер.

Если Синдбад чего и не любит, так это слишком бурного выражения чувств у подозреваемых. Кроме всего прочего, следствие – а длилось оно всего один день – вел лейтенант Чонка, с которым у него как раз натянутые отношения, так что вмешиваться в это дело ему не стоит. Шульцер тем временем успокаивается, опять начинает сетовать, вызывая у Синдбада очередной приступ жалости.

– Сглупил, признаю, но это ж на минутку всего. А в чем меня обвиняют – в том не виновен...

За годы, проведенные в полиции, Синдбад успел заметить: ошибочно полагать, будто все подозреваемые упирают на свою невиновность. Серьезные преступники все больше молчат и пожимают плечами.

– Тогда вам нечего бояться суда... – детектив утешает собеседника, но в глаза не смотрит, знает – все не так просто.

– Куда там! У меня даже на распоследнего адвокатишку денег нет, самому придется себя защищать. Сколько бы я доказательств ни приводил, какая-нибудь акула судейская...

– Стоп! – прерывает его Синдбад. – Значит, доказательства все-таки имеются?

Шульцер вытирает рот, дожидается перерыва между приступами икоты, чтобы всякая ерунда не помешала сделать важное заявление, и, сдерживая пыл, но вполне искренне начинает:

– У моей невиновности есть целый ряд доказательств. Во-первых, я не преступный элемент. И вся моя карьера тому свидетельство! За вычетом одного должностного проступка, двух эпизодов неподчинения начальству и нескольких случаев нарушения общественного порядка вследствие употребления алкоголя, резюме у меня безупречное, чистое, как снег!



По тому, как детектив морщит губу, прячась за кружкой, его собеседник понимает, что приведенные факты на Синдбада не действуют, и собирает силы для решающего довода:

– Кроме всего прочего первичная моя интенция тоже была ложной...

– Человеческим языком объясните! И начните с самого начала! Насколько мне известно, вы нанесли ущерб Лефковичу.

Шульцер покаянно вздыхает, точно голодный ребенок, которого застукали за кражей банки с вареньем.

– Было дело. Такие обстоятельства были с этим связаны... короче говоря, я был на краю пропасти – да я и сейчас там, – и в отчаянии не нашел другого выхода.

– То есть, подрезали из кассы три тысячи пенгё.

– Все так. Правда, не из кассы, а из коробки из-под обуви производства «Батя», она на прилавке стояла, и не деньги, а ваучер, субсидия на три тысячи пенгё. Мы же еще саженцами торгуем.

Синдбад читал, как столичные министры придумали, будто нищету в восточных районах страны можно победить, если разводить яблоки. «Убедить людей, привыкших к лапше да кукурузной каше, высаживать яблони, когда они эти свои два жалких хольда с таким трудом отвоевали и не успокоятся, пока на чердаке кукурузы и пшеницы не будет столько, чтобы дотянуть до нового урожая. Яблоки? Да тут веками больше одной яблони во дворе не сажают – и ту в дальнем углу сада, чтобы детям на рождество было что в подарок положить. Яблоками сыт не будешь. Да и первого приличного урожая раньше, чем через пять-шесть лет ждать нечего, а до тех пор чем питаться? Ничего их этого не выйдет! Мертворожденная идея!» – такое у народа мнение.

– А что, у вас хозяйство?

– Ваучер можно толкнуть на черном рынке в любой момент, минус десять процентов. Их хоть и распределяют через мэрию по министерским спискам, но номера фиксировать не надо, да и незачем, ведь... ведь господин Пошта и так бы их принял...

– То есть, тут еще и карты замешаны.

– Они самые. Господа Пошта, Коперташ и Брифман, – Синдбаду эти фамилии знакомы по материалам дела. – Каждый день они заходят в Корону раскатать партию. Видать, мой ангел хранитель и отвернулся от меня, когда я сел с ними в ульти<sup>1</sup> играть. Эта тройца навесила на меня огромный долг. Половина каждого моего выигрыша уходит на его возмещение. Но отцовское наследство захватить не позволю! – Шульцер ждет от Синдбада понимающего кивка. – Бывали у меня и удачные дни, в прошлом году в ноябре один раз до того довел их, что Пошта Брифману кредит дал. Или намерен тоже ставка 140 пенгё, Коперташ прохладается, Пошта свой контракт проигрывает, потому как Брифман объявил, что берет взятку, то есть заканчивает игру, сидят все трое, головы ломают. Это и есть вариант взять банк, когда у противника хорошие карты, он из игры выходить не хочет, я говорю «хорошо», ведь ему хорошо, но мне-то еще лучше, чувствую, сейчас будет дурхмарш,<sup>2</sup> верю в свою руку... Знаете, чем черт не шутит, если удво...

– Дальше! – торопит детектив. – Сколько осталось от трех тысяч?

Шульцер словно сходит с карусели на твердую землю.

– Интроспекция. Слышали про такое, господин хороший? Слышали, конечно. В решающие моменты жизни следует вообразить себя предметом исследования (и снова с воодушевлением), объективировать себя, а затем уже посмотреть в глаза судьбе, понять, чего она ждет от тебя в моральном отношении...

– И вы были способны на это?

– Да, господин хороший. Сам удивляюсь, но смог.

– То есть, разгромить вы их не разгромили.

– Нет. По правде сказать, (с легкостью) партия в тот вечер не состоялась – Поште надо было в Пешт (подчеркнуто), но могу заверить, господин капитан, что я пришел туда исполненный ре-

<sup>1</sup> Популярная в Венгрии карточная игра т.н. «немецкого типа».

<sup>2</sup> Ситуация в партии Ульти, когда разыгрывающий (солист) должен взять все взятки.

шимости, убежденный, что смогу устоять перед приглашением! Устоять – не то слово! Да я бы в лицо им бросил, паразитам, губительным для общества...

– Дальше!

– Собрался я с духом и пошел к Лефковичу второй раз.

– Второй раз?

– Да. В половине восьмого утра того же дня я уже заглядывал к нему в лавку. Сообщил как на духу, что забрал ваучер, объяснил, зачем он мне нужен и пообещал, когда выиграю, выплатить долг без процентов. Так и сказал ему, мол, понимаю, если вам кажется, что ваше доверие ко мне пошатнулось, и вы потому меня прогоните, но погодите, не заявляйте хотя бы до вечера.

– Могу представить, с каким пониманием он к вам отнесся!

– Орал, что меня на кол пора посадить.

– Кто еще был при этом?

– Жена его, подмастерье... да, еще агент фирмы Маутнер – те, что посевными материалами торгуют.

– А второй визит?

– Где-то около половины первого. В лавке тогда уже только жена Лефковича была, да мальчишка-помощник, я поднялся на второй этаж, где хозяин по своей привычке обедал...

– Вы прошли через магазин.

– Из самой лавки нет входа на второй этаж. Только через подворотню, что ведет во двор трефтортовского особняка. Попросил у Лефковича прощения, отдал ему ваучер. Он поворчал, поругался, но ваучер взял, я было подумал, что делу конец. Да только на другой день с утра инспектор наш Чонка вызывает меня к себе в кабинет и швыряет на стол заявление. Автор – Лефкович. Этот негодяй накатал на меня жалобу, то есть, даже не просил списать долг, как будто... будто я ему не отдал все, что был должен, честь по чести. Меня допросили – я всю правду рассказал, но напрасно, вчера получил повестку явиться в суд.

– Будем честными: Чонка дело не просто так в суд передал. В конце концов, Лефкович трех свидетелей смог предъявить и до-

казать, что вы сами признались в краже, а вот как отдавали – никто не видел.

– А я как же?!?!

– Ах, да, верно. Увы, свидетельство обвиняемого в свою пользу как правило на решение суда не влияет.

– Но речь-то не только об этом! Я еще в начале упомянул про ложную интенцию. По-вашему, то, что я стащил ваучер для покрытия карточного долга, так уж невероятно?

– Напротив.

– Однако же игра в тот день не состоялась, логично же, то я не смог отыграть... взаимобразно взятый ваучер, и так же логично было вернуть его владельцу...

С до такой степени неправдоподобной «логикой» Синдбад еще не сталкивался – и опять склоняется над кружкой.

Когда султан в подражание Западу ввел в империи Танзимат,<sup>3</sup> волнение среди подданных было столь велико, что властям пришлось срочно вернуться к привычному гнету и притеснениям. Но самое великое смятение – больше, чем все указы с обещаниями всяческих свобод, впоследствии приостановленные, – вызвало разрешение пить раки, турецкую водку. Послушные Корану народы империи на протяжении столетий с трудом подчинялись запрету, наложенному Пророком, но раки – это дьявольское пойло, даже по виду напоминавшее какие-то выделения из груди самого черта, не оставляло попыток захватить власть. Задолго до того, как Синдбад с отцом приехали в Турцию, многие лавочки со сладостями, пекарни, где пекли кунжутные лепешки и маленькие кафе, где готовили пилав превратились в грязные, пахнущие потом распивочные, а на благоухающих лимонным маслом, куркумой, тамариндом и кебабами с перцем и чесноком рынках стал распространяться запах дьявольского напитка.

<sup>3</sup> «Упорядочение», «уложение» (осман.) – реформы, проводившиеся в Османской империи с 1839 по 1876 гг.

Пришлось отцу Синдбада вспомнить все, что он знал об отравлениях алкоголем, об острых кишечных и желудочных воспалениях. Указывая сыну на пьяниц, храпевших друг на друга по обочинам узких улочек, он не раз отмечал: «Такого я даже на скотном рынке в Нярлигете не видел, а там сливовицу прямо из бочек во фляги разливают.»

Когда Синдбад впервые почувствовал запах раки, ему стало плохо, вырвало даже. Но ряд на базаре, где ее продавали, он не обходил стороной. Тяжелый дух одновременно раздражал и притягивал. Обойдя прилавки с бутылками, он потом до ночи нюхал рубаху, когда же запах раки выветривался, надо было снова идти на базар. Стоило подойти к кувшину, в носу начинало свербить, кожа зудела, как в дурмане, да и от самой мысли о скором походе туда – первое, что приходило в голову при пробуждении, – болезненно-сладко щемило в груди. Позже, когда отцу пришлось однажды срочно выехать в Мосул, Синдбад натянул рубаху, намотал на голову куфию и попросил у одного торговца раки на две лиры. Тот отказался продавать мальчику спиртное. Второй продавец тоже отослал его прочь. А третий продал. Придя домой, Синдбад с таким благоговением отпил первый глоток, будто облатку в рот взял. И с отвращением выплюнул. Вылил содержимое бутылочки в кувшин и разбавил гранатовым щербетом. Так все равно получилось крепко, но, когда после каждого глотка стал доливать водой, смесь начала казаться мягче, грубый вкус аниса, похожий на привкус от зубного порошка, превратился в приятное дополнение к кисло-сладкому гранату. За чтением сказок тысяча и одной ночи забыл, что делает нечто предосудительное. Сидел, потягивал напиток из кувшина. После отправился было помочиться, но подняться не смог. Вдохнул глубоко, пощупал ноги – не затекли ли. Но проблема была не в ногах. Беда случилась с углами. Обычно в комнате было четыре угла, а теперь вдруг стало пять: четыре стены и пять углов. Очень странно. Синдбад потянулся проверить один из них и с первого же шага поскользнулся. В этот момент внутри у него что-то взорвалось, каждую клеточку в теле заполонила ядовитая

жидкость, и обломки этого чего-то, разрывая внутренности, стали проситься наружу. Никакого приятного оцепенения или тумана, только страдание и желание поскорее умереть, а потом – конец света.

Проснулся от горького привкуса слюны, капавшей изо рта. И снова провал. Отец лечил его неделю. Алкоголь внутри расщеплялся, и от этого поднялась температура.

Там, в Багдаде Синдбад дал себе слово, что ни разу больше не напьется допьяна. Да только днем раньше мимо него на улице прошла дама, которую он когда-то потерял в одном дебrecенском пансионе, и это оказалось таким потрясением, что пришлось выпить. И вот он страдает, лежа в позе эмбриона. Самое неприятное – горло. Туда словно крыса залезла и царапает острыми коготками. Аж в ушах звенит. Но нет, это снаружи звук. Синдбад доползает до двери, распахивает ее настежь и дальше уже не проходит, падает на стул у журнального столика. Заходит Шульцер, напоминает об обещании. Синдбад пытается вспомнить, о чем речь, и даже не удивляется, как это он позволяет чужому человеку распоряжаться у себя дома. Что говорит непрощенный гость уже не разобрать, вот бы сейчас заснуть, но стоит об этом подумать, сразу начинает дико болеть горло. Тот, другой вдруг замолкает. Потом одним прыжком оказывается у Синдбада за спиной, зажимает ему голову и резким движением откручивает ее, потом еще раз, уже в другую сторону. Раздается скрип и треск. Защититься детектив не успевает. «Ну все, прикончил,» – заключает он со свойственной ему лаконичностью и радуется, что хоть болеть меньше стало. Потом соображает: это не потому, что он умер. Шульцер просто варит кофе, а до этого молот его – вот и скрипело. Спасибо надо сказать. В голове всплывает вчерашний разговор.

– Проводите меня в управление, или лучше подождите у памятника Пазманю, а я по пути что-нибудь придумаю.

Шульцер с готовностью подает капитану пальто с бархатным воротником, сам хватается за твидовое, оба выходят на улицу.

Лефкович протягивает было руку для приветствия, но, увидев за спиной у Синдбада Шульцера, застывает.

– Я думал, до суда с этим типом уже не придется встречаться...

– Что вы там думали, меня не очень интересует, – перебивает Синдбад. – Лейтенант Чонка передал дело мне.

Хозяин лавки с деланной вежливостью помогает детективу снять твид – Шульцер кидает свое пальто на стул – и отправляет жену на кухню, чтобы та сварила кофе.

Синдбад изучает лицо женщины, находит ее недалеко и приступает к исполнению своего плана.

Лефкович проводит пришедших в гостиную и сразу за порогом детектив оборачивается к подозреваемому:

– В глаза смотреть!

Шульцер опускает голову, только изредка вскидывает глаза, говорит тихо, в голосе не страх, скорее, волнение.

– Ваучер я отдал. Во вторник, в половине первого. Вы сами и забрали.

– Ложь! Вы вообще сюда не заходили. Я и Чонке уже говорил! – злобно выкрикивает Лефкович, глядя на Синдбада. – Не понимаю, почему вы позволяете клеветать на честного торговца, не этого преступника вам защищать надо, этого... этого... да ему кишки надо...

Синдбад хватая Лефковича за плечо, отправляет Шульцера в спальню и сам закрывает за ним дверь. Дает хозяину проораться, когда же тот берет паузу, чтобы отдышаться, делает знак остановиться и нейтральным тоном подытоживает:

– Кое-какие детали вызывают сомнение. Лейтенант Чонка так и не обнаружил ваучер у Шульцера дома. Он, конечно, еще где-то мог припрятать документ. До того, как мы сюда зашли, ваш помощник в лавке показал ту самую коробку из-под обуви. Ваучера там не было. Вы, безусловно, тоже могли его куда-нибудь спрятать, более того, вы его явно в другое место положите, если только новый не выдадут, – Лефкович с жаром пытается возразить, но детектив пресекает попытку, на этот раз не без грубости. – Но

есть и факты. Так, например, Шульцер признался в присутствии вас, вашей жены, подмастерья и поставщика, что украл ваучер.

Если Лефкович минуту назад готов был наброситься на Шульцера и Синдбада за прозвучавшее обвинение, то теперь весь его пыл обращен на то, чтобы поддержать слова капитана.

– Ииименно, я ровно то же и говорю, господин следователь. Правда-то – вот она, остальное – пустые разговоры.

– Ошибаетесь. Есть еще один факт. И заключается он в том, что вы лжете.

Лефковичу словно только что дали пощечину. По его лицу видно: так с ним еще никто не разговаривал, еще чуть-чуть – и бросится на детектива, последний же находит этот момент наиболее удачным для продолжения:

– Знаком ли вам почерк господина Зайяца из табачного киоска? Нечего глаза пялить, отвечайте!

– Откуда мне знать...

– Тогда придется в суде провести очную ставку, вот, взгляните!

Лефкович ситает письменные показания свидетеля Зайяца: киоскер утверждает, что тремя днями ранее видел, как Шульцер шел через двор дома Трефорта к Лефковичу.

– Этот грязный провокатор ничего видеть не мог – как раз вчера говорили, что он со своими подельниками какую-то петицию собираются подать в мэрию! – Лефкович рвет бумагу пополам.

– С тех пор, как бывший премьер министр и Карой Пейер подписали пакт,<sup>4</sup> состава преступления в подаче петиций больше нет, не будем это сюда примешивать.

<sup>4</sup> Пакт Бетлена-Пейера был тайно подписан в 1921 г. между премьер-министром Иштваном Бетленом и главой оппозиционной Социал-демократической партии Венгрии Кароем Пейером – после подписания СПДВ была легализована, но ее членами не могли становиться госслужащие, железнодорожники и почтальоны, так что киоскер Зайяц вполне мог составлять петиции, если был членом этой партии.

Лефкович подходит к окну, начинает дергать занавеску, кажется вот-вот порвет, но потом отпускает. Недовольно махнув рукой сдаётся.

– Ладно. Заходил ко мне Шульцер. Умолял, чтобы я подождал, пока он не отыграет долг целиком. Я его стал выгонять, а он на меня принялся напраслину возводить, мол, я старый брюзга, спекулянт, потом еще издеваться начал, заявил, будто давно из кассы тайком деньги брал – и куда больше, чем этот ваучер стоит. Тогда и подумал: надо, надо... этого типа приструнить. И сейчас так думаю... Поделом ему! (Смотрит на Синдбада, не может понять, на чьей тот стороне.) Но я неправильно сделал, когда решил сказать, будто он ко мне не приходил – так проще было отправить его туда, где ему место... Но у вас, небось, есть и свидетель, как он ваучер вернул?

– Нету. Так что эта часть истории тоже неоднозначная получается. Я мог бы даже поверить, что Шульцер пришел не за тем, чтобы отдать ваучер. Однако же и показания, данные вами и вашей супругой лейтенанту Чонке не могут быть приняты без некоторых условий. Они, конечно, во всем совпадают, да только вы не сторонние наблюдатели, я мог бы сказать, вас это дело непосредственно затрагивает, мог бы сказать, что вы изначально заинтересованы не в том, чтобы спасти Шульцера, а наоборот, ведь если его осудят, перед тем, как отправиться в тюрьму, он будет должен компенсировать ущерб. Законной будет эта компенсация или незаконной – вот в чем вопрос. в любом случае, можно рассчитывать на неплохой цирк в исполнении адвокатов, лакомый кусочек для репортеров...

– Вы мне угрожаете?

– Скажите спасибо, что угрожаю. Я полицейский, а не сестра милосердия.

Синдбад берет со стола коробку с сигарами, нюхает каждую сигару по отдельности, не дав собеседнику шанса предложить закурить с грохотом захлопывает крышку. Спокойно продолжает:

– Не могу с точностью сказать, кто из вас лжет (неожиданно повышает голос, чуть ли не на крик переходит), но Шульцер на-

счет кражи не соврал – пришел же к вам с повинной, вы и сами признали, и, значит, пусть не наверняка, но можно предположить, что и в остальном не врет, а если сказанное им подтвердится, и тогда вам не сдобровать... Кое-что мы, конечно, можем проверить. Мы еще не выяснили, нет ли у вас личной неприязни к Зайяцу, не опросили соседей Шульцера. Я еще не осмотрел гардероб подозреваемого! Процедура, на первый взгляд, слишком уж очевидная, но, бывает, приводит к нужным результатам... Все это мы восполним. Если вы действительно не получили обратно ваучер – можете ждать и надеяться, больше скажу, ждите и надейтесь, но, если собираетесь всех обхитрить, лучше пойти на попятный до начала суда. Бывали у меня уже такие случаи, когда преступники вступали в сговор и пытались очернить невиновного. Заканчивалось это очень плохо! Очень плохо!

Синбад уже рассматривает не сигары, а приглашение на бал в гостинице Корона – в Няригете есть особый клуб, члены которого коллекционируют приглашения, дает Лефковичу время попроклинать судьбу и весь мир, а когда тот, похоже, выдыхается, зовет Шульцера.

В прихожую все выходят одновременно – жена Лефковича из кухни, мужчины втроем из гостиной. В руках у женщины поднос, на подносе – кофейник, из кофейника идет пар. У детектива во рту накапливается слюна. В Багдаде без чашки кофе после утренней молитвы день не начинается. Отец клал себе две ложки, половину отливал сыну в горячее молоко. С тех пор Синдбад и любил этот напиток. Сегодня, правда, Шульцер уже один раз ему кофе сварил, но то не считается, похмелье надо было снять, даже вкус как следует не почувствовал. Но сейчас нельзя мешать разоблачению. Лефкович протягивает капитану пальто. Твидовое.

– Не это! Мое – с бархатным воротником! – безучастно проносит Синдбад и принимается рассуждать о шансах няригетского клуба «Хунгария» в ближайшей игре. Лефкович удивленно морщит брови, но пожимает плечами и несет другое пальто.

Жена его, напротив, бледнеет, прислоняется к стене (в чашках предательски дрожат ложечки) и, словно в горле у нее застрял орех, выдавливает из себя:

– Но я же... видела, ви... дела, когда вы пришли... то пальто, твидовое, оно на господине капитане...

– Без Гезы Кочиша им и на поле выходить смысла нет... Главная проблема у них – неорганизованность. Во время войны, когда играть приходилось по восемь футболистов в команде, все девяносто минут и бегали по полю, ясное дело. Но где те времена! Сейчас на поле думать надо, видеть, – продолжает Синдбад, будто всем известно, как сотрудники следственного отдела любят меняться одеждой с подозреваемыми, а то и вовсе делят с ними гардероб. – Насчет пальто я тут вспомнил... А ну-ка, дайте посмотреть! – приказывает он Шульцеру и последовательно ощупывает внутренние, а затем и внешние карманы его пальто. Предлагает Лефковичу, но тот отмахивается, мол, верит капитану, а Синдбад продолжает объяснять женщине:

– Представьте себе, деньги, ценные бумаги, ваучеры не так-то легко спрятать. Оставишь их под открытым небом – повредиться могут, в квартире – полиция найдет, у знакомых – придется посвятить их в свою тайну, будешь от них зависеть. Поэтому многие преступники держат бумаги при себе, хотя бы какое-то время – так что в порядке проверки имеет смысл провести обыск. Но так уж получилось на этот раз – результат нулевой. Что же до завтрашнего суда, если все-таки захотите мне что-то сообщить, господин Лефкович, позвоните, могу дать свой прямой номер, записать чем дайте, пожалуйста, блокнот у меня с собой, я его всегда во внутреннем кармане держу, не в этом, в другом, а эта бумажка что здесь делает...

Женщина выпускает из рук поднос, изящный фарфор разбивается на кусочки (при этом прихожую заполняет такой пленительный аромат кофе, что хоть глотай его из воздуха).

– Дал объявление в «Городской вестник». Есть у них такой раздел! Странное чувство – как будто я товар из лавки, где посевным

материалом торгуют, но с моим-то несчастьем – без денег, без родни... Вам рислинг содовой разбавить?

– Только содовой. Котайской минеральной, – отвечает Шульцеру Синдбад и невольно прижимает руку к животу. Хватит с него понибратства. – Зачем я вам?

– Вы меня спасли. Сколько я вам должен?

– Мне – нисколько. Если же хотите выразить благодарность всем сотрудникам полиции, есть фонд помощи детям полицейских, погибших при исполнении, туда и можете отдать деньги.

Шульцер кивает, заказывает лагерь и нервно смеется, явно пытаясь скрыть смущение.

– У меня – девятнадцать, у вас, господин капитан – без малого двадцать на руках, оба за счет блефа выезжаем. Я – картами, вы – тем, что в чужих пальто ходите...

– Это была ловушка. Блеф – это когда я Лефковичу свои каракули под видом показаний киоскера показал, – сухо отвечает Синдбад.

Шульцер глубоко вздыхает. У него явно еще какое-то дело – постукивает пальцами по столу, губу кусает:

– Долги мои увеличились до таких размеров, что вернуть их нет никакой возможности... – заметив презрение в глазах Синдбада, ускоряется. – Вы ведь знаете, я у них в руках, но вчера вечером, сразу после заседания в суде я сел с ними играть – восемьдесят пенгё взял, да, это оно, то, чего я всегда ждал, полоса везения, тут-то и надо мне их прищучить, негодяев, но, увы, запасы мои истощились, я уже и материнское кольцо в ломбард отнес, мне бы кредитец небольшой... Скажем, если бы вы доверили мне пару сотен примерно, мы бы с вами в плюсе оказались, и сиротам хватит, я не ангел, только в картах и смыслу (тут он даже распрямляется), зато уж как следует! Насчет денег – подпишем договор, как полагается, я за честную коммерцию, если вы пожелаете, конечно...

«Иногда, наверное, не стоит вмешиваться в ход дела,» – думает Синдбад, больше всего ему сейчас хочется вылить собеседнику на голову свою минералку.

*Перевод Оксаны Якименко*

ОКСАНА ЯКИМЕНКО

КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА

к фрагменту романа Ласло Чабаи «Синдбад, детектив»

### «Синдбад» Ласло Чабаи и венгерский детектив: контекст жанра

Сегодня венгерские литературные критики часто сетуют на нехватку детективов в литературе современной Венгрии и отсутствие достойной традиции. Если у венгерского детектива как у жанра и был «расцвет», то только в виде «криминального чтива» в XIX веке, когда на фоне многочисленных переводных детективов, печатавшихся в дешевых сериях, стали появляться и тексты, написанные венгерскими авторами. Образцами для них изначально служили немецкие истории о преступлениях (Moritat). Любопытно, что первый венгерский детектив «О женщине-убийце» (1787), ставший по-настоящему популярным, был написан в стихах анонимным автором. В дальнейшем венгерские писатели-детективщики пошли по пути Эжена Сю – так появились «Венгерские тайны» Игнаца Надя и «Домашние секреты» Лайоша Кути. Первый венгерский герой-детектив – Михай Тузар, герой романа Шомы Гути «История девицы легкого поведения» (1893). На протяжении всего XIX века, да и в первой половине двадцатого детектив воспринимался, скорее, как бульварный жанр – автор «Истории венгерской литературы» Антал Серб утверждал, что «человеку интеллигентному не пристало читать детективные романы (и при этом сам написал увлекательный историко-фантастический детектив «Легенда Пендрагона» – книгу, знакомую и российскому читателю). Тридцатые годы XX века в Венгрии – пик популярности иронических детективов с элементами авантюрного и фантастического романа за авторством Енё Рейтё (псевдонимы – П. Ховард и Гибсон Лэвери).

В советские годы авторами детективов в Венгрии нередко становились выходцы из – как мы сказали бы сегодня – «силовых

структур». Достаточно упомянуть двух бывших сотрудников венгерской ГБ Андраша Беркеша (идеологически правильные детективы Беркеша про агентов, отважных следователей и злобных врагов социалистической Венгрии выходили гигантскими тиражами – общим числом почти в 5 миллионов экземпляров) и Берталана Мага (чьи романы нередко основывались на реальных историях). В восьмидесятые годы большой популярностью пользовались детективы бывшего следователя и редактора еженедельника «Венгерский милиционер» Йене Маттяшовски, главным героем которых стал доблестный сотрудник разведслужб, действующий под именем Ход. Еще одно имя, хорошо известное венгерским любителям детективов конца XX века – Лесли Л. Лоуренс, он же Ласло Л. Лёринц. Из детективов середины-конца 1990-х гг. и начала двухтысячных обращают на себя внимание, пожалуй, только «Серый голубь» Шандора Тара (1995) и «Убийство на Аляске» Шандора Андраша (2006).

Некоторое оживление на «рынке» венгерского детектива наблюдается с 2007 года, когда начали объявлять конкурсы на написание детективных романов. В 2008 г. выходит «Будапештский нуар» Вилмоша Кондора – история расследования убийства еврейской девушки на фоне хортистской Венгрии (действие романа происходит осенью 1936 г.). В 2007-2008 гг. начинают публиковать свои романы еще два автора детективных серий – Каталин Барат (чьи ретро-детективы отсылают к событиям начала века) и Ласло Коложи (действие его романов происходит в городе Сегед, а расследуют преступления два местных журналиста).

На волне успеха трилогии Стига Ларссона аналог «Миллениума» появился и в Венгрии – трилогия Чабы Вёрёша «Вендел». Жанр исторического детектива развивает Лёринц Сегхалми в своей книге «Письма из мира теней». Что характерно, современные венгерские авторы детективов, как и их предшественники, не торопятся раскрывать свою личность (это в частности относится к Кондору и Сегхалми).

Сыщик Синдбад – главный герой одноименного цикла новелл (2010) и романа венгерского писателя Ласло Чабаи «Синдбад в

Сибири» (2013). Автор, подчеркивает, что дал венгерскому сыщику экзотическое имя-прозвище, потому что его герой провел детство в Багдаде, где его отец работал врачом при дворе местного правителя, но для тех, кто знаком с венгерской литературой, это имя в первую очередь связано со знаменитым героем рассказов и романов одного из крупнейших венгерских писателей первой половины XX века Дюлы Круди (российская публика, скорее, знакома с экранизацией того, первого «Синдбада» с непревзойденным Золтаном Латиновичем в главной роли). Как и его популярный предшественник (не бывший, впрочем, детективом), герой Чабаи ощущает себя вечным путешественником, периодически возвращаясь к детским багдадским воспоминаниям и в какой-то момент, пусть и не по своей воле, оказываясь в далекой Сибири. Параллель с фильмом Хусарика оправдывает и своеобразная манера изложения: все, что происходит с детективом «сейчас» описывается в настоящем времени, более привычное для нарратива прошедшее появляется только в багдадских воспоминаниях, как флэшбэки в кино. Цикл детективных рассказов, объединенных фигурой «суперсыщика» Синдбада – одна из немногих удачных попыток в этом жанре в современной венгерской литературе. Сам по себе детективный сюжет в этих рассказах не является главным, автор, скорее, стремится воссоздать в воображении читателя мир провинциальной Венгрии, какой она была в 1920–1930-е годы – с тяжелым наследием Первой мировой и гнетущим предчувствием Второй.

## Проблемы перевода

Как уже было сказано выше, одной из ключевых особенностей текста Чабаи является игра с грамматическим временем: для описания процесса расследования используется настоящее время, а вкрапления воспоминания главного героя о прошлом даны в прошедшем времени. Таким образом, можно говорить о художественном приеме – грамматическое время глагола слу-

жит определенной цели и позволяет четко разграничить непосредственно детективный сюжет и историю жизни героя, чье прошлое важно для понимания мотивов его поступков и особенностей личности, позволивших ему стать хорошим следователем.

В современном русском языке формы настоящего времени обладают семантической многоплановостью и «широко используются как стилистическое средство для повышения выразительности речи.»<sup>5</sup> Различаются настоящее репортажное – характерное для публицистических текстах или в текстах, построенных как репортаж (именно в этом качестве, на наш взгляд, оно чаще всего используется у Чабаи – «Хозяин лавки с деланной вежливостью помогает детективу снять твид – Шульцер кидает свое пальто на стул – и отсылает жену на кухню, чтобы та сварила кофе»), настоящее историческое – оно используется, как правило, в прямой речи персонажей или в непосредственном сообщении, настоящее изобразительное, обладающее абстрактным характером и помогающее запечатлеть картину объективно существующего мира («В Багдаде без чашки кофе после утренней молитвы день не начинается»), а также настоящее информирующее и настоящее комментирующее; кроме этого настоящее конкретное может использоваться в значении будущего времени – как и в венгерском языке.

Однако при переводе на русский язык повествование в настоящем времени зачастую вызывает негативную реакцию рецептора перевода. Критики переводных текстов, где линейный сюжет излагается в настоящем времени, часто утверждают, будто такие переводы «изматывают читателя» и «выглядят крайне неестественно в контексте русской литературной традиции».<sup>6</sup> Об этом явлении, то есть, о неприятии русскими читателями нарративного

<sup>5</sup> Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология. М.: Из-дво МГУ, 1997. С.

<sup>6</sup> Цитаты с различных переводческих форумов, в том числе: <https://ru-translate.livejournal.com/14420371.html>



настоящего времени в переводах подробно пишет в своей книге «О чем говорят бестселлеры» критик Галина Юзефович, приводя пример возмущенного отклика читателя на перевод с английского романа Мартина Сэя «Зеркальный вор», написанного в настоящем времени. Юзефович объясняет такое отношение к переводу, нарушающему привычные формы повествования, «представлением об идеальном, абсолютном переводе и его принципиальной достижимости, сформированным отечественной переводческой школой второй половины XX века»<sup>7</sup> и консервативностью русскоязычного читателя, привыкшего к «гладкости и отсутствию дискомфорта при чтении». Если же дискомфорт заложен в тексте самим автором, как это часто бывает у современных писателей – «тем хуже для автора». Нежелание понимать, что за переводным текстом стоит текст оригинала, возникший в рамках иной культурной традиции характерно отнюдь не только для русскоязычного читателя. «Непрофессиональный читатель все чаще читает литературу не как нечто, написанное тем, кто ее написал, но как переписанное переписчиком,»<sup>8</sup> – отмечает Андре Лефевр, рассуждая о явлении патронажа в системе взаимодействия литературы и переводов. В переводе патронаж подразумевает давление со стороны более консервативной и «сильной» культуры, нивелирующей особенности текста оригинала в ущерб его поэтике.

Тем не менее, в современной русской прозе (да и не только в современной, но и в экспериментальной модернистской или авангардистской литературе первой половины XX века, или в литературе «шестидесятников», у того же Аксенова) мы наблюдаем активное использование форм настоящего времени в повествовании для создания различных эффектов, в том числе и на контрасте с формами прошедшего времени. См., например, нарратив у Романа Сенчина:

<sup>7</sup> Здесь и далее цит. по Юзефович Г. О чем говорят бестселлеры. М.: Аст, 2018. С. 217-227.

<sup>8</sup> Lefevere A. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. Routledge, London, New York, 1992. P. 4.

Вот, например, после выходных, которые мы провели вместе, я привожу ее в Тарасовку. Полина радостна, но и беспокойна — как там Машенька, все ли хорошо; за время в пути она иногда раз десять звонила домой и спрашивала о дочке, говорила, что мы вот-вот будем. Если ей казалось, что я еду слишком медленно, торопила: «Обгоняй эту по-мойку. Что он так тащится?! Добавь газу — здесь можно».

И вот мы приезжаем. Мать Полины сразу сажает меня за стол, принимается потчевать, расспрашивать о том о сем, отец вставляет благожелательные реплики. А Полина в это время возится с дочкой. Целует, качает, переодевает, кормит...<sup>9</sup>

Таким образом, можно заключить, что практика современного русского письма не исключает как использования форм настоящего времени, так и смешения грамматических времен для передачи различных аспектов действия. Стремясь сохранить художественное своеобразие оригинального текста, достигаемого формальными средствами, я приняла решение следовать за автором и оставить в переводе глаголы в тех формах (там, где это возможно, естественно), в каких они фигурируют у автора:

<sup>9</sup> Сенчин Р. В долине Дагестана // Новый мир, 2011, №12. С. 6.

Bagdadban megfogadta Szindbád, hogy soha többé nem lesz részeg. Csakhogy tegnap elment előtte egy debreceni panzióban elvesztett hölgy, s ez olyan megrázkód-tatásként érte, hogy innia kellett. És most embrió alakban szenved. [...] Szindbád próbál emlékezni, miről van szó, és ezzel nem is tűnik fel neki, hogy most először eltűri: egy idegen dirigál nála.

Там, в Багдаде Синдбад дал себе слово, что ни разу больше не напьется допьяна. Да только днем раньше мимо него на улице прошла дама, которую он когда-то потерял в одном дебrecенском пансионе, и это оказалось таким потрясением, что пришлось выпить. И вот он страдает, лежа в позе эмбриона. [...] Синдбад пытается вспомнить, о чем речь, и даже не удивляется, как это он позволяет чужому человеку распоряжаться у себя дома.

Помимо описанной задачи в процессе перевода пришлось также решать ряд проблем универсального характера (возникающих при переводе в любой паре языков) и более узких задач, связанных с переводом именно с венгерского на русский. Наиболее обширную группу «проблемных» единиц перевода составили реалии – как венгерские, так и турецкие, поскольку детство героя прошло на Востоке, где работал его отец. Реалии можно объединить в несколько групп. Первая – топонимы. Перевод некоторых топонимов не вызвал особых затруднений и свелся к транскрипции венгерского слова – примером может служить название городка, где живет и работает сыщик Синдбад Нялигет – *Nyárliget*, однако в ряде случаев я выбрала другие способы перевода топонимов. Так названия улиц *Selyem*, *Ér*, *Szarvas*, буквально «шелк», «ручей» и «олень», традиционные для венгерской топонимики, я перевела не как «улица шелка» или «улица оленя», а как улицы Шелковая, Речная и Оленья, трансформировав имена существительные и сохранив атмосферу провинциального городка, ведь в небольших русских городах тоже часто встречаются улицы с названиями «Тенистая», «Вишневая» и т.д. От некоторых топонимов я решила вообще отказаться и заменить их описаниями или нулевым переводом. Беседуя с уволенным из городской мэрии канцеляристом Шульцером, Синдбад вспоминает статью о ма-

нипуляциях коррумпированных столичных министров, предложивших победить нищету на востоке Венгрии путем разведения яблок. В качестве примера обедневших жителей восточной Венгрии в тексте приводятся обитатели комитата Саболч – буквально «саболчский народ», *szabolcsi nép*. Упоминание этого топонима в тексте потребовало бы дополнительного комментария или сноски, но мне и так пришлось делать несколько сносок к тексту, а по опыту работы с жанровой литературой я знаю, что обилие комментариев существенно «утяжеляет» текст, и редакторы таких книг обычно просят переводчиков не злоупотреблять сносками. Именно поэтому я опустила название комитата Саболч, но оставила информацию о востоке страны: «Синдбад читал, как столичные министры придумали, будто нищету в восточных районах страны можно победить, если разводить яблоки. «Убедить людей, привыкших к лапше да кукурузной каше, высаживать яблони, когда они эти свои два жалких хольда с таким трудом отвоевали и не успокоятся, пока на чердаке кукурузы и пшеницы не будет столько, чтобы дотянуть до нового урожая.»

Что касается имен собственных – их перевод особой трудности в данном тексте не вызвал, все герои, кроме Синдбада, носят вполне традиционные имена. Венгерскому читателю, возможно, эти имена и сообщают чуть больше, чем русскому (указывают на невенгерское происхождение персонажа, например), но дополнительных пояснений, на мой взгляд, не требуют.

Другое дело – реалии исторические. Их в тексте несколько, и для адекватного понимания рецепторами перевода мне представляется необходимым пояснить их в комментариях; теоретически такие реалии можно объяснять и внутри текста, но сноска позволяет сделать это более обстоятельно. Исторические реалии в данном тексте не могут быть опущены, так как несут смысловую нагрузку и объясняют поступки героев. Венгерская историческая реалья, пакт Бетлена-Пейера, объясняет, к примеру, почему киоскер Зайяц, не будучи госслужащим, мог подавать петицию в мэрию как член Социал-демократической партии, легализованной в результате подписания пакта в 1921 г.

Турецкая историческая реалья Танзимат – комплекс реформ 1839-76 гг. в Османской империи – также важна, она не только объясняет, почему мальчиком Синдбад мог попробовать крепкий алкогольный напиток в мусульманской стране, но и придает особый колорит той части повествования, которая связана с пребыванием героя на Востоке.

При переводе бытовых и культурных реалий, в изобилии встречающихся в тексте, я руководствовалась несколькими стратегиями: давала их в оригинальной форме в транскрипции – хольд (венгерская единица площади), *ракы* (турецкая водка, в отличие от известной русскому читателю балканской ракии); или же прибегала к лексическим заменам, описывая суть реалии: блюда венгерской кухни *puliszka* и *galuska* превратились в «кукурузную кашу» и «пшеничные галушки» – я посчитала необходимым добавить прилагательное «пшеничный», поскольку русскоязычный читатель, увидев в тексте слово «галушка» без какого-либо дополнения, однозначно подумает об украинской кухне, хотя, конечно, галушки – отваренные в кипящей воде кусочки теста из пшеничной, кукурузной, гречишной муки – присутствуют во кухнях практически всех восточноевропейских стран. В тексте оба блюда упоминаются в связи с тем, что для их приготовления нужны кукурузная и пшеничная мука, и небогатые крестьяне, привыкшие к такой еде, не станут сажать на своих маленьких участках яблони в ущерб кукурузе и пшенице. К этой же группе – бытовых реалий, связанных с пищей, относится название напитка *viceházmaster* – смеси 200 мл. вина (в тексте – рислинга) и 300 мл. газированной воды (общее название для разбавленного газированной водой вина в Венгрии – фрюч, аналог австрийского или итальянского сприца/шприца, однако существует целая номенклатура названий для вариантов фрюча с разными соотношениями вина и воды). Поскольку объяснение этой реалии потребовало бы пространного комментария, я решила заменить ее описательной реалией и вопрос Шульцера Синбаду *Viceházmaster riszlingből?* – букв. «Вам вицехазмештер из рислинга?» перевела как «Вам рислинг содовой разбавить?»

Из культурных реалий я бы выделила карточную игру Ульти. Ее необходимо было сохранить, так как в тексте описываются этапы игры, упоминаются конкретные приемы и ситуации, имеющие собственные названия. Игра эта предположительно пришла в Венгрию из Чехии или Австрии и относится к так называемым играм «немецкого типа», потому и терминология Ульти имеет немецкое происхождение. Предлагаемая сдатчиком игра называется «контракт», *ulti* (как название игры), сценарий, когда разыгрывающий должен взять все взятки – «дурхмарш», *durchmars*, заявленный сценарий *betli* подразумевает, что разыгрывающий взятку не берет вообще, а если берет, то игра заканчивается. Чтобы читателю перевода стало более-менее понятно, что произошло во время партии в Ульти, я ознакомилась с подробными правилами этой игры на венгерском и русском языках, а затем перевела фрагмент с описанием партии, заменила *ulti* «контрактом» (поскольку заявленный тип сценария игры в русском описании называется именно так), транскрибировала «дурхмарш» и дала описательный перевод для сценария *betli* («Брифман объявил, что берет взятку, то есть заканчивает игру»), стремясь не «перегрузить» текст неизвестными читателю реалиями.

Особого переводческого решения потребовала еще одна культурная, точнее, этнографическая реалья – «тирпак», *tirpák*. Этим словом примерно до середины XX века принято было называть этнических словаков, с XVIII века проживающих на территории Венгрии. В современном венгерском языке данный этноним, употребленный не представителями соответствующей этнической группы воспринимается как оскорбительный, пейоративный, однако, сами венгерские словаки так себя иногда называют – отчасти иронизируя (ср. ситуацию с самоназванием *nigga/nigger* у афроамериканцев и недопустимостью использования этого слова не членами афроамериканского сообщества). В тексте Чабаи этноним «тирпак» используется в ряду других этнонимов – «швабы», «евреи» и т.д. В период, когда происходит действие переведенного мной рассказа (*чужое пальто*) (одного из цикла рассказов о Синдаде, вместе образующих некое по-

добие мозаичного романа), это слово не воспринималось еще однозначно как уничижительное, но современному русскоязычному читателю оно непонятно, требует отдельного, довольно большого историко-культурного комментария. По этой причине я заменила его на более общий этноним «словаки», точнее «словацкие», т.к. в тексте речь идет о девушках.

Помимо реалий определенным переводческим «вызовом» в тексте Чабаи стала речь персонажей, в особенности, Шульцера. У последнего канцеляризма (*bűnöző karakter – преступный элемент*) и характерные для юридических текстов латинизмы (*primér intencióm – первичная интенция*) перемежаются с газетными штампами (*törvénytörő hiéna – судейская акула, букв. гиена*). Ориентиром для воссоздания подобной речи на русском языке, на мой взгляд, может служить стилистически смешанная речь персонажей Михаила Зощенко, создававшего свои произведения примерно в то же время, в котором живут герои Чабаи.

В заключение хотелось бы остановиться на проблеме перевода названия. Книга Чабаи состоит из 14 глав, каждая из которых может рассматриваться и как отдельный рассказ, и как глава романа. Рассказы пронумерованы, названия даны в скобках со строчной буквы – как будто представляют собой пояснение к несуществующему первому заголовку. У переведенного мной рассказа № 10 название оказалось довольно сложным для перевода. В оригинале оно выглядит так: (*nem azé, akié*). Отсутствие в русском языке притяжательных форм местоимений, характерных для венгерского, не позволяет буквально перевести заглавие. Приблизительно его можно было бы передать как «не того, чье/которого», что выглядит по-русски странно. В рассказе сыщик разоблачает преступника, заставив его спрятать якобы украденный, а на самом деле припрятанный им самим ваучер в кармане «не того» пальто. Хотя наличие слова «пальто» в русском переводе и может служить в некотором роде «спойлером», тем не менее, вариант (чужое пальто) позволяет сохранить смысл оригинального названия, не нарушая при этом норм русского языка.

Кристина Тот

ПИКСЕЛИ

### Глава первая, или история руки

Пальцы на этой руке пухлые и короткие, с обгрызенными ногтями. Рука принадлежит шестилетнему мальчику. С ее помощью можно считать и закрывать глаза. Ребенок сидит на табуретке, выводя на столе круги портновским мелом, хотя его не раз просили так не делать. Он рисует спирали, в надежде, что если много-много раз провести по одному месту, линии улягутся одна на другую и станут выпуклыми, пружиной поднявшись над поверхностью. Он пробовал объяснять это другим, но никто не дослушивал до конца, и вот он сидит в одиночестве и трудится над столешницей, склонив голову и закрыв рисунок рукой. Портновский мел он нашел в ящике, куда его спрятали взрослые. Мальчика зовут Давид, он живет в варшавском гетто вместе с матерью Бозеной и ее сестрами. Внезапно дверь пинком открывают, и трое присутствующих в комнате забиваются в угол. Когда Целина вскакивает с места, то замечает этот мелок, но, сраженная выстрелом, ничего не успевает сказать. Мелок падает и раскалывается надвое. Чужие люди роются в ящике в поисках столовых приборов и серебряных вещей, один из них наступает на мелок. К сожалению, после войны Давид не сможет закончить эксперимент, поскольку не выживет. Погибнет в концлагере в Треблинке.

Нет, я ошиблась. Да-да, ошиблась. Не погибнет. И это будет не мальчик, а девочка. Но ведь детские руки так похожи: ногти обгрызены до корней, пальцы приплюснутые и пухлые. Да, все-таки, рука принадлежит девочке. Ее зовут Ирена. Она литовка, из Вильнюса. Снова я сбилась, ведь хочется рассказать все сразу.

Никакая она не литовка! И блондинкой кажется только на первый взгляд. Она производила впечатление блондинки, хотя волосы у нее были темными и вьющимися. И на самом деле ее имя Гавриела. Она родилась в Салониках и попала в Освенцим в феврале 1943-го. Вйону она переживет, но потеряет мать и родину. Поселится в Париже и станет бухгалтером. Такое ведь тоже возможно.

Ее муж – очень милый человек с редящими волосами, чиновник в банке BNP Paris, но это к нашей истории совсем не относится. Гавриела думает по-французски, а отвечает по-гречески. В имени матери, Домна, ей все чаще слышится французское слово «проклятие». С детьми она говорит только по-французски и греческие книги читает во французском переводе. Руки у нее, прямо скажем, некрасивые, с короткими пальцами, она не носит даже те украшения, которые подарил муж. Они хранятся в обтянутой кожей шкатулке. Гавриела несчастна – счастье мало кому улыбается даже в Париже – но, в общем, довольна жизнью. У нее есть подруга, с которой они вместе ходят за покупками.

Подруга очень похожа на Гавриелу, это бросается в глаза, и когда они сидят рядом в метро, пассажиры часто принимают их за сестер. Подруга наполовину румынка, наполовину венгерка, у нее такие же седеющие, вьющиеся волосы. Я знаю, это кажется сложным, но запутанные, торчащие в разные стороны нити реальности невозможно аккуратно выпрямить. У подруги тоже некрасивые руки, но ей все равно: она уже стар.

Когда-то один человек отпустил эту руку. У матери в ту пору был любовник в Клуже. Когда разлетелась весть о том, что гетто ликвидируют, любовник раздобыл два пропуска. Мать три дня раздумывала, а потом уехала с любовником, бросив Космину, которой было всего четыре года. Решила, что лучше спасти собственную жизнь. Она положила ребенку на колени сверток и ушла, ни разу не оглянувшись. Случилось это 13 мая 1944 года в квартале Ирис. Это все интересно потому, что сын Космины тоже родился 13 мая, его назвали Давид. Конечно, он никак не связан с мальчиком из варшавского гетто, которого тоже звали Давид, и о котором все уже позабыли. Этого Давида не забыли.

Его венгерскому прадеду, который чудом вынес ужасы гетто, но не земной рай Чаушеску, успели сообщить о рождении мальчика. Он посчитал имя Давид плохой идеей, но это сюда не относится. Историю о выпущенной руке мальчик (к счастью) услышал не от прадеда, а от других жителей гетто – его устроили на кирпичном заводе – они с ужасом и возмущением приняли на себя заботы об осиротевшей Космине.

Снова я приврала, но, кажется, не зря. Давид никогда не узнал, что руку его матери кто-то выпустил. Ведь не выжил никто, кто мог бы встретиться с ним и рассказать, как мать умоляла любовника отдать оба пропуска ей, и как в ее помраченном любовью сознании победило желание жить. Гавриела тоже не знает этой истории – про выпущенную руку ей известно кое-что другое. Если она не ошибается, все случилось в далекой Литве, в Вильнюсе, а девочку звали Ирена. Один человек, мать Ирены, выпустил ее руку и бросил ребенка. Кажется, после войны в живых не осталось ни той, ни другой.

Проверить все это, конечно, невозможно. Имена возвращаются по кругу, за всем не уследишь. Остается предполагать. Эксперимент с мелком теоретически возможен, ведь у линии есть объем. Давид, пожалуй, был прав. Если бесконечно рисовать круг на плоскости, рисунок станет выпуклым и выступит над столешницей, это будет четко осязаемый бугорок, который не спутаешь с шероховатостями поверхности. Можно попытаться счастья и с бумагой, но на свете пока не нашлось человека, способного так долго и терпеливо рисовать.

## Глава шестая, или история ладони

Мать положила фаршированные перцы на тарелку и во второй раз позвала дочь из комнаты – еда была готова. Не докричавшись – девочка так и не вышла – мать подергала дверную ручку.

Дочь безмолвно села за стол и, съев два куса, отложила ложку. – Не нравится? – спросила женщина. – Ну, раз уж ты спроси-

ла, порядочная дрянь, – ответила девочка и вернулась в комнату, даже не задвинув за собой стула. Сначала мать хотела выбросить остатки в туалет, но передумала и перелила назад в кастрюлю. Прошло четверть часа, и она снова постучала в комнату дочери. К четырем часам ту ждал отец, но к сборам она не приступала.

На стук ответа не последовало, и женщина осторожно приоткрыла дверь. На письменном столе были разложены газеты, сверху стояли открытые флаконы с краской. Девочка встала коленями на стул и в одних полосатых носках протирала окно.

– Ты рисовать собралась?! – спросила мать.

Девочка спустилась со стула и мрачно взглянула на нее.

– Окно ведь мое? Доходит?

Мать, ни слова не говоря, начала собирать рюкзак дочери и завинчивать колпачки на флаконах. Свернув трубочкой, вынесла на кухню газеты. Закончив с рюкзаком, сказала девочке, которая, надувшись, сидела на кровати:

– У тебя пять минут, чтобы одеться. И проветри комнату от запаха.

Девочка вела себя так уже несколько недель. Она просто не выносила бойфренда матери и пыталась довести ситуацию до абсурда. Две субботы подряд, когда матери назначали randevu, дочь оставалась дома, чтобы расстроить домашние планы, и даже пожертвовала экскурсией с классом в Сентендре. В последний раз она пригрозила покончить с собой, если еще раз увидит мать с этим отвратительным волосатым мужиком. Тогда мать впервые в жизни ее ударила. Женщина слегка удивилась тому, как приподнялась и устремилась вперед ее рука: казалось, в ней проснулась собственная мать и теперь разъяренно командует ее движениями. Девочка прижимала ладонь к пылающей щеке и потрясенно стояла, как будто забыв, где находится, и кто эта взбудораженная, отвратительная тетка напротив.

Это случилось две недели назад. Очередное свидание матери с жутким волосатым мужиком было назначено на сегодня, но ребенок явно не хотел уходить из дома. Когда же дочь вышла за дверь и, не попрощавшись, понеслась вниз по лестнице, то так

хлопнула дверью, что загудел весь дом. Женщина следила из окна: хотела убедиться, что девочка отправилась к троллейбусной остановке. Вечером на всякий случай позвонила бывшему мужу, но девочка к трубке не подошла.

Похолодало, на город надвинулись низкие тучи. Соседи выглядывали из окон и звали по домам детей с велосипедами, разошлись собачники, и к семи часам наступила полная тишина.

Он опоздал, но зато сказал, что останется ночевать, что случилось нечасто. Честно говоря – будем в этой истории правдивы – никогда. Они с женой собирались развестись, но существовала негласная договоренность, что ночь каждый проводит дома и делает вид, что все в полнейшем порядке. Женщина считала это излишним лицемерием, и они много об этом спорили. Такие споры заканчивались одинаково – поступай, как знаешь. Он раздражался до безумия, ему казалось, что жена выступает сразу в двух лицах, говоря еще и устами возлюбленной. Ему надоело, что все от него чего-то ждут. Например, ему не хотелось, чтобы любимая настаивала на совместном проживании. Ее дочь он терпеть не мог, считая нахальным очкастым лягушонком. (Каким она и являлась).

Мужчина всей душой хотел одного: быть рядом с этой женщиной без каких-либо обязательств, и если можно, постоянно. Выражаясь проще и нежнее: он ее любил. Но сразу добавим: по своему, хотя это ничего и не значит, ведь один всегда привязывается к другому по-своему, а тот, тоже по своему, на это рассчитывает и позволяет такому произойти. То, как делал это мужчина, порой трогало ее, а порой изумляло. Сейчас он, например, стоял перед открытым шкафом, по очереди зарывался лицом в ее одежду, вдыхал запах и повторял, что она, без сомнения, любовь всей его жизни. Он обожал крайности. Женщина, держа в руках тарелку с разогретыми фаршированными перцами, сказала, что здесь она, в общем-то, лишняя. И отправилась накрывать на стол.

Ночью оба не могли уснуть. Они чувствовали, что судьба подарила им редкий шанс, но усердие и волнение оказались сильнее желания: заняться любовью не получилось. Стыдливо

прикрывшись одеялами, они лежали в темноте и разговаривали о прошлом. Женщина рассказала, что в детстве у нее была собака, и сейчас она тоже хотела бы собаку, но у ребенка аллергия на шерсть, поэтому не получается. Он отвечал, что у него собаки никогда не было, но он встречался с девушкой, у которой была большая овчарка. Потом он рассказал об отце, алкоголике. Помолчали, потом мужчина включил прикроватную лампу и стянул одеяло с прищурившейся от света женщины. Он разглядывал ее кожу, светлый пушок на коже, волосы и распавшиеся груди, которые она от неожиданности прикрыла руками. Он взял ее руку в свою, провел по ней пальцем и сказал, что она будет жить вечно. Женщина ответила, что этого многовато, ей столько не нужно, лишь бы он был рядом. На улице по волнистым крышам гаражей стучал дождь, по асфальту шуршали автомобили. Прогрел сильный гром, оконное стекло дрогнуло. Оно дрогнуло еще раз – улицу захлестывал дикий ливень. «Мне холодно, – сказала женщина, кожа которой покрылась пупырышками. – Где-то сквозняк».

Он встал, стало слышно, как он закрывает окно в детской.

«Окно было открыто», – сказал он и, наконец, лег сверху женщины, не выключив лампы, хотя они никогда так не делали, чтобы видеть ее лицо во время любви.

Девочка вернулась от отца только в воскресенье вечером. Она была оживлена: ей купили в «Манго» белую курточку и цветной шарфик к ней. О субботе она ничего не спросила, просто подошла к матери и ткнулась лицом в плечо. Потом направилась к себе доделывать начатую в субботу мандалу.

Внезапно девочка ворвалась в кухню, уставилась на мать и с ненавистью прошипела: «Мерзость какая. Меня от вас тошнит. Гады!»

Женщина ничего не поняла и пошла за ребенком в комнату. Девочка, поджав ноги, сидела на кровати и показывала на окно, на котором ничего не было видно. Но, наклонившись поближе, мать увидела, как раз на том месте, где девочка собиралась нарисовать мандалу, четкий отпечаток крупной мужской ладони.

## Глава четвертая, или история ног

Учительница с бордовыми волосами металась по коридору. Женского туалета здесь не было. Она терпеть не могла выездные занятия: еле нашла, где это, и не успела заскочить перед уроком пописать. К тому же с наступлением теплой погоды побаливала нога.

В коридоре как раз никого не было, и она прошмыгнула в мужской туалет. На этом этаже, кажется, другого не имелось. Она уже почти закончила, как вдруг закрипела отворяемая дверь, и в туалет кто-то вошел. В писсуаре у входа зажурчало. Ничего, сейчас он уйдет. Ей пора было в следующее место, на другой конец города, желательно проскочив пятничную пробку. Тоже корпоративные языковые курсы, на машине три четверти часа, не меньше. Она прикидывала, по какому мосту поедет. Мужчина у входа возился, но не уходил, а ей стыдно было выходить из кабинки. Тянулись минуты, которые для читателей текста покажутся сущей ерундой, а для нее были пыткой. Мужчина снаружи как будто нарочно тянул время. Как будто хотел узнать, кто же в кабинке. Правда, туфли ему вряд ли оттуда были видны – унитаз находился довольно далеко от двери. Наконец, учительница не выдержала и вышла.

Мужчина как раз прилаживал к правой подмышке костыль: он прислонил его к кафельной стене, чтобы застегнуть ширинку. Женщина увидела загипсованную по самое бедро ногу. Ей хотелось незаметно улизнуть, но не толкать же человека с ногой в гипсе – она неловко распахнула перед ним тугую дверь, и он со стуком проковылял мимо. Мужчина оглядел ее с головы до ног и подумал, что в ее возрасте уже не стоит красить волосы в бордовый.

Доехав на лифте до первого этажа здания, он сообразил: да она же ходила в мужской туалет! Но на раздумья времени не осталось – подъехало такси, чтобы отвезти его в травматологию. Сегодня снимали гипс. Давно пора, подумал он – живот от бесконечных противотромбных инъекций превратился в сплошной синяк. На

прошлой неделе шел дождь, на гипс приходилось надевать мешок – в нем он походил на бомжа.

Пока наша героиня томилась в пробке, потому что проскочить час пик, конечно, не успела, гипс с большим шумом распилили и выдали записку с телефоном врача лечебной физкультуры. Костыль он на всякий случай взял с собой и, переходя дорогу, слегка на него опирался, потому что стопа отвыкла от нагрузок и ныла. Он чувствовал свободу и такую легкость в ноге, что казалось: ее вообще нет. Он совсем не смотрел по сторонам и внезапно услышал звук клаксона – женщина за рулем синего «Судзуки», четко артикулируя, произнесла «вам красный». Костыль замедлял темп ходьбы, в принципе, он был не нужен, и на следующем углу мужчина прислонил его к мусорному контейнеру, после чего вызвал по мобильному новое такси. Мусор стоял вокруг бака и на тротуаре, потому что наступил сезон сбора старой мебели, и жильцы сносили все на помойку.

Прошел час, и на этом же углу поднялась большая суета. Два пузатых дядьки в спортивных костюмах с сопением притащили холодильник. Там уже стояли сломанный «уголок» и продранное кресло на колесиках – покрытые пятнами сидения торчали колом. На шкафчике с распашными дверцами сидела и, болтая ногами, грызла семечки цыганка в пуховике. Пришедший с ней помощник с мрачным взглядом швырнул в кучу отобранного барахла костыль и со знанием дела принялся разбирать холодильник. Он аккуратно смотал провода, снял корпус, срезал и убрал в сумку штепсельную розетку. Он уже собирался снимать боковые пластины, когда на свалку прибыла другая банда мусорщиков. В кузов их грузовика были побросаны гладильные доски, сушилки и прочий металлолом. Вновь прибывшие прыгнули на землю и поспешили к холодильнику, чтобы его утащить. Возникла толчея, поднялся крик, посыпались цыганские проклятия. Цыганка оставила семечки и позвала мужа:

– Да, брось! Че ты? В каталажку загремишь!

Мужчина, пожав плечами, отошел в сторонку. Один из пришельцев, молодой парень, заметил костыль. Продается, – буркнула

цыганка с семечками. Парень склонился над костылем и принялся его рассматривать. Примерил, засунув под мышку, прошелся, прихрамывая. Его окружили, слышались одобрителные возгласы, мол, размер подходящий и подзаработать можно.

В конце концов, парень сторговал костыль за две бутылки пива. Но, вернувшись из магазинчика на углу, обнаружил, что все уже уехали. И брат вместе с ними.

Он взял костыль и поковылял к перекрестку тренироваться. Жаркий предзакатный воздух был наполнен дымом и почти неподвижен, машины стояли в пробке в двух направлениях. Юноша шел к перекрестку. Костыль сильно давил изнутри на плечо, но он надеялся, что привыкнет.

За это время освобожденный от гипса мужчина добрался до дома. В бедре и щиколотке ощущалась тупая боль. Он поклялся никогда больше не играть в футбол, тем более, что ему были противопоказаны физические нагрузки. В прошлом году был инфаркт, хорошо еще жив остался. Он подумал, что нужно бы позвонить младшей дочери. Но тогда придется рассказать, что с ним произошло, а это стыдно. Он задернул занавеску – низкое предзакатное солнце пекло неимоверно – и стал рассматривать скопившийся в квартире хлам. Ни дать, ни взять стариковское жилье, и запах соответствующий – бьет в нос еще в прихожей.

Учительница с бордовыми волосами опустила солнцезащитную панель и включила авторадио. Кажется, она опаздывала. Нам, наблюдающим за ней как бы сверху, доподлинно известно: опоздание было гарантировано, у синего «Судзуки» не было шансов приехать вовремя. У подъема на мост в нескольких километрах столкнулись три машины, и все три полосы встали в пробке. Среди автомобилей с включенными двигателями ковылял какой-то парень, а учительница, приподняв ноги над педалями, совершала круговые движения стопами – икры свело судорогой. Это было упражнение для пассажиров дальних авиарейсов. Она думала о том, что языковые курсы стоит проводить подальше от центра. Вдруг у опущенного окна появилась протянутая рука.



Она быстро достала мелочь и про себя решила, что обязательно сходит к врачу. Денег в руке оказалось больше, чем обычно.

Вот интересно. Она не была суеверна, но, все же, встретить трех человек на костылях за один день было как-то странно.

## Глава двадцать четвертая, или история челюсти

Гергэ проводил гостей наверх. В новом корпусе винотеки имелся специальный зал для дегустаций. Из широкого панорамного окна открывался вид на холмы Вилланы. На виноградных лозах почти не осталось листьев, но позднеосенний пейзаж с низкими тучами и террасами из ракушечника был прекрасен. Гергэ привязался к этим местам. Он переехал сюда из Будапешта весной, получив новую работу. Дом по дешевке купили у вдовы архитектора. Она хотела побыстрее избавиться от дома, в ремонте не было необходимости: архитектор провел тщательную реставрацию, он, кажется, занимался охраной памятников. Дом с маленьким крыльцом и зарешеченными окнами был чудесен. Прежние хозяева не стали забирать мебель, оставив даже ворсистое покрывало с вышитыми подушками.

Держа бокал на свету, Гергэ принялся объяснять: темно-рубиновый цвет; богатый оттенками, сложный букет с характерными теплыми нотками. Ощущение гармонии, особый вкус благодаря танинам. Перед тем, как сделать глоток, подержите вино во рту. В этот момент внезапно зазвонил мобильный. Гергэ уже собирался сказать, что перезвонит, но на экране отобразилось имя абонента: это была Ба. «Ба» он называл в детстве бабушку, с тех прозвище закрепилось за ней в семье.

– Гергэкэ, как ты думаешь, где я?

Тон был взволнованным, как будто Ба звонила с Луны. Делать было нечего: пришлось отойти в сторону и выслушать. Ба стояла с дядей Габи на проспекте Терез возле дома, где жила ребенком – до самого сорок пятого года. Из всей семьи это время пережила только она: трое детей, родители и бабушка с дедушкой погибли в

концлагере в Треблинке. Дядя Габи, второй муж Ба, тоже потерял в тогда всех родных, но об этом предпочитали молчать. Дядя Габи ни разу не видел дома на проспекте Терез, поскольку всегда жил в Буде и соглашался ехать на ту сторону, то есть в Пешт, лишь по крайней необходимости. И вот выдался такой случай: нужно было съездить с Ба к зубному протезисту. За последнее время у Ба из-за пародонтоза выпали все зубы – не спасли ни уколы, ни полоскания. Жить без зубов она, конечно, не могла, а врач с проспекта Бэсэрмени в Буде позволил себе бестактность и умер, прежде чем изготовил вставную челюсть. Фатальное невезение – резюмировал дядя Габи и дал добро на стоматолога подружки Кларики, который, к несчастью, принимал на той стороне. Кларику дядя Габи, судя по всему, недолюбливал и называл сумасбродкой, но зубы у нее были в полном порядке, что правда то правда.

По дороге от протезиста (который, как и говорила Кларика, оказался истинным джентльменом), Ба с дядей Габи проходили мимо одного дома, и она взглянула на третий этаж. Там находилось их бывшее окно, сейчас заклеенное оберточной бумагой с надписью «Продается» и номером телефона.

Так позвони! – сказал Гергэ, чтобы выиграть время. – Извини, ко мне пришли, кладу трубку.

Дядя Габи позвонил по указанному номеру, хозяин ответил, что он как раз в квартире и можно подняться хоть сейчас. Ба вела себя как маленькая, ей овладело волнение, как перед выходом на сцену: она топталась на лестнице, разглядывала имена жильцов на почтовых ящиках. Из прежних имен найти не удалось почти никого, зато пол был устлан той самой плиткой, а в распашных дверях первого этажа сохранились старинные матовые стекла с узором. Ба вспомнила, что вторую створку разбили торшером жильцы напротив, когда въезжали сюда в пятидесятом. Дядя Габи считал этот визит плохой идеей, но Ба настояла на том, чтобы пойти.

Дверь открыл полный лысеющий мужчина. На нем была стеганая куртка, так как пустая квартира не отапливалась. Он пригласил их войти и уже в прихожей начал объяснять, как хорошо

жить в центре, особенно людям пожилым, которые не любят далеко ходить, когда возникают дела. Дядя Габи с непроницаемым лицом кивал, а Ба через створчатые двери прошла во вторую комнату. Застыв на месте, обвела ее взглядом. Изразцовая печь была там же, стены, видимо, перекрашивали, а вот к дверям давным-давно не прикасались. Они были желтые, обшарпанные и замызганные. Паркет поскрипывал – его тоже не перестилали. На двери задней, самой маленькой комнаты виднелись полоски. Ба подошла ближе, наклонилась. Она знала, кому они принадлежали: та, что проходила сверху, была ее (на тот момент – сто пятьдесят два сантиметра), полоска под ручкой, в самом низу – младшего брата. Старушка долго не могла отвести глаз от этих меток, пока дядя Габи не положил руку ей на плечо.

– Здесь стояло кресло с подлокотниками – сказала Ба дрогнувшим голосом и показала в угол. Сидя в нем, мама читала нам книжки или рассказывала истории из своего детства в Коложваре<sup>10</sup>. После войны кресло вновь объявилось, правда, покрытое слоем грязи. Его спрятал у себя сосед со второго этажа, в то время как саму Ба спрятали в монастыре. Затем кресло с новой обивкой перешло по наследству отцу Гергэ. В прошлом году, уезжая из родительского дома в Виллань, из всей семейной мебели Гергэ взял с собой только его. Не ради себя, а чтобы порадовать бабушку. Он терпеть не мог это кресло и никогда в него не садился.

В холле хозяин расписывал выгодное расположение квартиры, Ба попросила ее извинить и тихонько вышла на переходной балкон позвонить. Она считала разговоры по мобильному неприличными – не станет же она пудриться на виду у всех. Остановившись у широкой, натертой до блеска лестницы, набрала номер.

– Гергэкэ, ты помнишь, что я тебе рассказывала про кресло?

Ну, конечно, Гергэ помнил, он сто раз слышал эту историю. К тому же, из-за отсутствия зубов Ба шепелявила, и слушать ее была мучительно. Гостям, пришедшим на дегустацию, подали

<sup>10</sup> Город Клуж-Напока на территории Румынии.

бутерброды и сыр, и под этим предлогом Гергэ покинул переговорную, зайдя в кухонный отсек. Когда он был маленьким, Ба читала ему сказки и каждый раз рассказывала, как по вечерам к ним в детскую приходила прабабушка, а семейный анекдот про отца пришлось выслушать миллион раз.

Время для появления на свет отец Гергэ выбрал столь же неудачно, как и сама бабушка – он решил родиться тем осенним днем, когда квартал обстреливали русские танки. Отцу был примерно год – эту историю Ба пересказывала семье снова и снова – когда детского участкового врача перевели в провинцию. Вместо него пришел незнакомый молодой человек и склонился над отцом Гергэ со стетоскопом, когда тот внезапно поднялся в кресле и пристально уставился на незнакомца. Врач наклонился ближе, и ребенок принялся ощупывать его лицо и усы. Завершив эту процедуру, малыш низким, гортанным голосом закричал: гой-гой-гой.

Гергэ со страхом ждал, что Ба в сотый раз примется рассказывать эту дурацкую историю. Она и с первого раза не казалась ему смешной, а многократные повторы сделали ее невыносимой. К счастью, последовало подробное описание изразцовой печки и перечисление имен жильцов, еще оставшихся в живых.

– Извини, мне нужно вернуться к гостям, – прервал он бабушку. Меня ждут. Видишь ли, у нас дегустация.

Отключившись, Гергэ подумал, что надо бы вырубить этот несчастный мобильник. И продать кресло с подлокотниками, если оно хоть кому-нибудь сгодится.

Ба вернулась в холл, где дядя Габи покорно наблюдал за жестикулирующим хозяином: это – несущие стены, эти две чуть тоньше. Сейчас – сказал хозяин – покажу санузел.

Говорят – продолжил он речь в гулкой ванной – здесь раньше жили евреи. Не знаю, правда или нет, я, как узнал, все здесь перерыл. Вскрыл сливные колена, разобрал продувочное отверстие в трубе – вдруг они там золото спрятали. Ничего там не было. Паркет я, правда, не трогал – может, там что-то есть. Если да, то покупка будет очень выгодной – ухмыльнулся он.

Дядя Габи стал внимательно изучать межплиточные швы, Ба – окно во двор-колодец. Если бы ей удалось собраться с мыслями, она, наверняка, подумала бы, что оно очень грязное. Но сосредоточиться не могла – голова была совершенно пустой. Она бездумно глядела в образовавшуюся пустоту, как в детстве во двор-колодец с тлеющими голубиными трупами.

Гергэ в это время вернулся к столу и разлил вино:

Урожай этого года выгодно отличается от предыдущего круга дегустации – твердил он заученные фразы. – Это густое, терпкое вино с теплыми черешневыми нотками. Глубоко-рубиновый оттенок. Посмотрите, густое, как кровь. Вызревшие танины, сложный компонентный состав, послевкусие с легкой горчинкой.

*Перевод Виктории Попиней*

ВИКТОРИЯ ПОПИНЕЙ

КОММЕНТАРИИ

к переводу 4 глав (1, 4, 6, 24)

из сборника Кристины Тот «Пиксели»: трудности и размышления»

Писательница, поэт и переводчица с французского Кристина Тот – одна из самых читаемых сегодня в Венгрии авторов. Примечательно, что училась она на скульптора и только после окончания художественного училища поступила на филфак. Не исключено, что именно навык скульптора позволяет ей отсекать все лишнее и оставлять в тексте только самое важное. Ее произведения – как стихотворные, так и прозаические – сложно отнести к какому-то одному направлению, но при этом уникальный голос Кристины Тот безусловно созвучен современному читателю. При этом проза писательницы отчетливо связана с венгерской литературной традицией – чаще всего ее тексты представляют собой короткие

рассказы, причем публикует автор их не только и не столько в книгах, но в самых популярных изданиях. Лапидарные, емкие и безошибочно точные рассказы (раньше их принято было печатать в «подвале» – т.е. внизу газетного листа, сегодня они отлично чувствуют себя в интернете) позволяют Кристине Тот поднимать самые актуальные темы, обращаясь к читателю напрямую, провоцируя и заставляя задуматься.

В современной русской прозе ближайшим аналогом рассказов Тот можно, наверное, было бы назвать короткие рассказы-зарисовки Дениса Драгунского. С текстами венгерской писательницы их роднит продуманная драматургия и острая, как выпад рапиры, концовка.

Однако Кристина Тот не ограничивается отдельными рассказами. Фрагментарные картины иногда складываются у нее в мозаику более сложного текста, похожего на своеобразный роман. Следует отметить, что в XX – начале XXI вв. похожих по структуре «романов из рассказов» в венгерской литературе появилось довольно много – начиная с циклов новелл о Синдбаде Дюлы Круди и историй Корнеля Эшти – литературного двойника писателя Дежё Костолани, и заканчивая циклами Нандора Гиона и Шандора Тара, у которых жизнь венгерской провинции предстает в виде многофигурного лоскутного одеяла из небольших рассказов.

Подобного рода структура отличает и сборники Кристины Тот «Штрих-коды» (2006) и «Пиксели» (2011). Переплетение людей и судеб во времени и пространстве кажется в последнем сборнике случайным, тем не менее читателя не покидает ощущение, что герои являются частью единого организма, который кто-то раздробил на кусочки, пиксели. Рассказанные с болезненной точностью и ироничной отстраненностью истории глаз, головы, ладони, живота, руки, ног, шеи интересны и яркие. Тем не менее, это шкатулка с секретом. Лишь прочтя все рассказы, получаешь общую картину и видишь героев в новом свете.

## Переводческие проблемы и предложенные решения

Комментарии к переводу 4 глав (1, 4, 6, 24) из сборника Кристины Тот «Пиксели»: трудности и размышления.

1) Перевод названия главы 1 «История руки» (A kéz története) и главы 6 «История ладони» (A tenyér története). Оба варианта можно было перевести на русский как «рука». Чтобы уйти от тавтологии, я отталкивалась от содержания рассказов. Поскольку в «Истории ладони» девочку возмущает отпечаток на стекле, оставленный мужской рукой, решила заменить целое на частное. Так от «руки» осталась «ладонь». Был еще вариант в главе 1 заменить «руку» на «кисть», но там речь идет о том, что мать выпустила руку ребенка из своей. По-русски ребенка держат за руку, а не за кисть. Стилистически мне это показалось неприемлемо.

2) С главой 4 «Историей ног» нужно было выбрать между единственным и множественным числом. По идее, для единообразия следовало бы перевести заглавие как «История ноги» (как «История руки», «История ладони», «История челюсти»), но в рассказе речь идет о разных людях, а в конце героиня размышляет, дурной ли знак – встретить троих людей на костылях за один день.

3) Название главы 24 «История челюсти» (Fogíny története) – изначально перевела как «Историю десен», но потом решила, что, исходя из контекста, лучше отступить от оригинала. В этой главе бабушка отправляется из Буды в Пешт к протезисту, так как ей необходимо вставить новую челюсть, и попадает в квартиру, где жила ее семья до войны. Больше никаких ассоциаций с деснами в рассказе нет, то есть я не было строго ограничена. «История челюсти» лучше передает смысл, по-моему.

4) Реалия «cserge takaró», встречается в главе 24. В ней речь идет о доме архитектора, занимавшегося охраной памятников и уделявшего особое внимание сохранению традиций. Поскольку для русского читателя «одеяло черге» не имеет смыслового наполнения, было принято решение передать эту реалию описательно, как «ворсистое одеяло», решающим здесь стал момент, когда обнаженное тело героини «Истории головы» (не вошел в данный

сборник) это одеяло «неприятно покалывает». В «Истории челюсти» из контекста ясно, что одеяло в этническом стиле, так как Гергэ радуется тому, как удачна внутренняя отделка дома, а вдова прежнего хозяина продала дом в нетронutom виде.

5) Географическую реалию Kolozsvár (глава 1 «История руки», глава 24 «История челюсти») не придумала, как передать. Сначала хотела написать нынешнее румынское название этого города: «Клуж-Напока», но тогда в повествовании возникает искажение смысла. С вариантом «Клуж-Напока» получается, что мама, живущая в Будапеште и говорящая на венгерском (глава 24), рассказывает детям о своем детстве в румынском городе. В рассказе же дается намек, что мама из венгерского города в Трансильвании. В итоге решила дать сноску в конце страницы, хотя стараюсь так не делать. Для единообразия в главе 1 также оставила венгерское название.

6) Горы Виллань (Villány) в главе 4 «История челюсти» – удачный вариант, когда можно просто транскрибировать, так как из контекста ясно, что это – гористый регион, где выращивают виноград.

8) Неочевидную проблему, не вызывающую проблем с пониманием, составляет отсутствие в венгерском языке категории грамматического рода и отсутствие необходимости использовать подлежащее в принципе. То, что по-русски, передается местоимением «он» и «она», в венгерском автору приходится обыгрывать. То «férfi» и «nő», то «lány» и «fiú». Однако отсюда не следует, что я могу это переводить как «мужчина» и «женщина», «девушка» и «юноша». В венгерском тексте «férfi» и «nő», «lány» и «fiú» это органично, а в русском нет. Приходится додумывать, то «он» и «она» (но в каждом предложении употребление личного местоимения невозможно, это приведет к путанице и стилистически неприемлемо), то «мужчина» и «женщина», то опускать подлежащее вообще. Конечно, немного проще, когда у героев есть имена (в главе 4 есть Гергэ и Ба), но все-таки «танцуешь» в ограниченном пространстве.

9) Схожая проблема возникла в ситуации с *tanárnő* (глава 4). Сложность с переводом «*tanárnő*» из главы 4 гендерного свойства. Дело в том, что по-русски это, конечно «преподаватель» (на языковых курсах), а никакая не «учительница». Но в самом начале главы героиня, которая обладает бордовыми волосами, бежит по коридору незнакомого здания, так как ищет уборную. Переводить этот отрывок как «преподаватель с бордовыми волосами металась по коридору в поисках женского туалета» мне совсем не понравилось. Выбрала «учительницу».

10) Наконец, стилистические сложности. Не конкретно какая-то глава, а общее впечатление от текстов Кристины Тот. Ее проза на первый взгляд проста, даже незамысловата. Ты начинаешь переводить, расслабляешься и вдруг наталкиваешься на фразу типа «В принципе, вариантов развития – бесконечное множество, выплывшую на поверхность историю не всегда удастся отследить, и тогда она остается за кадром со всеми персонажами» (глава 18), то есть некую философскую сентенцию, вплетенную в ткань будничные описания. Требуется срочно переключать регистр, выдумывать что-то понятное, не слишком дословное, чтобы «ребра» перевода не выпирали, но не перекраивать текст совсем. Чтобы как-то передать дух оригинала. В общем, классический выбор между переводом Иеронима и Горация. Наверное, мне ближе Гораций, но Иеронима держу в уме.

11) Транскрипция венгерских имен часто вызывает споры. До сих пор нет единой и однозначной системы передачи ряда звуков. Поэтому я оставила за собой право передавать их так, как считаю наиболее удобным для произношения русскоязычным читателем. В главе 24 главного героя зовут *Gergő/Gergőke*. Огубленный звук *ő* с долготой, предполагающей удлинение звука примерно на одну треть, переданный на русский с помощью *ë*: *Гергë/Гергëкэ*, по-моему, автоматически обуславливает перенос ударения на данный слог. В то же время, по правилам распределения венгерского ударения оно всегда падает на первый слог. По аналогии (возможно не совсем правильной, так как в данном случае огубленный звук не имеет долготы, а также стоит в ударной

позиции) с транскрипцией имени известного и много переводившегося на русский Иштвана Экреня (*Örkény István*), а также для того, чтобы ни в коем случае не смягчать **g** и **k** перед *ő* мной было решено транскрибировать имя героя как *Гергэ/Гергэкэ*.

Дёрдь Шпиро

## ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА

Неплохо за несколько дней до начала революции оказаться в больнице, лежать там до ее подавления, а во время репрессий сидеть дома и потихонечку поправляться. Судьба таким образом оберегает тебя от неверных решений в столь непростые дни, и вообще от принятия всяких решений, да и за тебя никто из тех, кто решает жизни других, ничего не решит ни в дни революции, ни после них.

Герой нашей истории, инженер-механик Дьюла Фатраи, второго сентября справил свой сорок шестой день рождения, а семнадцатого октября, ранним утром среды, попал в больницу после целого дня, проведенного впроголодь. Кормить его уже не стали, только поили. Утром, в полдень и вечером поставили по основательной клизме, а на следующий день, восемнадцатого числа, его прооперировал доктор Золтан Калаи, троюродный брат жены.

После удаления геморроя ожидаемую при первом испражнении боль обычно сравнивают с родами и рекомендуют осуществить это дело в стенах больницы, так как возможны осложнения. Герой наш справился с этим на четвертый день после операции, за что адъюнкт Каллаи похвалил его, сообщив, что послезавтра уже можно будет выписывать.

Однако отправиться домой в среду не удалось, потому что за день до этого началась сумятица.

Всех эвакуировали в подвал, раненных с улицы приводили сразу туда. С точки зрения стратегического положения местонахождение больницы Рокуш было неудачным. Построили ее раньше, чем пяти- и шестиэтажные доходные дома, и здание выпирало на проспект Ракоци. Не раз его хотели снести, но все же больница осталась на своем месте. Едва ли в конце восемнадцатого века

кто-либо думал, что Пешт станет театром военных действий, хотя планировщики ничуть не отличались от тех людей, что были до и после них. Отвоевать Буду удалось в результате далеко не бескровной перепалки, о чем еще как помнили и по прошествии ста лет. Через полвека после постройки больницы вспыхнула революция и национально-освободительная война. С вершины горы Геллерт можно было прекрасно обстрелять весь Пешт вместе с больницей Рокуш, обозначавшей тогда ещё окраину города. Во время второй мировой в здание попал не один снаряд, и как раз тогда в подвале впервые сделали экстренную операцию. Восстановить всю больницу денег не было – лишь часовню подняли из руин. Даже спустя одиннадцать лет после войны на длинной стене, смотрящей в сторону Национального театра, все еще оставались следы стрельбы.

На этот раз выпирающую на улицу часть здания с той же страстью обстреливали как с вокзала Келети или ржавого каркаса взорванного в войну моста Эржебет, так и с позиций, сооруженных на конечной остановке трамвая. Раненые упорно твердили, что венгры стреляют в венгров, во что большинство больных и врачей не могли поверить.

Чтобы венгры в своих стреляли? Это, верно, русские стреляют в венгров?

В тридцати метрах от них, перед Национальным театром расчлениют статую Сталина! Да ладно! Как бы она попала сюда с проспекта Дьердя Дожа? Не сама ведь прилетела? Так значит притащили! То и дело в больницу заносили куски бронзы, представлявшие части то руки, то уха, то носа истукана.

Невероятно!

Со стороны проспекта Кёрут обстреливают Национальный театр, хотя тот никуда не выпирает. Стреляют и по редакции газеты «Свободный народ», на втором этаже разграбили типографию. Остановился патерностер, и на первом этаже разнесли в хлам кстробетонную стену, разделяющую шахты лифтов.

Гремели выстрелы, над головами больных весь мир летел к черту. Вопреки запрету больничного руководства самые смелые

санитары и больные осмелились подняться наверх, чтобы послушать из свисающих у изголовья кроватей наушников радио Кошшут, которое вдруг стало называться Свободным Радио Кошшут. Возвратившись, они сообщали о противоречащих распоряжениях правительства и партии, а также говорили, что по радио без конца передают классическую музыку.

Время от времени вещание прерывалось, вырубало электричество, подвал освещали свечами, светильниками и керосиновыми лампами. Так и оперировали.

Во вторник вечером Дьюла Фатраи как раз ужинал, сидя на кровати (он мог сидеть, что уже, надо заметить, большой успех) с черными гальванизированными наушниками на голове, когда услышал выстрелы не только со стороны улицы Шандора Броди, но и непосредственно из наушников. Ни единому своему уху верить он не хотел, а когда все же поверил, то почувствовал себя оскорбленным. Никто не предупреждал, что ему придется пережить еще одну войну. Вокруг него одни трепетали от ужаса, другие радовались. Сам же он впал в отчаяние. Фатраи помогал здоровым перетаскивать в подвал тяжелобольных, кровати, тумбочки и табуретки. Физическая работа оказалась кстати – таская тяжести, не нужно было ни о чем думать.

Доктор Каллаи носился вихрем и, пролетая мимо Фатраи, каждый раз прикрикивал на него:

– Дьюси, не надо! Кровоизлияния захотел? – Не успевал он выговорить, как остались видны лишь летящие полы его белого халата.

В среду вечером наш герой благополучно затемпературил. В четверг двадцать пятого октября доктор Каллаи, прислонив ухо к спине и груди больного, диагностировал воспаление легких.

– Дьюси, дорогой, и речи быть не может о выписке! Необходимо отлежаться.

– Дома отлежусь.

– Проспект Ракоци и Бульвар сплошь под обстрелом! – повысил голос доктор Каллаи. – Я сам не могу домой попасть! Стоит только высунуть нос, как тут же угодишь под пулю.

Адьюнкт Каллаи жил в двух шагах от больницы, напротив Урании, и дома не бывал с вечера вторника. С женой он общался по телефону. Поразительно, что в городе, где идет война, телефон вообще работает, однако в Пеште он работал.

– Анико истерит, – сказал адьюнкт Каллаи не без ухмылки, – приходится самой напрягаться ради крошки хлеба.

Слывшую красивой, эгоистичную и ограниченную Анико все ненавидели. Но ее, по крайней мере, можно было понять: она вышла замуж за богатого и благодаря своей профессии непрестанно богатеющего хирурга и могла навесить на себя столько драгоценностей, сколько была способна унести. А вот кого нельзя было понять, так это женившегося на ней Золтана, который еще до свадьбы поставил Анико в известность, что после заключения брака он вовсе не собирается бросать охоту за юбками. На правильной, холодной физиономии Анико мелькнула недоверчивая и спесивая улыбка, но потом она обидится со страшной силой, так как Золтан сдержал свое обещание. Мужа она не любила, а теперь еще и возненавидела, но разводиться не хотела – благосостояние было дороже.

Также Золтан сообщил ей, что детей он не хочет – хватило, что жену и двух дочек отравили в газовой камере. Анита же на ребенке не настаивала.

Адьюнкт Каллаи по восемнадцать часов в день проводил операции или ассистировал, в остальное время спорил с другими, кого взять в революционную комиссию, а кого – нет, и не пропустил ни одного голосования. В итоге половину комитета составили врачи, а вторую половину – больничный персонал.

В узком семейном кругу доктор Каллаи и прежде не раз подчеркивал, что ненавидит нынешнюю систему, а теперь и публично заявил, что коммунистов нужно прогнать. В коммунистическую партию он вступил в сорок пятом; с годами партийные собрания привлекали его все меньше, особенно он осуждал гонения на интеллигенцию, но из партии так и не вышел.

– Золтан – реакционер, – заявляла Кати, жена нашего героя, при каждой встрече с врачом и, чтобы сгладить остроту своего высказывания, всегда добавляла: – С самого детства таким был.

Золтан считал революцию переломным событием в истории, но его воодушевление несколько угасло после первых двух заседаний революционной комиссии. Если голос врача значит не больше, чем голос уборщицы, – не есть ли это очередная вариация диктатуры пролетариата? Чтобы врачи оказались меньшинством, да еще в больнице!

Сначала они спорили, как лучше себя назвать – «революционной комиссией» или «революционным комитетом». На спор ушло часа полтора, при этом нужно было срочно оперировать, но все трепались на собрании. Выступавшие за «комитет» клеймили тех, кто голосовал за «комиссию», считая их предателями венгерских традиций и идей 1848 года, лабанцами и изменниками, хотя их тем же образом избрали в члены собрания, как и других. Дальнейший треп шел о том, стоит ли лечить всех раненых или только венгров, и даже из последних, может, не всех, а только настоящих повстанцев, но как доказать, кто из них повстанец – достаточно ли только двух свидетелей, или лучше требовать письменное удостоверение, и если так, то каким оно должно быть и от кого. Против помощи советским раненым особенно гулко звучали хриплые голоса тех, кто в свое время принес врачебную клятву, и кто еще неделю назад был ярым сталинистом!

– Нужно бежать в Палестину, – сказал Золтан. – Доить коров в кибуце! А то у нас коммунизм, где ни черта нет, а вот там настоящие коммуны! Беспокоиться не о чем, роешься себе спокойно в земле! Надо ехать, здесь все равно безнадега! Тем более, там и врачей ценят!

Израиль он называл Палестиной, чисто в силу привычки, и с недавних пор его заиклило, что нужно было еще в сорок пятом бежать.

– Сейчас уже поздно, Анико никуда не поедет, ей и дома хорошо. И потом она заладила, что она и на еврейку-то не похожа.

– Езжай один.

– Не могу ее тут оставить, у нее даже профессии нет – помрет с голоду!

– Да найдет себе работенку. Возьмут разнорабочим или продавцом.

– Не могу я так с ней.

– Да почему нет?

– Потому что я женился на ней.

– Так разведись!

– Исключено.

– Пристрой ее в контору, скажем, к кому-нибудь из твоих благодарных пациентов, а сам езжай, раз хочешь. Ты все равно ведь оставишь ей квартиру, картины...

– Оставлю, но с этого добра только на лет пять-шесть хватит...

– Как раз чему-нибудь выучится за это время.

– Я не настолько подлый.

– Да ты ведь изменяешь ей с каждой встречной!

– Это другое. Об этом я ее сразу предупредил.

Новости и панические слухи едва касались сознания нашего героя. Тем лучше, что все тело горело – не нужно было ни о чем думать.

Вскоре температура спала.

Позвонить домой он не мог – служебный телефон заняло больничное руководство. На первом этаже был автомат, больные, несмотря на запрет, то и дело прокрадывались к нему, пока начальство не догадалось запретить дверцу телефонной будки.

Он ждал, когда зайдет жена. Несмотря на нависающий над верхней губой нос, в трамвае она всегда держалась зоны, предназначенной для христиан, и никогда не пугалась, если нилашисты просили предъявить документы: она глядела им прямо в глаза и пренебрежительно протягивала фальшивые бумаги, зажав их длинными, окрашенными в красный цвет ногтями. Это производило эффект. Но Кати в этот раз не пришла. Вероятно, и в других районах идет перестрелка.

В городе наверняка торжествовал хаос, состав правительства менялся каждый день, каждый день возникали новые партии и несчетные комиссии. Больные, врачи, санитары и раненые – все



то опровергали, то подтверждали всякий бред; Фатраи старался никому не верить и вообще не думать.

На площади Республики оккупировали здание будапештского комитета партии, кого-то казнили, и все роют, и роют, и роют – ищут казематы, в которых мучили рабов. Копают также и на площади Мари Ясаи возле «Белого дома» и здания Министерства внутренних дел. Там тоже были казематы – вот, пожалуйста, даже в газетах пишут! –, откуда прямо в Дунай бросали трупы замученных до смерти. Газеты принесли врачи скорой. Их машины с торчащими из окон флагами с красным крестом, говорят, не обстреливали ни повстанцы, ни армия.

Золи Каллаи утверждал, что ему не раз удалось дозвониться до Кати – все в порядке, передает привет. Может, правда, а может и нет.

Однажды Кати наконец объявилась. Она зашла на цыпочках, как обычно ходят бывшие танцовщицы. Рыжие густые волосы были повязаны темно-серым платком, и был на ней точно такой же плащ из блеклого непромокаемого материала, в каких ошивались революционеры. Старая вещь, сохранилась еще с тридцатых годов – обычно она надевала его на прогулки. На запястье виднелась широкая ленточка с полосами национальных цветов. В жестяной таре она принесла суп. Удивительно, что суп не расплескался, потому что тара плотно не закрывалась.

– Ну зачем ты, здесь ведь вдоволь еды! – сказал наш герой вместо приветствия.

Кати лишь махнула рукой. Она принялась хвастаться, что пешком шла только до Октогона, где ее подобрал военный грузовик и повстанцы подвезли ее в кузове. Рассказав о подвиге, она замолчала – похвастаться было больше нечем.

– С завода меня никто не искал?

– Нет.

Бессмысленный вопрос. Даже если бы и искали, жена все равно бы не сказала, чтобы поберечь его.

– Ты же только что после операции, зачем было таскать тяжести? – вдруг произнесла Кати. – Золтан мне все рассказал по теле-

фону. Что за безответственность, легкомыслие, инфантильность! Как тут не заболеть! Ты ведь и умереть мог! А о семье ты подумал?

Наш герой молчал.

Все высказав, Кати навела порядок на тумбочке и поставила туда суп.

– Ложка есть? – спросила она строго.

– Есть.

Кати села на край кровати, оба молчали.

– Как ребенок?

– Хорошо, играет сам с собой. Шарик катает.

– Ты ведь не пускаешь его на улицу?..

– Конечно нет!

– Дома все в порядке?

– Да, в порядке.

Дядя Пишта, смотритель с пивным животиком и далеко не одним подбородком, был мастером на все руки и выпить не дурак. Утром двадцать четвертого октября он вышел из дома и принялся поносить жидов и русских; его никто не остановил, хотя все боялись, что русские услышат. Но не стоит тревожить больного подобными новостями.

Он погладил жену по руке – та ее не одернула, но и гладить его в ответ не стала. Кати недовольно рассматривала обстановку подвала.

– Как здесь холодно, – сказала она.

– Да, отопление тут и не предусмотрено.

– Сестра сказала, что у тебя воспаление легких.

– Температура прошла.

– Когда вас переведут обратно на этаж?

– Не знаю, скоро.

Кати сидела на краю кровати, оба молчали.

– Представляешь, – мрачно заговорила Кати, – Хусарне застрелили. Она стояла в очереди перед Глазнером, открыли огонь по толпе, и пуля застала именно ее! Прострелили легкое! И все, капут!

– Бедняга.

Кати вдруг подскочила.

- Пойду допрашивать Золи!
- О чем же его допрашивать?
- О твоём здоровье.

– Все со мной в порядке, просто еще слабость.

Кати покачала головой: она-то знает, что больной никогда не скажет правду, даже если знает причину своей болезни. Все равно врач потом все сообщит.

Кати ушла искать своего брата. Через полчаса она лишь заглянула на минутку.

- Он в операционной, не буду ждать. Нужно идти.
- Будь осторожна!

Он устало распротерся на кровати – визит его притомил.

Кати пришла и в субботу, принесла лапшу с маком.

- В понедельник выписывают! – сообщил ей наш герой.

Кати рассеянно кивнула. Она была подавлена, глядела мрачно. Герой наш решил, что жена переживает по поводу речи Миндсенти. Но здесь, в подвале среди посторонних, об этом лучше не говорить – если и придется, то только дома.

Умолчать же они решили о том, что Миндсенти объявил о восстановлении феодализма и капитализма. Наконец Кати заговорила:

- Я унесу, что смогу – ты сам ничего не таскай.
- Завтра увезут на скорой, – решил наш герой.

Кати шла домой налегке. Лапша с маком перепала даже соседям по койке.

На рассвете следующего дня пришли русские. Снова затрещали стволы, и снова принесли много раненых. На этот раз наш герой не стал помогать их переносить – за прежними угрызениями совести новые не последовали. Он не хотел, чтобы советские войска поработили Венгрию, потому что это уже вовсе не освобождение, как оно было одиннадцать лет назад. Фатраи лежал; он бы отвернулся к стене, но не мог, так как его койка стояла посередине, между двумя узкими проходами, и его постоянно пихали те, кто носил очередных раненых.

В понедельник домой его не отвезли, так как все скорые снова были заняты.

– Завтра отвезут, – сказал Золтан в среду, седьмого ноября – день, который в этот исключительный год никто не воспринимал как праздник. – Утром придет Кати.

- Боже упаси, зачем?!

– Я ей сказал по телефону, что не надо, но она все равно хочет прийти.

– Вставать ни свет ни заря, чтобы тащиться сюда пешком?! А если пристрелят?!

В четверг восьмого ноября Кати забежала в больницу, как раз когда нашему герою помогли сесть в машину скорой помощи. Помимо него везли еще двух больных, для жены места не было. Наш герой уже было воспротивился, но Кати махнула рукой – ерунда, пешком дойдет, хотя было видно, что она ужасно расстроилась: сумку уже загрузили, а ведь Кати специально пришла, чтобы помочь с ней.

– В звонок можешь не звонить, – сказала Кати, – я велела ребенку никому не открывать... Держи мой ключ... Твой дома, в верхнем ящике буфета... Сыну я сказала, что брать можно только если пожар...

Она протянула ключ.

- Я пошла, поговорю с Золи!

Она забежала в здание, наш герой смотрел ей вслед. Золи в операционной и до вечера не покажется. Кати прекрасно это знала, и непонятно, к чему этот вечный театр?

Дом застал его врасплох. Как хорошо было сбежать от всего этого, пусть и в больницу. Вот-вот будет истерика из-за ключа, а потом из-за каждой мелочи.

В больнице он был освобожден от семейной жизни. Ладно, мысль, что нужно еще отлежаться какое-то время дома пока полностью не поправится, хоть как-то успокаивала.

Через боковое матовое стекло машины ничего не было видно. Впереди тоже не разглядеть города, так как возле шофера си-

дели еще двое. Казалось, что он попал в пещеру, из которой нет выхода. Больничный подвал был тем же гротом, теперь засунули в еще один, и дома он вероятно продолжит прозябать в пещере. Он больше не знал, что происходит вокруг, как древний человек в своем ограниченном мире.

Врачи не говорили ни слова.

– Товарищи, что такое, чего грустим? – поинтересовался полноватый сосед с загипсованной ногой, на вид рабочий.

Врачи ничего не ответили.

И тогда нашего героя осенило: ведь ему невероятно повезло, что все это время он провел в больнице.

Потому что теперь все так и останется. Если в страну вошли советские войска, то выгнать их отсюда будет уже не под силу ни человеку, ни самому господу богу. В который раз они вошли в Будапешт, и уже никто и не думает, что они отсюда уйдут. Когда год назад их войска отозвали из Австрии, многие надеялись, что они уйдут и из Венгрии. Иллюзия развеяна, революция подавлена, уходить никто не собирается.

Никому, кто был замешан в волнениях, пощады не будет.

Нашему же герою расправа не грозит, поскольку принять участие в восстании у него просто не оказалось возможности. Неплохо за несколько дней до начала революции оказаться в больнице, лежать там до ее подавления, а во время репрессий сидеть дома и потихонечку поправляться.

Фатраи вовсе не заслуживал больше других той случайности, что спасла ему жизнь. Просто ему повезло.

Веснушчатый сынишка – кожа белоснежная, бровей и не видно – испуганно глядел на папу, когда тот открыл дверь передней и впопыхах даже не поздоровался. Судя по тому, что рыжие волосы были коротко острижены, парикмахерская на проспекте Пожони вновь открыта. Наш герой завалился в свежестеленную кровать, натянув на себя перину.

Кати вернулась домой через два часа. Переступив порог, она разрыдалась, встала у кровати на колени, крепко обняла мужа за шею

и не хотела отпускать. Наш герой сдержал раздражение, погладил жену по голове, по ее густым рыжим волосам, и снова уснул.

Перевод Алины Щегловой

АЛИНА ЩЕГЛОВА

КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА

к отрывку из романа Дёрдя Шпиро «Весенняя выставка»

Роман «Весенняя выставка» Дёрдя Шпиро (род. в 1946 г.) отсылает нас к венгерскому восстанию 1956 года. События начинаются 17 октября, но они вовсе не связаны с грядущей революцией: просто именно в этот день инженер-механик Дьюла Фатраи попадает в больницу, где ему предстоит операция по удалению геморроя. Заканчивается роман первомайским митингом 1957 года, то есть действие разворачивается непосредственно во время восстания, а также в течение полугода после его подавления советскими войсками. Значит ли это, что перед нами исторический роман? Или что очередной писатель решил высказаться по поводу событий тех дней? Пожалуй, меньше всего это роман о революции. Тогда о чем же он, и почему его стоит читать?

Дёрдь Шпиро – одна из важнейших фигур в современной венгерской литературе. Автор романов «Под знаком Икс» (*Az Ikszek*, 1981), «Пришелец» (*A Jövevény*, 1990) «Неволя» (*Fogság*, 2005), сборника стихов, сборников новелл, а также ряда эссе и исследований, посвященных театру, он приобрел известность прежде всего как драматург. Пьеса «Куриные головы» (*Csirkefej*, 1985), имевшая большой успех в Венгрии, доступна в русском переводе и шла на сценах российских театров. Также на русский переведены драма «Прах», сборник новелл и стихов «Перспектива», отдельные эссе и рассказы. Заметим, что Шпиро закончил филологический факультет Будапештского университета и сам прекрасно владеет русским языком, перевел не одну пьесу русских класси-

ков, включая Гоголя и Чехова, а один из своих романов посвятил последним годам жизни Максима Горького (*Diavolina*, 2015).

Идея написать о событиях 1956 года пришла Шпиро, когда ему предложили стать со-автором сборника, который планировали издать ко дню рождения венгерского писателя Имре Кертеса, лауреата Нобелевской премии по литературе. Во время войны Кертес был узником концлагерей, собственный опыт послужил основой его главного романа «Две судьбы» (*Sorstalanság*, 1975). Премия вручена «за творчество, в котором хрупкость личности противопоставлена варварскому деспотизму истории» – подобная формулировка дает понять, почему для будущего сборника Шпиро решает написать произведение, которое бы затрагивало одно из наиболее страшных событий истории.<sup>11</sup> И тут, как рассказывает сам писатель, он вспоминает, что однажды в детстве ему попала на глаза газетная статья, которая разоблачала заговор против коммунистической власти. Но действительно ли существовала эта статья? Быть может, он сам ее выдумал или она ему только приснилась? Шпиро отправляется в архив, чтобы найти злополучную газету, проводит недели в поисках, и когда найдет ее, то для сборника, посвященному Кертесу, он уже напишет вместо новеллы эссе. Зато он приступит к новому роману.

Итак, главный герой «Весенней выставки» попадает в больницу с геморроем за несколько дней до того, как в Будапеште вспыхнет восстание. Уже с первой страницы Шпиро задает тон всему роману: здесь и ирония, и сухой, но при этом ритмичный язык. Кажется, что глубокое изучение первичных источников, прочтение сотни газет настолько погрузило автора в венгерские реалии пятидесятых, что он решил вовсе не выходить из них и использовать манеру изложения официальной публицистики или

<sup>11</sup> Tavaszi tárlat és 1956 Spiró új regényében [Электронный ресурс] // Múlt kor. Történelmi magazin. 2010. szeptember 17. URL: [https://mult-kor.hu/20100917\\_tavaszi\\_tarlat\\_es\\_1956\\_spiro\\_uj\\_regenyeben](https://mult-kor.hu/20100917_tavaszi_tarlat_es_1956_spiro_uj_regenyeben) (дата обращения: 09.10.2018).

скорее служебного отчета. Интересно, что многие критиковали роман именно за стиль повествования. Одним казалось, что предложения слишком блеклые и им не хватает ажурности.<sup>12</sup> Другие считали невыносимой чрезмерную документальность: автор настолько погружается в детали, что читателю становится сложно в который раз проделывать путь по маршруту пятнадцатого трамвая или же следить, кому какое место досталось на митинге первого мая.<sup>13</sup> Однако для понимания романа важно, что стиль повествования выбран автором осознано с целью погрузить читателя в мир «соцреализма» и продемонстрировать его неадекватность как метода описания действительности.

В Уставе Союза писателей СССР, принятом на Первом съезде СП сказано, что «социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в её революционном развитии». Проблема «нашего героя» – как иронично называет Фатраи сам автор – заключается как раз в том, что, попав в больницу, он лишается непосредственного доступа к реальности, и потому никакого «исторически-конкретного изображения действительности» через его восприятие мы получить не можем. Все, что главный герой узнает о вспыхнувшем восстании, доходит до него через новости и слухи, то есть всякая гарантия достоверности отсутствует. Тем не менее читатель продолжает получать информацию о событиях, при этом не всегда очевидно, где кончаются мысли главного героя и начинаются слова объективного наблюдателя – газетные новости служат источником не только больным и медперсоналу, которые

<sup>12</sup> ÉS-KVARTETT – Spiró György Tavaszi Tárlat című regényéről // Élet és Irodalom. LV. évfolyam 5. szám, 2011. február 4.

<sup>13</sup> Tóth Csilla. A Vicsor Országá. Spiró György: Tavaszi Tárlat – Könyvkritika [Электронный ресурс] // Kikötő Online. 2010. december 01. URL: <https://www.kikotoonline.hu/konyvjelzo/kritikus-szem/konyvkritika/a-vicsor-orzsaga> (дата обращения: 09.10.2018).

прячутся в подвале больницы, но и писателю при изучении материала для будущего романа. Любая новость, полученная Фатраи, оказывается сродни обломку статуи: его принесли, но как он сюда попал и почему – понять сложно. Казалось бы, газеты документируют происходящее, но чем больше приходит отчетов и новостей, тем дальше уходит от героя реальность. Знаменательна сцена, когда Фатраи везут из больницы домой на машине скорой помощи, и он оказывается совершенно не способен разглядеть и понять происходящее вокруг – мешает либо матовое стекло, либо сидящие впереди пассажиры. Как поток новостей представляет события в деталях, лишенных общего смысла, так и Шпиро, подхватывая манеру повествования своего героя, продолжает выкладывать мертвые факты, вырванные из реальности обрывки наблюдений в виде маршрута трамвая и описания трибун, и тем самым отклоняется от исторического жанра, обращаясь к проблемам, носящим экзистенциальный характер.

Здесь интересно провести параллель с творчеством Имре Кертеса, который вовсе не случайно послужил для Шпиро источником вдохновения. Кертес – гораздо больше, чем писатель о холокосте. Как в романе «Две судьба» опыт Освенцима служит лишь поводом для более масштабных размышлений о человеке и существовании в мире, так и в «Английском флаге» – рассказе, посвященном, по сути, событиям 1956 года – Кертес ни разу не упоминает о революции напрямую. С первых же строк мы узнаем, что рассказчик оказался вынужден поведать историю об английском флаге, потому что об этом то и дело его просили друзья и ученики. Однако никакая история, словами Кертеса, «изложению не поддается, то есть вовсе и не является историей, а если бы я все-таки ее изложил как историю, то, повсей вероятности, у меня получилось бы нечто прямо противоположное тому, что я собирался изложить».<sup>14</sup> В итоге главным героем истории об английском флаге становится необходимость ее рассказать:

<sup>14</sup> Кертес И. Английский флаг: Повести/ И. Кертес; Пер. с венгер. Ю. Гусева. – М.: Текст: Журнал «Дружба народов», 2001. – 157 с.

автор постоянно возвращается к ней, тогда как к самой истории все никак не может подобраться, а когда к концу повествования он все же делает это, то оказывается, что за флагом ничего нет, и на первый план выходит проблема отсутствия. «В перспективе улицы возник мчащийся на всех парах автомобиль вроде джипа, с сине-бело-красными национальными британскими цветами на радиаторе: машину сплошь закрывал английский флаг. <...> в тот момент, когда аплодисменты стали усиливаться, можно сказать, густеть, из окна машины, с левой стороны, нерешительно, даже сначала как бы неохотно, высунулась рука. Она была обтянута светлой перчаткой; я, правда, не видел ее вблизи, но предполагаю, что это была замшевая перчатка; и, видимо, в ответ на аплодисменты рука совершила несколько осторожных помахиваний в направлении, параллельном движению джипа. Это явно было приветствие, весьма дружелюбное, возможно, с некоторой долей сочувствия, во всяком случае, с бесспорным одобрением; но чувствовалось, кстати, в этом помахивании и твердое сознание того, что вскоре эта рука будет легко опираться на перила трапа, ведущего с самолета на бетон аэродрома далекой островной страны... Потом джип, рука, английский флаг – все исчезло за поворотом, и аплодисменты постепенно стихли. Вот и вся история об английском флаге».<sup>15</sup> Рука в светлой перчатке как символ нехватки – она сама машет, а тот, кому она принадлежит, бесконечно отстранен от происходящего, его не существует. Как нет в рассказе ни упоминаний о революции, ни выстрелов, ни пролитой крови. Английский флаг промелькнул на будапештских улицах, лишь намекая, что есть другой – не тоталитарный, свободный – мир, но за символом этого мира ничего не оказалось – лишь слабое помахивание ничейной руки.

Если в рассказе Кертеса знаком отсутствия служит английский флаг, то в романе Шпиро эту функцию выполняет художественная выставка, открытая в апреле 1957 года в будапештском выставочном зале «Мючарнок». Событие «Весенняя выставка», давшее

<sup>15</sup> Там же.

название роману, прославилось тем, что на нем впервые после 1949 года были представлены работы абстракционистов. Кати, жена Фатраи, принимает участие в организации выставки, однако ее энтузиазм, подхлестываемый верой в послабление режима, оказался напрасным, так как показ абстрактного искусства был умышленно подготовлен властями, чтобы в дальнейшем осмеять художников, не следующих официальной доктрине соцреализма. В итоге весна не принесла никаких перемен, если, конечно, не считать, что Кати сняли с должности. Выставка, обещавшая свободу, оказалась лишь частью политики, злой игрой, вселившей напрасную надежду.

Проблема отсутствия обыгрывается Шпиро в самом сюжете романа, когда главный герой, попав в больницу, выпадает из вершившейся на улицах Будапешта истории. Ему даже не пришлось раздумывать, принимать ли участие в революции – за него все решил геморрой. Казалось бы, прекрасное алиби, и никакие репрессии грозить ему точно не будут, но спустя какое-то время после подавления восстания и выписки из больницы Фатраи увидит свою фамилию в газетной статье, разоблачающей заговорщиков. Фамилия у него оригинальная, и едва ли во всей Венгрии найдется еще один Фатраи. Дело в том, что Дьюла Кляйн – так звучит настоящее имя нашего героя – однажды решил сменить фамилию, чтобы та не выдавала еврейского происхождения. Он выбрал Татраи (так по-венгерски звучит название гор в Словакии), но при регистрации нового имени допустили две ошибки, записав *Fatray* вместо *Tatrai*. Таким образом настоящий Кляйн оказался скрыт сразу за двумя подменами – осознанной и совершенно случайной, и ничего не оставалось, как смириться с курьезным именем.

Когда в газетной статье Фатраи случайно видит свою фамилию среди обвиняемых в заговоре, абсурд происходящего достигает своей высшей точки. Во время восстания он, можно сказать, отсутствовал, исключен из событий, не мог принять в них участия ввиду объективных причин, но, несмотря на это, оказался не только виновным, но и жертвой. Мы попадаем в

мир Кафки, процесс объявлен, но никакого преступления не было и не могло быть совершено. Мир дает сбой, самое ясное и неоспоримое оправдание теряет силу, безусловная невинность ставится под вопрос. Фатраи обращается в больницу, но справку ему никто не выдает. Коллеги по заводу только поддерживают клевету. Казалось, земля уходит из-под ног, всякие ориентиры потеряны, ускользает чувство реальности, и лишь случайная встреча со старым знакомым спасает «нашего героя».

Следует подчеркнуть, что в качестве главного героя Шпиро выбирает не представителя интеллигенции, а рядового инженера, тем самым подчеркивая, что за произведением не стоит цель острого политического высказывания. Роман повествует прежде всего о жизненной драме простого человека, который не то чтобы малодушен, трус или предатель – просто абсурд происходящего и постоянная неопределенность, возрастающая при любой попытке что-либо предпринять, лишает его способности признавать себя и свое место в окружающей действительности, а настоящая личность уже давно потеряна за фиктивным именем. Пожалуй, Фатраи не является даже антигероем, потому что происходящий в социальной жизни абсурд лишает смысла сам дискурс о героизме. В такой ситуации остается отвернуться к стенке и вовсе перестать думать, но сделать это невозможно, потому что ты лежишь по центру, и постоянные толчки в бок не дают забыть, что мимо таскают раненых.

Название романа отсылает нас не только к реальной выставке, но и к праздничному митингу в честь первого мая, который проходил в 1957 году на площади Героев, в непосредственной близости от Мючарнока. Венгерское слово “*tárlat*”, помимо узкого значения «выставка», несет более широкий смысл, а именно «смотр, демонстрация выставленных предметов». Демонстрация, организованная спустя всего полгода после кровавых стычек в центре Будапешта, собрала на площади несколько сотен тысяч митингующих – такой популярности не ожидала даже партия. Для понимания того, насколько непредсказуемым было видеть на площади столь огромную толпу сторонников партии, необхо-

димо иметь представление о масштабе и ходе развития венгерского восстания, которое, еще раз подчеркнем, началось всего несколько месяцев назад, а именно 23 октября 1956 года. В первые же дни революции уличные беспорядки обрели поистине массовый характер. События достигли своего накала 31 октября, когда разъяренная толпа ворвалась в будапештский горком партии и казнила несколько человек, включая первого секретаря Имре Меze. По всему городу начали отлавливать и вешать на деревьях офицеров госбезопасности. На следующий день председатель правительства Янош Кадар покинул Венгрию, 7 ноября 1956 года он вернулся вслед за введенными в Венгрию советскими войсками, после чего было объявлено о переходе всей власти в стране к возглавляемому им Революционному рабоче-крестьянскому правительству. Заняв посты премьер-министра и лидера Венгерской социалистической рабочей партии, Кадар взял курс на послабление режима, что, однако, не помешало 23 ноября 1956 года арестовать бывшего премьера Имре Надя, который во время октябрьских событий признал народные возмущения справедливыми, за что спустя два года был казнен. Огромная толпа, вышедшая на демонстрацию 1 мая 1957 года, предвещала, что правительство Кадара надолго закрепится у власти, и никакие волнения ему уже не грозят. В интерпретации Шпиро площадь Героев стала выставочным пространством, собравшим совершенно потерянные, лишенные реальности людские экспонаты. Стояла весна, время пасхи. Фатраи, пришедший на митинг с женой и ребенком, воскресает духом, когда видит, что столько людей вышли поддержать правительство («с таким доверием и нужно жить»), а вечером того же дня задумывается над тем, что в сорок семь еще рано себя хоронить, и наконец принимает решение: завтра же он изменит жене с молоденькой девушкой из бухгалтерии.

При переводе «Весенней выставки» трудно не позволить русскому читателю потеряться в описываемых исторических событиях, также как и в топографии романа. Если объяснять каждый момент, который для венгерского читателя очевиден и в комментариях не нуждается, то стиль повествования потеряет прису-

щую оригинальному тексту лаконичность, которая неразрывно связана, как мы отметили выше, с идейным замыслом романа. При одном упоминании больницы Рокуш венгерский читатель уже представляет себе карту Будапешту: здание находится на проспекте Ракоци, одной из главных артерий Будапешта, ведущей от моста Эржебет через старый город к площади Луизы Блаха и далее к восточному вокзалу «Келети». Основная застройка проспекта относится к концу 19 – началу 20 века и представляет собой многоэтажные глыбы доходных домов. На их фоне барочное здание больницы, строительство которого началось в конце 18 века, выглядит скромно, хотя из-за примыкающей к главному корпусу часовни кажется, что оно «выпирает» на проспект. В романе мы читаем, что во время строительства больницы не могли не помнить о так называемом «отвоевании Буды» (по-венгерски *“Buda visszafoglalása”*) – каждый венгр, не задумываясь, понимает, о чем идет речь, потому что термин непременно воссоздает картину 1686 года, когда после более чем двухмесячной осады Будапештская крепость была освобождена от турецких захватчиков, но для зарубежного читателя, возможно, необходим дополнительный комментарий. То же касается емкого термина *“szabadságharc”*, который незамедлительно порождает в венгерском сознании целый ряд событий и имен, связанных с революцией 1848 года и национальной борьбой против Габсбургов. Если в переводе пространно расшифровывать это понятие и уточнять год, когда произошла революция, то мы рискуем нарушить ритм повествования, разбавляя довольно плотный текст дополнительной информацией. Как переводчик, я старалась передать именно специфику стиля, придерживаясь упрощенной манеры изложения, тогда как комментарии, касающиеся исторического контекста и будапештской топографии, по моему мнению, стоит либо вынести в приложение и примечания, либо оставить имплицитную информацию нераскрытой, чтобы дать возможность любопытному читателю провести собственное исследование.

Эрвин Лазар

## ФАРФОРОВАЯ КУКЛА

Мужчина казался знакомым. То ли в Дороге, то ли в райцентре встречались. Иштван Йошваи даже фамилию вспомнил: Чурманди.

Чурманди излучал уверенность и силу. Над широкими скулами сверкали темные глаза, лоб покрывало готовое взлететь птичье крыло волос. Даже легкая сутулость казалась лишь выражением самоотверженности: он несёт на плечах стены и столбы, столбы на которых держится новый мир.

– Люди! Теперь здесь все ваше! – Чурманди широким жестом обвел округу: дома прислуги, стойла, амбар, уходящие вдаль поля, окаймленные рядами деревьев и даже палфский графский замок и цецейский дом помещика из Рацпацэгреша, почтенного господина Кишша.

Он стоял посреди столпившихся полукругом жителей, за южным фасадом Среднего Дома: «за домом». Иногда взрослые останавливались здесь поболтать, облокотившись о стену, но чаще всего за домом играли дети, и глинистая земля была плотно утоптана босыми ногами. Сейчас все молчали, не решаясь поверить, и Чурманди уже поднял было руку в утвердительном жесте, но сказать ничего не успел, потому что на внешнем конце полукруга зарыдала жена Лайоша Бютеша.

– Что же вы плачете? – с досадой спросил Чурманди.

Женщина не ответила, только стала всхлипывать потише.

– Вы чегой-то ревете, тетя Юлишка? – повторила вопрос Юци Балог, как будто перевела с иностранного языка на рацпацэгрешский.

– Так ведь если бы моя Розочка это видела! – рыдала женщина – Розочка моя...

– Ну, будет вам, госпожа Бютеш – укорил ее Дюла Хубер. Такая чувствительность в присутствии чужого человека показалась ему неуместной. – Розочку уже не вернуть, а мы тут важные вещи обсуждаем.

– Что? – землетрясения, грозы и вихри прошли по лицу Чурманди. Должно быть, у Зевса было такое лицо, когда из его головы рождалась Афина Паллада.

Он буквально прорезал взглядом толпу, шагнул к госпоже Бютеш и долго и пронзительно смотрел на нее в упор, так что та даже перестала плакать от страха.

– Сколько лет было Розочке?

– Три – прошептала женщина и внутри у нее вдруг зашевелилась безумная надежда. – Она задыхалась. Задыхалась беденькая... А потом... Будто в фарфоровую куколку превратилась. Уже больше не двигалась. «Уж боле не двигалась» – сказала она. Но разницу можно почувствовать только если вы сами из Рацпацэгреша. Там слова живут по-другому.

Все замерли, боясь вздохнуть. Повисло молчание... О, не гневи Бога, человек!

– Если бы вы могли что-нибудь сделать – прошептала госпожа Бютеш, ошеломленно глядя на Чурманди.

Дюлу Хубера переполнили сострадание и стыд.

– Да ведь Розочка-то уже пять лет как мертва! – закричал он, словно очнувшись от морока. Хотел добавить что-то еще, но Чурмади поднял на него тяжелый взгляд.

– Поймите вы, – проговорил он очень тихо – Для нас нет ничего невозможного!

В барабанных перепонках отдавалась биение сердец, было слышно, как бабочка садится на цветок просвирника.

– Завтра вечером Розочка должна быть здесь. Здесь, за домом! – приказал Чурманди, и в его голосе уже не было напряжения, как будто речь шла о чем-то обыденном.

– Выкопать? – вздрогнула госпожа Бютеш.

– Я что, неясно выразился?!



Чурманди пошел к дряхлому опелю, на котором приехал. Но не успел сделать и трех шагов, как в ноги ему бросилась жена Ференца Часара и обняла его колени, сжимая их словно в тисках.

– А вам чего?

– Мой Ферко! Его тоже! Умоляю вас, господин!

– Какой я вам господин! – проворчал Чурманди и попытался освободиться из тисков. – Сколько лет было мальчику?

– Четырнадцать – прошептала женщина и отпустила ноги Чурманди, но не встала, так и сидела на коленях и глядела на него запрокинув голову.

Ферко Часар утонул в канале Шио. Тело нашли под Уздом только через несколько дней: оно зацепилось за ивовое деревце. Тогда он уже распух и изменился до неузнаваемости. Труп запретили перевозить и мать выкрала его ночью. Даже надгробие заказала. Это был ее единственный сын. Говорят, она так тосковала, что у неё повяла герань на окнах, собака облысела и потеряла зубы, а цыплята почернели.

– Несите вашего сына – сказал Чурманди.

Лицо госпожи Часар просветлело. Засверкали волосы, глаза, платье. Кто бы мог подумать, что она так красива? Чурманди некоторое время смотрел в изумлении, потом поддержал ее под локоть, помогая подняться.

С видимым усилием освобождаясь от чар госпожи Часар, он повернулся к жителям Рацпацэгреша.

– Ну, у кого еще ребенок...

Госпожа Сотёри искоса посмотрела на супруга. И так как он молчал, спросила:

– А тело обязательно нужно?

Чурманди хотел что-то спросить, но его перебил Иштван Сотёри:

– Замолчи женщина! Наш сын не умер! – Он повернулся к Чурманди и чуть понизил голос – Тут взрыв был, бомба какая-то, что ли, так моя жена думает он там погиб. А ведь наш маленький Пиштика просто превратился в птицу, это всем известно.

Чурманди переводил взгляд с одного лица на другое.

– В птицу?

– В птицу – подтвердил Иштван Сотёри.

Чурманди, словно от чего-то отмахиваясь, поправил падающие на лоб волосы.

– Ну, тогда завтра сделайте все как я сказал.

Махнув на прощание рукой, он повернулся, сел в старый автомобиль и завел кряхтящий и кашляющий мотор. Машины здесь появлялись редко, и дети как обычно бежали за опелем до самого Кишшарока. Колеса поднимали густые белые облачка пыли.

На следующий день молчаливая толпа окружила могилу Розочки Бютеш. Парни – те же, что когда-то копали могилу, втыкали лопаты в ставший со временем почти плоским могильный холмик.

Андраш Пригер понуро стоял рядом с выкопанным крестом, с еще черным от земли заостренным основанием.

– Не стоит все-таки их тревожить... – сказал он.

Парни с видимым облегчением перестали копать.

– Да что ж вы все каркаете-то, старый ворон! – исступленно закричала госпожа Часар – всё каркает и каркает!

Больше никто ничего не говорил. Слышно было только шуршание, шипение и удары падающей земли. Когда лопата стукнулась о гроб, все затаили дыхание. Госпожа Бютеш, смертельно бледная с круглыми глазами стояла у края могилы и прижимала к губам мятый носовой платок. Прогнившая крышка разлетелась на кусочки. Показался белый как снег саван маленькой девочки. В зачарованной тишине госпожа Бютеш присела у гроба и убрала с лица дочери обломок гнилой доски. По толпе прокатился вздох изумления, как будто несколько отопительных котлов разом выпустили пар: сначала звук был высоким, потом все ниже, разразившись наконец счастливыми смешками. Малышка была как живая, словно она не то, что пяти лет, а даже минуты не провела под землей. Женщины, как по команде разом заплакали. Госпожа Бютеш собирала щепки с лица, рук и савана Розочки. Девочка и правда была похожа на фарфоровую куклу.

На лице легкий румянец, светлые волосы колышет ветерок, как будто их только что вымыли. Пухлые ручки с уютными розовыми ногтями сложены на груди.

С могилой Ферко Часара уже особенно не возились. Выкопали гроб: он настолько хорошо сохранился, что даже крышка не развалилась. Те, кто видел Ферко мертвым, отводили глаза, чтобы не смотреть на изуродованное лицо. Но тем большим было всеобщее удивление, когда достали тело и обнаружили, что на нем нет и следа смерти. Казалось, Ферко Часар просто уснул, и не было в его жизни ни омута, ни ивового дерева.

Андраш Пригер устыдился. Он уже почти с любовью думал о Чурманди, о его блестящих темных глазах, о птичьем крыле волос. Его переполняло доверие и легкость, как будто все его уставшие косточки заменили на новые, и даже кровь текла как-то по-другому, словно он снова стал восемнадцатилетним.

Все будто парили от счастья и небо сияло непривычной синевой.

Уже хотели идти за дом – Чурманди приказал собраться к полудню – но Юци Барабаш закатила скандал, требуя, чтобы её маму тоже отнесли к Чурманди. «Пред евоны очи» – сказала она.

Напрасно ей объясняли, что предложение Чурманди распространяется только на детей.

«А ежели не поможете, я её сама руками выкопаю», – остервенело повторяла она.

Жена Игнаца Барабаша, в девичестве Эржи Хольтян умерла на прошлой неделе в возрасте семидесяти двух лет, неожиданно, когда развешивала белье. Она бы могла ещё пожить. Отчасти потому, что была ещё слишком молода, чтобы умирать, но в особенности потому, что в посёлке её все очень любили.

Так что для Эржи Хольтян решили сделать исключение.

Старушка тоже выглядела как живая. Даже длинный волос, с которым она при жизни столько сражалась, всё так же рос на подбородке.

Юци Барабаш нахмурилась, потому что точно помнила, что вырвала этот волос перед похоронами. Наклонившись над

матерью, она снова его выдернула, попытавшись сделать это как можно незаметнее.

– Нечего ему тут болтаться, когда ты воскреснешь – шепнула она.

В полдень мертвецы лежали на указанном месте. Тела купались в солнечных лучах, как будто люди просто легли позагорать. Андрашу Пригеру даже показалось, что на лице Эржи Хольтян показалась капелька пота.

Женщины украсили околицу цветами и листьями, принесли с окон герань, морской лук и перистую спаржу. Все смотрели на дорогу. Там должны были появиться облачка пыли от опея из Шарсенлёринца.

Но они не появились.

А ведь дети добежали до самого Надьшарока и забрались там на старый клён, чтобы увидеть машину первыми.

Все стало ясно. Дюла Хубер устало оперся о стену.

– Нет! Нет, только не это! – вскрикнула госпожа Бютёш.

На лице её дочери появилась тонкая трещинка, она прошла от переносицы ко лбу, а потом через всё лицо до подбородка. Потом разветвилась и вот уже все лицо словно паутиной покрылось мелкими трещинами.

На их глазах все три мертвеца обратились в пыль.

Жена Часара Ференца в одно мгновение снова превратилась в сторбленную старуху. Стемнело, над равниной завывали ветры. Три дня не вставало солнце.

## Женщина

В ту зиму долго не выпадал снег. Близилось Рождество, а на улице была лишь темнота и смерзшиеся комья земли. Из этой темноты и появилась женщина. Она прижимала к груди младенца. Мы не знали откуда она пришла, сколько времени простояла под дверью и почему не постучала.

– Господи! Заходите, вы же совсем замерзли – сказала ей мама.

Женщина не двинулась с места, только подняла глаза на моих родителей и тихо сказала:

– Меня преследуют.

– Женщину? С младенцем? За что?! – спросил папа.

Мама легонько потянула её за руку.

– Заходите скорее.

– Я ничего плохого не сделала – сказала женщина, продолжая стоять на пороге. – Они обещали, что накажут всех, кто будет мне помогать.

– Заходите, не бойтесь.

Женщина была очень красивая. Она сняла странный вышитый золотом светлый плащ, распеленала младенца, подмыла его и покормила грудью. Ребенок улыбался нам мудрой беззубой улыбкой.

– Мы только до Рождества. Потом нам будет куда пойти – сказала женщина.

Мама посмотрела на нас.

– Дети, никому не говорите, что тётя у нас! Вы поняли?

– Бояться, конечно, нечего... – добавил отец – Здесь в Рацпацэгреше нас никто не выдаст. Но мало ли что...

Я знал, о ком мы все тогда подумали – о Дури Бедерике. Он, конечно, не жил в Рацпацэгреше, но постоянно ошивался в округе. Работал кем-то вроде лесника или полевого сторожа. Отстреливал заблудившихся у границы собак, доводил до слез детей и пугал разносивших обеды женщин.

Да, его стоило бояться!

А ведь с тех пор, как появились мать с ребенком, он постоянно вертелся вокруг нас, а когда солдаты прочитали объявление, обнаглел окончательно.

Они приехали на вездеходе и сигналили до тех пор, пока все не вышли из домов. Один из солдат встал и проорал: разыскивается женщина с младенцем. Все, кто ее увидит обязаны доложить. Нарушившего приказ пристрелят на месте, а дом сравниют с землей.

Мы обмерли от ужаса: будут ли обыскивать? Нет, повернули назад. Только Дури Бедерик остался, да еще и двинулся к нашему дому.

– Если хотите, я сейчас уйду – сказала женщина папе – Через сад, никто не заметит.

– Куда же вы пойдете! Через пять дней Рождество, нужно продержаться. Прячьтесь!

Дури Бедерик сидел до вечера. Прислушивался: ждал, когда заплачет ребенок.

Ну и на здоровье! Ведь пока он устраивался на нашей кухне, под покровом хозяйственных пристроек в сад прокрался Янош Йошвай. Он стоял за окном и махал матери рукой, пока та не заметила.

– Что случилось, Янош?

– Да я из-за женщины с ребенком...

– Какой женщины? – вздрогнула мама.

– Не бойтесь, уже весь посёлок знает. Пока он тут, пускай они лучше у нас побудут. Выведем их через сад, никто не заметит.

Так мать и сын попали к семье Йошвай, а когда туда явился Дури Бедерик, их перевели в Нижний Дом, потом в Верхний, потом снова в Средний и вот в Рацпацэгреше уже не осталось ни одной семьи, которая хоть на полчаса не спрятала бы беглецов.

Пришло Рождество, девочки украсили ёлку орехами, завернутыми в фольгу и нанизанной на нитки воздушной кукурузой. Женщина с малышом снова были у нас.

– Когда стемнеет меня будут ждать под горой Орегхедь в Палфе – сказала она.

Папа запряг лошадей, и на всякий случай повез женщину с сыном к условленному месту через леса над Шио. Он даже посмеивался над собственной осторожностью: ну кто станет шататься по этим заброшенным местам в рождественскую ночь? Но нашелся такой человек. Из-за деревьев им навстречу вышел Дури Бедерик.

– Стоять! Кого везете?

Папа не ответил, стегнул лошадей, телега дернулась вперед, но поздно – Дури Бедерик успел ухватить краешек диковинного плаща женщины. Плащ остался у него в руках, и он победно им потряхивал.

Галопом добрались до подножия горы Орегхедь. Там ждала телега. Женщина в спешке попрощалась, пересела, и легкая крестьянская повозка, позвякивая, скрылась в ночи.

Папа повернул к дому. Теперь уже он ехал по главной дороге и когда добрался до горы Папхедь, из кустов раздался жуткий смех. Папа знал, кто это смеётся и с тяжелым сердцем смотрел, как в морозной темноте ветер гонит по степи перекати-поле.

На следующий день уже на заре Рацпацэгреш переполняла тревога: идут! Не знаю, кто принес новость, но она тут же разошлась по всему посёлку: они и чудовище на гусеницах привезли, будут сносить дома. Дури Бедерик тоже там, во главе процессии, перед танком, потрясает уликой – сине-золотым плащом.

Сначала надеялись, что слухи преувеличены, но, когда первые лучи солнца прогнали туман, мы увидели внизу целое войско, шествующее по дороге из Лёринца: с оружием, с чудовищем на гусеницах... Нам конец, конец тебе, Рацпацэгреш! Думали о победе, женщины уже начали вязать узлы, но самые зоркие сходили к амбару: повсюду как колючки на проволоке были расставлены патрули, от окружной дороги через Папхедь и до фермы Витез – везде стояли солдаты.

Кем же были эта женщина и ребенок, если их так страстно ненавидели?

Женщины уронили узлы, мы отступили сгрудились в кучу, как пасущееся стадо и в тревоге ждали своей участи под Большой Шелковицей. Чудовище уже с грохотом продвигалось к Кишшароку, мы слышали его неумолимый голос и видели, как сверкал синий плащ в руке Дури Бедерика. И вдруг Пишта Кешеру закричал:

– Эй, смотрите-ка!

Очертания домов стали размытыми, как будто на них опустился туман, но все остальное было видно четко: и ель на вер-

шине холма Эржебет и башня в Лёринце. Дома же продолжали расплываться, подрагивая, растворяясь как мираж над дорогой в жаркий день. «Моя рука, гляди-гляди!» – снова закричал кто-то. Действительно наши тела тоже словно испарялись, руки становились прозрачными, одежда блекла, с минуту я видел холмы сквозь тела людей, стоящих рядом, потом остались только холмы и деревья. Дома и люди исчезли как дым, на месте Рацпацэгреша осталась лишь пустая степь. Но мы все еще здесь: чувствую руку мамы в своей, а за спиной сопит сестра.

Войско пораженно стоит посреди пустоты, ошалевший Дури Бедерик хватается за голову: они были здесь, они здесь, должны быть здесь! Из бронированного чудовища выходит какой-то офицер, Дури Бедерик суетливо машет руками, развевается по ветру сине-золотой плащ, а офицер поднимает дубинку и бьёт его по плечу, потом по лицу. Тут кто-то из наших громко смеётся, папа на него шикает, но люди не могут сдержать злорадства, кругом шипят, ворчат и шепчут: так тебе! Так тебе и надо, негодяй! Наши тоже начинают отвешивать тумачи. Дури Бедерик скулит и бежит по кругу, впору и пожалеть его.

Солдаты выстраиваются в шеренги, разворачивают свое чудовище на гусеницах и отправляются дальше по своим делам, а Дури Бедерик валяется на земле словно куча тряпья. Когда солдаты исчезают за горизонтом, он встает, с ненавистью грозит кулаками небу, солдатам, нам. А мы, все еще невидимые раздражаемся освобожденным смехом. Дури Бедерик в испуге убегает, все дальше и дальше, пока наконец не становится размером с гонимое ветром перекати-поле.

Подрагивая, возвращаются на свои места дома, проявляются наши руки, лица – ура, вот и мы, счастливые жители Рацпацэгреша! И как будто только и ждал этого момента, как благословение, с неба крупными хлопьями повалил снег.

*Перевод Елизаветы Сочивко*

ЕЛИЗАВЕТА СОЧИВКО  
КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА  
к рассказам Эрвина Лазара  
Эрвин Лазар: *Фарфоровая кукла*

Эрвин Лазар родился 5 мая 1936 года в Будапеште, но все детство прожил в области Толна, в поселке Алшо Рацэгрешпушта, территория которого сейчас стала частью города Шарсентлёринц. Именно эта местность и ее культура определили основные мотивы его творчества. Писатель больше известен своими произведениями для детей, однако с литературоведческой точки зрения интересны и тексты, написанные для взрослых, в первую очередь рассказы из сборника «Звездное селение».

Географические названия в сборнике – это в основном реальные наименования: крупные города области Толна – Шарсентлёринц (Лёринц), Надьдарог, Палфа, Цецель, горы Папхедь и Орегхедь, канал Шио. Однако название поселка, где происходит действие отчасти фиктивно: вместо Рацэгреша посёлок становится «Рацпацэгрешем». Уже само это название метафорически отражает характерное для текстов Э. Лазара постоянное колебание между реалистическим и сверхъестественным, свойственное произведениям магического реализма. «Почти реальное» поселение, которое легко локализовать на местности и название которого отличается от названий существующих городов лишь на один слог, становится той особой закрытой территорией, где чудесное представляется таким же естественным как законы природы. Жители Рацпацэгреша могут стать невидимыми или превратиться в цветы, и это настолько же повседневное событие, как то, что пошел снег или дождь. Интересно, что название созвучно реальным названиям, но не логично. Рацпацэгреш – это, к примеру, не «северный» или «южный» Рацэгреш, слог «пац» ничего не значит, и такое образования топонима не совсем типично для венгерского языка.

Еще А. Карпентьер, один из первых литературных критиков, сделавших попытку описать дискурс магического реализма, объяснял его волшебной, магической реальностью пространства в котором создаются тексты и/или разворачивается сюжет<sup>16</sup> (в случае Карпентьера речь шла о Латинской Америке). Конечно, несколько наивным сейчас представляется его восприятие Латинской Америки как «чудесной», но все же двойственность дискурса магического реализма очень часто опирается именно на двойственность культурных контекстов, на одновременное присутствие, архаического и реалистического мышления, свойственное некоторым сообществам. Очень сильна эта черта в творчестве Э. Лазара: он постоянно подчеркивает особое мышление и особый язык жителей поселка (таково, к примеру, подчеркивание особого произношения, диалекта: «в Рацпацэгреше слова живут по-другому»). В рассказе «Фарфоровая кукла» чудо, казалось бы, обещанное чужаком Чурманди, на самом деле происходит лишь до тех пор, пока в него верят жители. При этом интересно, что в отличие от произведений «крестьянской прозы» здесь не идет речи о конкретных приметах и суевериях, не романтизируется «народная мудрость», не имитируется сказовой слог, как это происходит, например, в произведениях С. Клычкова<sup>17</sup>. В некоторой степени сборник «Звездное селение» схож с «Прощанием с Матерой» В. Распутина, однако диалектизм языка здесь не так явен, кроме того, основная у Распутина тема противостояния народной и современной культуры у Лазара почти не поднимается. Вместо этого конфликт возникает чаще всего за счет противостояния поселка жестокости тоталитарной власти, постоянно вмешивающейся в размеренную жизнь Рацпацэгреша.

На примере произведений Э. Лазара можно показать, что для магического реализма характерна не только постоянная амбивалентность категорий «естественное-сверхъестественное», но и

<sup>16</sup> Карпентьер А. *Царство Земное*. М. Амфора, 2000.

<sup>17</sup> См. к примеру: Клычков С. *Чертухинский балакирь*. М. Советский писатель, 1988.

одновременное присутствие в тексте других оппозиций, к примеру оппозиции жизни и смерти, цикличного и линейного времени и т.д.

Обратимся к рассказу «Фарфоровая кукла». Сверхъестественное здесь подается, как часть реалистического описания: Чурманди заявляет, что может воскресить детей, жители верят ему и действительно происходит чудо, на выкопанных из земли телах не обнаруживается следов разложения. Реалистический контекст также присутствует в тексте: Дюла Хубер выражает сомнения в возможности воскрешения детей («Розочка уже пять лет, как мертва»), однако ему оказывается достаточно фразы «Для нас нет ничего невозможного», чтобы оставить рациональные аргументы. Далее никто больше не говорит, что воскрешение невозможно, лишь Андраш Пригер отмечает, что не стоит тревожить покойников в их могилах. Таким образом, логичное утверждение «воскрешение невозможно» заменяется на «воскрешение не нужно, пусть все идёт своим чередом». С другой стороны, Чурманди, утверждающий реальность чуда растерян, когда Иштван Сотёри рассказывает ему о другом чудесном событии – о том, что его сын превратился в птицу. Таким образом, в тексте постоянно присутствует элемент «читательского колебания», чудо возможно и невозможно и пространство текста построено так, что обе точки зрения оспариваются и поддерживаются одновременно.

Подобная амбивалентность возникает и в оппозиции жизни и смерти. Тема воскрешения детей связана здесь с описанием идеологической тоталитарной власти. Интересно, что схожие эпизоды можно найти у А. Платонова (попытка воскрешения мальчика в Чевенгуре)<sup>18</sup> и у венгерского писателя А. Бодора (воскрешение детей в книге «Птицы Верховины»)<sup>19</sup>. Пожалуй, более точным будет назвать этот мотив «неудачным воскрешением детей». Безусловно такие эпизоды стоит рассматривать в

<sup>18</sup> Платонов А. Чевенгур. Платонов А. *Чевенгур*. Котлован. М. Время, 2011.311

<sup>19</sup> Bodor Á. *Verhovina madarai*. Budapest, Magvető, 2011. 59.

контексте философского осмысления страдания детей у Достоевского. В магическом реализме трагическая абсурдность страдания и смерти ребенка не описывается эксплицитно, однако «безумная надежда» героев и невозможность воскрешения становятся новым средством выражения горя и ощущения бессмысленности происходящего, связанных со страданиями и смертью. Чурманди предстает здесь, как представитель некоей идеологии, близкой к тоталитарному мифу. Он верит и убеждает других, что он строитель нового мира, а значит старый мир может быть им полностью изменен и исправлен. Со стороны Чурманди попытка воскрешения – это вера во всемогущество тоталитарной власти, к которой он принадлежит: он не верит в другие чудеса (эпизод с птицей), но верит в то, что ему подчиняются законы нового мира. Со стороны жителей поселка же вера в воскрешение вписывается в модель веры в чудеса вообще. В архаическом мировосприятии жизнь и смерть – это части одного цикла: как убывает и рождается заново луна, как умирает и воскресает природа, так и человек не умирает «окончательно», а переходит в другой мир или превращается во что-то другое.<sup>20</sup> Если ребенок может превратиться в птицу, возможно и ушедших из-за болезни или несчастного случая детей можно вернуть. В рассказе Э. Лазара большей силой обладает архаическое восприятие, сила веры жителей заставляет тела умерших выглядеть так, как будто они вернулись к жизни. Однако ни мифологическое восприятие, ни вера в новый мир и прогресс не воскрешают умерших, и, таким образом за счет этой «безумной надежды», за счет того, что читатель увидел перед собой пухлые ручки Розочки, с уютно розовеющими ногтями, Ферко Часара, который казалось просто спал и никогда не тонул в канале Шио, и любимую всеми Эржи Хольтян с её злополучным волосом на подбородке, трагический контекст приобретают большую выразительную силу. Эксплицитное описание проблемы «слезинки ребенка» прошло в культуре столько этапов, что,

<sup>20</sup> См. к примеру: Фрейденберг О. *Миф и литература древности*. М., Восточная литература, 1998. 36–37.

возможно, амбивалентное описание трагедии оставляет читателю больше свободы восприятия и таким образом привносит новые возможности осмысления.

Интересна здесь попытка воскресить старушку Эржи Хольтян. Абсурдность детской смерти в архаической логике может объясняться и тем, что ребенок не прожил отмерянный срок, не прошёл все предназначенные ему стадии жизни. Эта логика возникает в тексте, когда о семидесятилетней Эржи Хольтян говорят, что она могли бы еще пожить, потому что «она была слишком молода, чтобы умирать», то есть, имеет смысл попробовать отобрать ее у смерти, так как смерть пришла слишком рано. Этот архаический контекст тут же уравнивается личностным восприятием смерти: «она могла бы еще пожить, прежде всего потому, что все её очень любили».

Рассказ «Женщина» больше напоминает рождественскую сказку, за счет явной аллюзии на спасающихся от преследования Деву Марию и младенца Христа. С другой стороны, равноправно сказочному описанию в тексте присутствует и исторический контекст, прежде всего ассоциации с националистическими преследованиями времен Второй мировой войны: за женщиной с ребенком гонятся и тем, кто их попытается спрятать угрожают смертной казнью.

Двойственность сверхъестественного описания (мифологического мировосприятия) и трагического контекста характерна и для основных, «классических» произведений магического реализма: гражданские войны и казнь работников компании «Юнайтед Фрутс» в романе «Сто лет одиночества» Г.Г. Маркеса, колониальная власть и жестокое обращение с местными жителями в романе «Дом призраков» И. Альенде, жестокое обращение с женщинами в романе «Ночи в цирке» А. Картер и т.д.

В рассказах Э. Лазара роль трагического нельзя назвать основополагающей, Рацпацэгреш предстает в сборнике скорее идиллическим местом, ускользающим от жестокости и ошибок внешнего мира. Даже смерть, осмысляемая как абсолютная трагедия у Платонова здесь предстает как часть естественного тече-

ния жизни. Мертвецы могли бы воскреснуть – ведь когда жители верили в воскресение, тела были неподвластны умиранию. Однако им не стоило воскресать, потому что мертвецов не нужно тревожить и насильно возвращать в этот мир, что подтверждает правоту одного из главных героев сборника, Андраша Пригера и отрицает точку зрения пришедшего «облагодетельствовать» жителей представителя тоталитарной власти Чурманди.

Рацпацэгреш Э. Лазара – это хрупкий и трогательный мир, противостоящий жестоким реалиям двадцатого века и, пожалуй, именно его ненавязчивая сказочность и юмор, свойственный описаниям героев кажутся особенно ценной и необычной в сравнении с другими произведениями магического реализма.

Перевод рассказов Эрвина Лазара.

Если говорить о неспецифических проблемах, характерных почти для любого перевода с венгерского языка, то конечно же стоит упомянуть употребление личных местоимений: в венгерском тексте при глаголе личное местоимение обычно опускается, а в русском глагол без местоимения может выглядеть неестественно. Таким образом, в черновом переводе местоимения могут часто повторяться и переводчик сознательно заменяет их, к примеру, существительным, деепричастной конструкцией или указательным субстантивированным местоимением «тот».

Кроме того, трудность могут представлять и лично-притяжательные местоимения, которые ставятся автоматически за счет присутствия лично-притяжательного суффикса в венгерском языке.

Опущение местоимений, агглютинация и широко используемое словосложение в венгерском языке также представляет проблему для переводчика, так как краткие конструкции в прямом переводе чаще всего становятся тяжелыми и трудными для восприятия, в работе над такими конструкциями переводчик каждый раз ищет новое, уникальное решение. Стоит отметить, что особенно трудны такие конструкции в переводе, где важен ритм текста, причем не только в поэтических, но и в прозаических текстах. В тексте Э. Лазара, однако я не столкнулась с такой явной ритмизацией.

Что касается специфических проблем, стоит отметить диалект, на котором говорят жители Рацпацэгреша: важно, что на самом деле диалектность характерна не для их речи вообще, а лишь для тех моментов, когда нарратор специально отмечает, как они произнесли некоторые слова. Для того, чтобы передать это произношение, отчасти я вдохновлялась «Прощанием с Матёрой», так как Матёра – тоже фиктивный топоним и язык героев повести обладает характерным «деревенским» стилем, но при этом остаётся понятным, в отличие от многих российских диалектов.

Для всего сборника «Звездное селение» характерно особенное внимание к растениям области Толна. К примеру, перекасти-поле в рассказе «женщина» по-венгерски звучит как ballangkóró, которое в большом энциклопедическом словаре Паллаша обозначено как синоним более частого ballangófü, последнее растение, однако, относится к типу salicórnia (солерос), тогда как ballangkóró это sálsola (солянка). Именно солянка чаще упоминается как «перекасти-поле». При этом мне важно было лишь выяснить, что названное растение может быть перекасти-полем и я правильно поняла исходный текст: в рассказе я не воспользовалась ботаническим названием, так как важно было само описание: ветер гонит перекасти-поле по морозной степи. «Солянка» только усложнила бы этот образ, тем более что в русском языке скорее возникнет ассоциация с названием супа.

Текст также изобилует географическими названиями, которые представляются трудными для восприятия русскоязычными читателями. Единственным выходом мне представляется комментарий, где перечисляются основные для текста топонимы. Фиктивный топоним «Рацпацэгреш» – это словесная игра в венгерском, так как существует название «Рацэгреш», однако для иноязычного читателя это название может превратиться в набор труднопроизносимых звуков. Однако так как речь идет о реальной области в Венгрии, кажется несправедливым менять названия, лишая читателя возможности узнать больше об этой местности, с такой любовью описанной автором, или, скажем, приехать туда и увидеть все своими глазами.

Как мне кажется, печальный и трогательный рассказ «Фарфоровая кукла» венгерский читатель может воспринять гораздо острее, так как ему хорошо знакомы вполне стандартные для Венгрии имена героев (особенно важны здесь имена детей). Возможно, моё мнение субъективно, но если сравнить: «Тут взрыв был, бомба какая-то, что ли, так моя жена думает он там погиб. А ведь наш маленький Пиштика просто превратился в птицу, это всем известно». Или: «Тут взрыв был, бомба какая-то, что ли, так моя жена думает он там погиб. А ведь наш маленький Степочка просто превратился в птицу, это всем известно» – мне кажется, что последний вариант вызовет у читателя больше сочувствия, так как ему будет легче представить ситуацию и идентифицироваться с ней. С другой стороны, перевод имен (так же, как и географических названий, и даже слишком узнаваемый перевод диалектов) часто влечет за собой «перенос» действия на территорию страны, для которой характерны эти имена или эти узнаваемые диалектные конструкции. Для меня решением проблемы здесь стало изменение звучания только одного имени «Розочка». С одной стороны, это имя можно представить в языках и культурах самых разных стран, но при этом оно не выглядит слишком экзотическим и в русском языке, с другой – вариант из венгерского текста «Рожика» представляется мне неприемлемым, так как ассоциируется со словами «рожки» и «рожа».

Наконец трудность представляют авторские конструкции и метафоры, к примеру «падающее на лоб готовое взлететь птичье крыло волос». В работе с такими описаниями кажется важным не менять образ, т.е. не ограничивать круг возможных читательских интерпретаций. К примеру, должна сохраниться возможность проанализировать связь между «птичим крылом волос» и тем, как Чурманди поправляет волосы, «как будто от чего-то отмахиваясь», когда Иштван Сотёри рассказывает ему, что их сын превратился в птицу. Лично мне кажется, что эта связь не несет глубокого смысла, но как переводчик я не вправе удалять ее из текста. Представляется важным подобный анализ авторских образов: переводчик, разумеется, не может знать о всех скрытых



закономерностях текста, но, как мне кажется, все переводчики с особым вниманием относятся к нестандартным, авторским метафорам. При этом в русском языке «падающее и готовое взлететь крыло» вместе звучат абсурдно из-за слишком конкретного описания, включающего в себя два противоположных движения. Здесь, напротив, перевод не может быть близким к тексту, поэтому я заменила «падающее» и остановилась на варианте «лоб покрывало готовое взлететь птичье крыло волос».

Последняя проблема, над которой я работала в связи с переводом текстов Э. Лазара не отразилась в публикуемых переводах – это название самого сборника «Csillagmajor». Наиболее точным из найденных переводов слова «major» мне представляется «господский двор»<sup>21</sup>: территория, где раньше размещались хозяйственные постройки и жили обслуживающие поместье крестьяне. В современном русском языке, в отличие от венгерского, эта устаревшая реалия не нашла отражения, поэтому я заменила major на «селение», хотя этот перевод не совсем точен. К примеру, в рассказе «Фарфоровая кукла» упоминаются амбары и дома для прислуги, которые скорее всего были там не потому, что у жителей Рацпацегреша было много прислуги, а потому, что речь идет о господском дворе, частью которого были пристройки для слуг. Однако жители Рацпацегреша уже имеют свое хозяйство, а не служат помещику, поэтому такая неточность представляется меньшим злом, чем перевод названия как «Звездный господский двор».

<sup>21</sup> Павлов-Сильванский, Н. П. *Феодализм в России. Часть 2*. М. Юрайт. 2017. 64

Кристиан Гречо

КРАСАВЧИК

собрание фактических показаний из серии предполагаемых преступлений, совершенных молодыми людьми из Алфёлда, которые приобрели дурную славу и известны как «Электрические поджигатели»

1

Пожалуй, имею полное право сказать, что не следовало выставить Красавчика перед всей деревней, ведь, давайте будем честными, на его счету одна-две проказы, по-моему (думаю, все со мной согласятся), от такого-то издевательства духом бы пал кто угодно, а не только этот горделивый, чванливый паренек, признаюсь, задиристый был, нос высоко подымал, да и все равно, что это за дела такие, если любой грязный деревенский негодяй потом может целый день плевать ему в лицо.

Раньше, бывало, приходилось банками заготавливать варенье, если уж не хотелось всю сливу пускать на сусло. Мы тоже сусло варили, но не подумайте, что мы пьянчуги какие-нибудь, наступают праздники: Рождество, Пасха, собирается вся родня, выпивки надо много, и какого рожна, вы простите меня за такие формулировки, зачем нам покупать за большие деньги, когда вот же, в саду и так полно из чего варить.

А на Красавчика, помнится, я была сердита.

Он приехал из Закарпатья со своим приятелем Дару, который (честно сказать) нужен тут как козе баян, а чтобы с ним вместе находится – боже упаси! Или подпустить эту бестолочь к скоту! В тот день они крались от овчарни, но вообще навредить могли

и раньше: и овцам, и свиньям, и мелкому скоту, да только ни черта в них не разбирались, так что им хоть бы хны, это я вам совершенно точно говорю. Прикорнул как-то мой муж на минутку, а то и меньше, а они хватъ и стащили печку, да так тихо, что муж даже ничего не заметил. Животные звуку не подали, собака ухом не повела, чтоб их! Вот честно, понятия не имею, на кой черт им сдался эта дырявая, засаленная печка, она еще моей золовке принадлежала, держалась на соплях, да на честном слове, минуты не прошло, как они ее стащили, думаю, муж недолго спал, потому что слива не подгорела, и соседке я на следующий день то же самое сказала, мол, пойми, Кларики, сливу и котел они оставили! Бестолочи! Сняли с горячей печкой, которую муж, как полоумный, весь день топил.

Такое дело было, но ничего серьезного. Не понимаю, зачем вообще понадобилось выставлять их перед соляным складом, чтобы люди, возвращаясь после мессы, над ними издевались. Быть того не может, чтоб пожар в башне был делом их рук, ведь не бесовское они отродье. Поговаривают, они куда-то загатачили девицу Карпати, чтоб заставить ее к себе в штаны залезть, потом, правда, отпустили. Что уж там, сама этого хотела, руки у нее чесались раздеться, мне тут сказали, что заманили ее туда черешней, больно хотелось ей покушать. Чепуха! Болт ей нужен был промеж ног, мать вашу. Между прочим, от тетки Бабы слышала, что в день пожара в башне пришли они откуда-то со стороны Контры, долго перешептывались, стоя у дома доктора Левендовича, кажись, в тот день Дару и отравил собаку доктора. Бестолочь! Не знаю я, честное слово, сколько докуда шагов, что там за провод и от чего загорелась башня. Муж пытался объяснить, но я не очень поняла, чего он там говорил. Потому что тогда больше к гордым, барским песням прислушивалась, радио у меня работает из рук вон плохо, но вот «Кошшут-Петёфи» как раз еще ничего, иной раз дурачусь с ним, пока не зазвонит колокол...

## 2

Из фактического положения дел очевидно, вместе с тем этот факт максимально подтверждается имеющимися у нас в распоряжении доказательствами, что подозреваемые Иштван К. и Шандор Д. являются предполагаемыми преступниками по делу о пожаре в церкви. На ваш вопрос отвечаю подтверждением, что мы совершенно точно можем говорить о предполагаемом умышленном поджоге. Огромную помощь в следствии мне оказал собственник церкви Вангел, которому я хочу выразить благодарность, а также привести в пример всем жителям, любящим свою деревню. Нам следует как можно скорее избавиться от противоборствующих сил, работа которых, и это можно смело заявить, еще не закончена. Но даю обещание, деревня избавится от всякого рода грязи, я положу конец деятельности воров, поджигателей, насильников, так как нельзя терпеть, чтобы своим оружием они наносили удар по спокойной жизни наших односельчан, не говоря уже о том, что такое поведение является дурным примером для молодежи.

Полиции удалось установить, что совершенные преступления подпадают под две категории. Перечисляю их: умышленный поджог католической церкви, а также изнасилование Илонки К. По моему приказу Иштван К. и Шандор Д. задержаны до начала дальнейшего следствия вопреки требованию закона. Далее, мною не были засвидетельствованы иные проявления самовольства, сведений о таковых до совершения данного преступления не имею.

## 3

Люблю возвращаться домой из церкви, зная, что с Богом на этой неделе покончено. Переступаю самое волшебное место во всей церкви – ее порог, в легких еще остались ароматы, витающие внутри церкви, но вот они начинают рассеиваться. А кто мне

скажет, что там внутри? Как обычно, скажете вы. Все как всегда. Однако пожар в церкви шепчет: чтобы как дом божий, так и творение рук человеческих стояли вечно, их постоянно надо латать, как и много другое, а прежде всего, слабое тело и грешную душу. Но на нашем веку, господа, такой церковь и останется. Многие презирают такие мысли, но что там дальше будет происходить, я вам так скажу, меня ни капельки не интересует. А чего там будет делать ваш Бог с серпом<sup>22</sup>: восстанет или еще чего, появится ли еще один такое юнец с зараженной душой, который будет зазывать толпы голодных девушек в стадо, чтобы сделать потом с ними то, о чем все уже с подросткового возраста мечтают – мне как-то все равно.

Потому что в голову ведь мы ему не залезем! А там бурлит самопожирательный поток преступных, дьявольских мыслей, которые свойственны скорее женской душе. Речь о том, что Красавчик и Дару прислушались к этим неудовлетворенным мыслям, и распорядились так, как и следовало. Да, я тоже плевал им в лицо. На углу церкви сердце прямо готово было из груди выскочить, прям до глотки подскочило, во рту начала скапливаться слюна, как обычно на запах лимона, у соляного склада слюны уже потекли по подбородку, хотите, презирайте меня, хотите нет, но я с превеликим удовольствием харкнул в лицо Красавчику. Меня охватила радость, наполненная ароматами, запахами и вкусами, которые внезапно нахлынули на меня, звуки раскатистого смеха коснулись моих ушей, воздух был гладким, шелковым, как по вечерам, Красавчик даже не шевельнулся, ни одна мышца на лице не дрогнула, он ничего не видел, не слышал, но и от гнева не горел. Взгляд у него был пустой, боже правый, словно в него сам бог вселился.

Признаюсь, радость я единственно получаю от чужих поражений. В них нахожу утешение и всякое такое, словом, все. Этого у меня не отнять: на лбу читается за жизнь скопившаяся боль.

<sup>22</sup> Бог с серпом – известная небольшая скульптура, найденная в результате раскопок на территории Южного Алфёлда

Жаль, что жадный, как поросенок, дорвавшийся до материнского молока, чем больше бью, тем больше мне надо, чем больше бью, тем больше сдает меня тщеславная неудовлетворённость. Единственное, что могу вытерпеть, это когда, почти вырвав все пейсы, поднимаю ребенка, девочек тоже, всех без исключения, в такие моменты чувствую, как с головы до ног меня окатывает волна возбуждения, громкий удар сердца сменяется тихим, потом опять громкий, тихий, и опять, и опять, замираю, как куча песка, выражение невинности застывает у меня на лице, в мыслях промелькнет озорник, может, пощадить, так уж и быть, сегодня не обижу, хотя нет, сегодня не больно, и тогда с чудовищной силой бью. Сопливая голова с тупым звуком отскакивает от поверхности стола. Неплохо, неплохо, но мало, трус я, трусишка, честно говоря.

Мне бы никогда в жизни не пришла в голову идея подбить священника, чтобы тот поджег церковь. «Как?» – спросил бы я. Сама идея привела бы меня в негодование, я бы не понял, задумался бы, как над арифметической задачей. Позор какой! Но что это было, позвольте! Здесь требуется пояснение, которое любому школьнику будет понятно. Автоматику запретили, звонарку убрали, чтоб не мешала, больше помочь некому было, вот священник и пошёл сам включать колокол, который, словно пустая душа, издал один гулкий звук, и тут же заготовленная в башне солома загорелась. А гул повис в деревенском воздухе как некое одобрение происходящему. То был я: Красавчик, в котором больше никто не живет, который пуст, как одинокий колокольный звон, которого простил бог, и оставили терзания, когда-то живущие в нем.

Я стоял напротив Красавчика и улыбался, так как думал, что, наконец, поймал его, и веруя в это, стал жертвой провала. Слюны стекали у него по лицу, он был похож на потекшее отражение в зеркале. Знаю, незачем бежать, если убежать невозможно. Незачем бежать, если нет ног, почвы, улицы, окаймляющих ее перистых облаков. По крайней мере, если их нет, не надо. Что ж Красавчик? Стоял, лицо словно окаменело, как у змеи, на нем больше

не было ни печали, ни радости, ни желания, ни любопытства. Красавчик! А ему хоть бы что, ни горячо, ни холодно, просто никак! Ну и что из этого вышло, господа, что?

#### 4

Да нет же, говорю вам! Маленькая еще Илонка, сама не понимает, что говорит, да поймите же вы, не осознает она, что произошло. Что там с ней делали, доченька моя, невинная моя, не понимает! Послушайте же, говорит она мне, мол, мамочка, больно было. Ах, Илонка моя, говорю ей, иди к маме, я тебя обниму. Присмотрели ее себе, грязные свиньи, я им глаза выколю, обоим! Присмотрели, она ведь красивая, в теле, наблюдала я, как она раздевается, говорила, мол, Илонка, мать честная, ну и красивая же ты девица. А тут она мне, мол, мамочка, было очень больно. Жестокие, грязные свиньи, затащили ее в стадо, чтоб никто не слышал, как бедняжка кричит. А она мне говорит, мол, мамочка, зря кричала, мы так далеко были, что никто и не мог услышать. Пусть только на глаза попадет, яйца ему оторву, пожалеет у меня, что мужиком родился, клянусь, подавится пусть своим хреном! Верите, говорит мне, мол, мамочка, ох как больно было!

#### 5

... в общем, сказала я золовке, мол, дорогая, следить надо за печкой. Честно сказать? Чего мне теперь, из-за груди старого металлолома скандал устраивать? Надо оно мне! А потом иду я, значит, в воскресенье домой из церкви, и поверьте мне уж на слово, вижу, как наше самоуправление выставило там Красавчика и Дару. Дьявольское отродье, боже правый, и разве это не чересчур? А знаете, что самое неприятное? Мать честная! Я от удивления на землю рухнула, когда увидела, что первым к ним подошел учитель. Школу окончил, серьезный человек, а он как

харкнет в лицо Красавчику, нехило так, вот правда, в страшном сне такого представить себе не могла. Сколько ж слюны потекло! А священник-то одобрил, так еще сказал, мол, сон видел, как они его унижали, подло с ним себя вели, не прекращал повторять, как же это было гнусно. Что Красавчик ржал как конь, а слюна все текла! И что бог с серпом отрубил священнику голову. Даже и не знаю, что сказать. И мне, бывало, снились плохие сны, когда казалось, что муж к Кларике навевается, что он желанный гость у нее под юбкой. Тогда я ворочалась, билась под периной, словно в предсмертных судорогах, просыпалась, чувствуя себя загнанным зверем. Вскакивала с кровати, приносила воды, чтобы умыться, протирала глаза, смывая остатки грязи и плохих сновидений. Я не спешила оплевать Кларикку, которая, допустим, в тот момент склонилась над печкой, не плевала в ее гуляш с фасолью, приличия-то никто не отменял, а я из приличной семье. Впрочем, для этого ума палату иметь не надо.

Сложно сказать, что было нелепей. Священник так выпучился на Красавчика! В глазах у него читался страх, клянусь, прилип к нему как банный лист, да еще так бестолково вертелся под ногами. Я спросила, мол, зачем с ними так поступили, на что священник весь сторбился, начать причитать, как слюнтяй какой-то. Люди смотрели, что с ним такое, что за беда приключилась, а учитель задыхался, как будто спешил с любовного свидания. И тут, знаете, что произошло? Священник как рванет да и помчится в сторону церкви. Народ стоял как вкопанный, не двигаясь, как не знаю кто, никто даже не пикнул, Кларика голоса не подала, никто ничего, совершенно ничегошеньки. А учитель за ним, мол, стой, остановись, баран, кричит такой, что священник козел несчастный. А священник взял да и повернул к школе, учитель на углу, орет, мол, стой ты, стой, но священник деру дал так, что учитель едва за ним попевал. И не спрашивайте даже, что там дальше произошло, я за ними не пошла. Нужны мне это полоумные! Бестолочи!

Только пообещайте, что мое имя нигде фигурировать не будет. Обещаете? Про себя тоже ни слова не скажу. Ни слова, ясно? Если муж узнает или даже просто заподозрит, пощадите, прошу, если он что-то пронюхает, на куски же порвет. Он такой! Ни Бога не боится, ни людей не стыдится! Я вам по секрету скажу, что в стадо не только девчонка Карпати ходила. Прямо в жар бросает, посмотрите, да с меня холодный пот ручьями стекает, только вспомню те украдкой проведенные часы. Но поймите меня правильно, не то чтобы я об этом много ностальгирую, скорее всем сердцем искренне сожалею о сделанном. Я каюсь, исповедовалась перед Всевышним, знаю, что он меня понял, ведь Дьявол тоже сын божий, что здесь поделаешь, хороший родитель всегда должен прощать, по себе знаю. Поверьте, больше они мне голову не вскружат, ни за что! Но Бог ведь тоже знает, что женщина и в плохом хочет видеть хорошее, использовать, наконец, свою иссохшую, затянувшуюся паутиной дыру, простите, что так выражаюсь, потому что женщина знает, что делает. А как ей не знать! Но вы представить себе не можете, на что она способна, что может дать эта старая, больная плоть после стольких лет. Красавчик такие вещи вытворяет, да мужчины обычного о таком даже не догадываются, точно вам говорю. Тело размякает, словно вата, женщины в его руках ни на секунду не задумываются: «Я ли это?» Не то чтобы их покидает рассудок, хотя не без этого, но как бы сказать, он как будто становится однородным: ни такой, ни сякой. У Красавчика тысяча рук и ртов, во все щели залезет. Женщины во все горло кричат, не отрицаю, потому что сама вся горела, только удовлетворение могло остудить, и меня тоже, поверьте, меня тоже, я думала, что умру от удовольствия. Не могу вам это приличными словами передать. На следующий день, через неделю ходили бабы искать Красавчика и Дару, потому что знали, что есть такое заманчивое, солнечное, мягкое, ароматное местечко, где женские души находят утешение. Ах, прости господи, что в горе мы на Него уповаем.

Как бы до священника не дошли слухи, что я тут всякое про него говорю, но раз уж вы спросили, отвечу. В этом приходе я уже двадцать лет, всякой чепухи насмотрелась, но никаких упреков с моей стороны, никогда никого не ругала, не поносила. Двадцать лет, круглое число двадцать, кругленькое, большой период, не поспоришь. Я про все тут знаю, пусть это тоже между нами останется, знаю, даже если кто-то тайком газы пускает в приходе, подслушивать, шпионить или подглядывать – боже правый, никогда! Но посудите сами, мы тут вместе, все дела на слуху.

Как же мне было жаль бедного священника, агнец кроткий, за что же его праведной душеньке выпали такие ужасные страдания! Сложно в это поверить, знаю, сложно, видеть надо было собственными глазами, что вытворял бедный священник во сне. Не поймите неправильно, но мне пришлось заглянуть к нему, потому что он так ойкал, так ревел, я и представить себе не могла, что там приключилось. Захожу к нему, я вам про первый раз говорю сейчас, потом, когда это повторялось, я уже не навязывалась, оставляла все, скажем так, на произвол судьбы, женщинам моего положения негоже совать нос в такие дела. В общем, захожу я в первый раз, смотрю, спит. Во сне к нему явился черт! Священник закричал: «Нет, не надо!» Сердце у меня чуть на части не разорвалось. Умолял, просил, а потом из горла раздался страшный хрип, как будто он воду сплюнул. Скрипучий хрип, так обычно хрипят туберкулезные больные, душеньки мои, представляете, как я запаниковала! А он немного успокоился, я начала уж верить, слава Всевышнему, закончилось, но, мать божья, ягодки были только впереди. Священник визжал как стадо козлят, на него напала икота, потом как завопит: «Это я, я это!», ну, он то есть, сам священник. Не хочу никому плохого желать, но ни капельник не жалею, что этих двух отпрысков сатаны отсюда прогнали, пора уже было избавить от них деревню.

С божьей помощью хочу перед вами отчитаться, это нелегко, тяжела моя душа, как старая занавеска, шевелится в ней спесь, и гнилые цветы гнева пускают повсюду свои корни. Мысли мои остры и ядовиты, остры и ядовиты, как шипы и кора акации. Мне стыдно, поэтому ответ мой будет в начале уклончив. Давно, когда я даже дьяконом еще не стал, решил, что священником мне не быть. Куда уж там! Взбесил меня как-то один ограниченный, глубоко верующий (да так верующий, что у него, небось, даже душа сутану носит) старикашка... Началось все с того, что я стоял в садике погребка «Кишхордо», опершись на бочку с вином, и смотрел, как плывут легкие как пушинки облака, тогда я решил, что мне больше подойдет исторический факультет, а этой же ночью решил заехать к шлюхам на проспект Феледьхази. Поддался искушению, бывает такое, забылся, как старый склеротик. Мы скрючились на заднем сидении желтой Лады. И тут мне показалось, что в штанах у меня ничего нет. Сначала исчезает головка, затем весь инструмент иссыхает, как изюм. Никогда не желайте ничего, господа, если не желаете этого всем сердцем. Я пробовал его поднять, двигать бедрами, представлял упругие, мягкие ягодицы, как вхожу в них, кончаю, только нечем было кончать. Мне казалось, что по жилам у меня течет бром, горячий бром, зря я представлял голую задницу, потому что она меня возбуждала, ох как возбуждала. Душа моя скукожилась, как мокрый нейлоновый пакет, а в паху я почувствовал пронзающую боль. Да только не хватало того, что, как бы так выразиться, свидетельствовало о горячем желании. Как же это было жутко! Ведь был же у меня порядочный, пусть и не большой, но порядочный инструмент, был, а теперь нет. Повторяю – нет! В итоге, скрючившись в машине, я ждал, как остальные втаптывают в грязь своими медвежьими лапами тонкие, словно лилии, души, время напоминало дырявое сито, а душа – каменистый цветочный грунт.

К чему это я? Душа моя тяжела, а мысли с тех самых пор, как я уже говорил, грубы и ядовиты, более того, колют как шипы

акации. Едва ли можно сравнить легкую головку мака с головкой бульденежа. Ясно, что одностороннее сопоставление типа «цветок-цветок» просто нелепо. Так ли оно выглядит, как кажется, не знаю. Бог нам в помощь. И все же надо бы мне уходить от этой темы, скажу только, что считаю с подстерегающей, вероломной ловушкой: запах наводит на подозрения – все одно, бог мой, все одно. Это действительно так, заявляю вам. Со временем наши душевные, телесные преграды, препятствия, скажем так, объединяться, и появляются слабые сомнения, старые душевные раны: «разум» стремится принять похожий образ, чтобы следовать примеру своего телесного брата.

Господа, бог с серпом несчетное количество раз отрубал мне голову. Де факто. Поясню детали, которые могут быть вам непонятными, а вы пока угощайтесь, есть ишльские тортики, кофе, чай уже закипает, слышно. Многие меня презирают, да и пусть! Не за что мне уважать множество грязных дел своих, а их, скажу вам, сотни. Нет смысла искать причину. Мой духовный отец пользуется одним замечательным советом, который я и вам настоятельно рекомендую. К чему большие тяготы? С одной стороны, ничего нового в этом нет. С другой, ваши души как палка колбасы, а моя как бревно. И как же все-таки я не отступил перед трудностями? Как? А никак! Будет ещё во снах приходиться запах гнилой груши. Шагая по мягкому песочку, чувствуете, как от вечернего ветра на крыше шумит камыш, аист громко щелкает клювом, не три раза, а как раз только два. И затянется петля у вас на шее! Потому что в первом зале музея вспыхнули дрова, заготовленные для печи в углу, пламя освещает древние жернова, керамическую посуду периода неолита, но отблески пляшут и по стенам второго зала, посвященного памяти Лайоша Бартуца<sup>23</sup>, свет ударяет в печальную горницу, она рассветает, как будто здесь заря обделалась. С бога с серпом который раз, душеньки мои, спадает маска, потому что он носит маску, чтоб его! Просите, что использую ругательства, но они живописней всего опишут лицо, которое вынужден носить

<sup>23</sup> Венгерский антрополог

этот шарлатан, неолитический червь, эту, как бы сказать, морду, которая на дерьмо похожа. Дрянь, навоз! Хорошо тогда знать, что времени у нас осталось немного, поможет только ревностная молитва, слезная молитвенная мольба. Большая ошибка обращать на них внимание, ведь, кто знает, который раз они завладевают нашими кроткими душами. Множество раз падает наша единственная голова, и Красавчик изящным движением отшвырнет башку со всем ее содержимым куда подальше.

Только и видит, что пол, потолок, пол, потолок.

Наверняка, вам вспомнился детский стишок – «двери, стены, двери, стены». А ведь это не шутки! В итоге, мы видим, как бог с серпом вытирает свой перепачканный серп о наши рубахи с таким душераздирающим спокойствием, как будто после славного обеда споласкивает вилку или нож, смывая остатки лечо, как будто это лечо, а не кровь, и все-таки это наша кровь. А что происходит дальше – об этом я лучше умолчу. В моем крошечном мозгу, хотя от множества ударов, когда серп разрубал мою слабую шею, и голова валилась с сильным шлепком на землю, в общем, в моем крошечном мозгу еще остались извилины, чтоб понять – с вами я не могу разделить то телесное унижение, которое Красавчик совершает у меня на глазах, как нечто само собой разумеющееся, потому что незачем перечислять немалый список моих грехов, учитывая, что там кому птичка нашептала, не дай бог, это еще и противоречит моим словам.

Скажу только, что не знаю, как, потому что моя голова получает все более и более важные поручения: брэнная плоть моя все равно начинает уменьшаться в размере, и кажется теперь, господа, я и есть голова. Что мне еще сказать?

## 9

Прежде всего, хотел бы акцентировать ваше внимание на репрезентативном альбоме, представленном в нашем музее, в него мы будем помещать все документы, студенческие работы, курсовые,

репортажи и художественные произведения, касающиеся нашей деревни. Ваши бумаги мы тоже с удовольствием примем, хотя выражаю вам свое искреннее сожаление по поводу того, что к нам в деревню вы впервые наведались в связи с таким прискорбным, кстати говоря, неосновательно раздутым делом. Являясь директором данного института с многолетней историей, заявляю, что настоящие утверждения не соответствуют действительности. Деревенский музей был первым в нашем регионе и вторым по стране. Основан учителем Яношем Якшей. В этом году музею исполняется 49 лет! А самому зданию более 150 лет, и это не соляной склад, изначально здание строилось по заказу графской семьи Каройи как квартира управляющего. Посмотрите, как великолепно сочетается покатая камышовая крыша с длинным зданием и громадными колоннами, украшающими выходящий на улицу фасад здания. За последние десять лет мы точно не меняли дрова в печи реконструированного дома периода неолита, а находящиеся здесь глиняная посуда, керамика и ткацкий станок повреждены не были. Что касается самой значимой находки бассейна реки Тиса периода неолита, кремневой скульптуры бога с серпом, вы сами-то действительно верить? Копия, выставленная в первом зале, никогда не оживала, никогда и не оживет.

Между прочим, новостной портал «Напло», который более десяти лет успешно работал под моей редакцией, составил отчет по этому случаю. Там я тоже подчеркнул, что данный инцидент был преувеличен в результате случайности. Не стоит тратить время на болтовню о бесполезном, наслаждайтесь лучше нашим гостеприимством, молва о котором идет повсюду. В рамках деревенского туризма, находящегося под моим управлением, многие представители будапештской молодежи уже с ним познакомились. А вместо мистических лженовостей хотел был предложить вашему вниманию свою работу по истории данного региона, пережившую несколько изданий.

«На всеобщем слушании от 5 декабря настоящего года заместитель мэра Шандор Киш от имени представительского органа нашей деревни заявил, что орган не желает занимать позицию по делу Иштвана К. и Шандора Д., но добавил, что орган единогласно принял точку зрения (независимого) представителя Шандорне Мате, которая в своем заявлении назвала неприемлемым государственный скандал, разразившийся по данному делу.»

Перевод Людмилы Кулаговой

ЛЮДМИЛА КУЛАГОВА

КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА

к рассказу Кристиана Гречо «Красавчик»

Кристиан Гречо, поэт и писатель, лауреат премии имени Аттилы Йожефа, родился в 1976 году в деревне Сегвар Чонградской области. В 1994 году окончил гимназию имени Яноша Бачани в Чонграде. Учился на преподавателя в институте Шандора Чомы Кёрёши, однако учителем не стал. А в 2001 году получил диплом, окончив кафедру венгерского языка в Сегедском университете имени Аттилы Йожефа. Пять лет жил в Бекешчабе, был редактором различных печатных изданий. С 2009 года ведет раздел, посвященный прозе, в журнале «Элет эш Иродалом» (Élet és Irodalom, «Жизнь и литература»).

Прежде всего, Кристиан Гречо известен как поэт. И первыми его опубликованными произведениями, увидевшими свет еще в 90-х годах, были сборники стихов. К. Гречо ворвался в современную венгерскую литературу со своим первым прозаическим сборником новелл «Сплетница» («Йеленкор», 2001 г.), но о нем речь пойдет немного дальше. В 2004 году в свет вышел роман «Добро пожаловать» («Магветё»), который очень быстро был пе-

реведен на немецкий, чешский, словенский и турецкий языки. В 2008 году был издан роман «Школа танцев» («Магветё»), а в 2012 году он был переведен на чешский. Постановка Габора Мате по драме «Цыгане» (2010 г.) в течение 6 лет успешно шла в будапештском Театре имени Йожефа Катоны.

Широкий читательский успех снискал роман «Поместишься рядом со мной» («Магветё», 2011 г.), действие которого разворачивается в Карпатском бассейне в XX веке. Однако все затронутые в произведении темы, будь то вопросы семьи, поколений и отношений, актуальны и по сей день. В 2012 году роман был признан лучшей книгой в Венгрии и получил Художественную премию «Эйгон» (Aegon művészeti díj).

Роман «Его первая любовь» («Магветё»), появившийся в Венгрии в 2014 году, был переведен на русский язык. Российская публика получила возможность познакомиться с книгой уже в 2016 году, когда роман был опубликован издательством «КомпасГид ИД» в Москве.

Еще одним известным произведением К. Гречо можно считать книгу «Бал-маскарад» («Магветё», 2011 г.), действие которой происходит в венгерской деревне в 1960-е годы и начинается как детектив. Найдены трупы двух девушек, расследование открывает перед нами целую мозаику семейных отношений. Действующими лицами являются женщины, истории которых тесно связаны с прошлым, но тянутся и по настоящее время. Каждая из глав книги раскрывает историю жизни отдельных членов семьи или соседей со всеми их семейными тайнами, обманами, предательствами, поисками себя и друг друга. Сюжетные линии пересекаются, но, в конечном счете, гармонично сходятся в едином литературном произведении.

Однако, как уже упоминалось выше, первый значительный успех К. Гречо принес сборник новелл «Сплетница» («Йеленкор»), опубликованный в 2001 году. Позже сборник дважды переиздавался («Магветё», 2006 г., 2018 г.), менялись имена героев, состав новелл. Сам писатель отмечает, что некоторые новеллы были



практически полностью переписаны и переработаны. Новелла «Красавчик», тем не менее, встречается во всех трех изданиях.

Сборник новелл «Сплетница» в последнем издании (2018 г.) разделен на две главы, каждая из которых имеет свой заголовок. Первая глава «Я, Андраш Шриванек» состоит из пяти новелл, а вторая глава «Красавчик» – из шести. (Кстати говоря, в предыдущем издании количество новелл в обеих главах было одинаковым, а точнее каждая глава включала по 6 новелл). В своем первом прозаическом произведении К. Гречо использовал литературные и художественные приемы, которые будут в дальнейшем повторяться от произведения к произведению и станут основными чертами его творчества.

Во-первых, в сборнике представлено богатое разнообразие тем, стилей и жанров. Читатель может найти здесь и рассказы, и письма, и сказки, и анекдоты. Важное место занимает интертекстуальность. Автор цитирует известных венгерских писателей, таких как Калман Миксат, Ласло Краснахоркаи, Эрнё Сэп и многих других. Этот прием смотрится довольно интересно, учитывая тот факт, что каждая из новелл представляет собой своего рода сплетню, услышанную и записанную автором. А сплетни, как известно, являются пересказом историй с привлечением цитат предыдущих рассказчиков, как и тексты К. Гречо, которые открывают перед нами совершенно новый мир, но все же местами опираются на чужие произведения.

Во-вторых, как и во многих других произведениях, действие новелл разворачивается в сельской местности. Сборник раскрывает перед читателем мир венгерского Алфёлда, где царят свои законы и порядки, современность соседствует с самобытностью. Каждая новелла рассказывает свою историю, однако герои всех рассказов живут в едином замкнутом пространстве и так или иначе знакомы друг с другом.

Стоит отметить, что К. Гречо был с детства хорошо знаком с бытом венгерской деревни, так как сам вырос в небольшом поселении на юге Венгрии. Кроме того, писатель прекрасно владеет диалектом венгерского языка, на котором, очевидно, говорят

местные жители Южного Алфёлда. Живой язык, изобилующий просторечиями и фразеологизмами, которые зачастую могут быть непонятны жителям столицы, делает произведения К. Гречо еще более динамичными.

Новелла «Красавчик» состоит из 10 частей и имеет подзаголовок «собрание фактических показаний из серии предполагаемых преступлений, совершенных молодыми людьми из Алфёлда, которые приобрели дурную славу и известны как «Электрические поджигатели». По сути, перед нами сборник показаний, которые, между тем, сильно отличаются друг от друга по стилю. Наряду с показаниями местных жителей мы встречаем здесь также рапорт, речь директора музея и официальное заявление. Во второй части, как раз-таки более официальной, приводятся те преступления, из-за которых, собственно, и началось следствие, а именно «умышленный поджог католической церкви, а также изнасилование Илонки К.»

Подзаголовок настраивает нас на то, что далее мы будем знакомиться с объективными фактами по делу, вероятно, будем читать детектив, однако, вместо этого уже в самом первом показании мы едва ли встречаемся с конкретными, объективными фактами, а скорее наблюдаем за тем, как персонажи рефлексируют о своей жизни, своих чувствах и переживаниях, при этом преступление является лишь отправной точкой для их рассуждений. Таким образом, из показаний мы получаем информацию о каждом из героев и можем составить его образ, определить характер, а также узнаем про некоторые семейные тайны и перипетии.

Мы все же узнаем кое-что о самом деле. И весьма любопытно наблюдать, как в процессе опроса местных жителей, нам открываются некоторые новые факты, более того, вскрываются новые преступления (например, кража печки). События освещаются с разных точек зрения, которые часто контрастируют друг с другом. И тем не менее, каждое показание исключительно субъективно.

Несмотря на то, что состав преступления описывается с нескольких точек зрения, для читателя по-прежнему остается за-

гадкой, что же произошло на самом деле. Описания как будто неполноценны и скорее еще больше нас запутывают. Некая мистика и загадочность будет и в дальнейшем характеризовать произведения К. Гречо.

Прежде всего, стоит обратить внимание на название новеллы. Оригинальное название *Szép* переводится с венгерского языка как «красивый». Одновременно из текста мы узнаем, что главного героя зовут Иштван Сэп. Все жители называют его просто Сэпом, то есть по фамилии. Хотя однозначно имя это говорящее. Об этом свидетельствуют показания односельчан, скорее даже односельчанок. Как выясняется, Иштван очень даже красивый парень, а женщины от него просто без ума. Поэтому прозвище Красавчик вполне оправдано. Поменяв имя героя, а точнее используя скорее его прозвище, нежели фамилию, я также поменяла и его инициалы, которые пару раз встречаются в тексте. И так он стал Иштваном К.

Возвращаясь к названию новеллы, следует сказать, что вместе с тем венгерское название значительно шире, так как изначально, пока нам неизвестно, что в заголовке фигурирует имя героя, на ум скорее приходит мысль о том, что дальше речь пойдет о чем-то красивом, то есть правильном, хорошем в противовес чему-то неправильному, плохому. Такая трактовка тоже оправдана, поскольку в показаниях довольно силен элемент субъективного оценочного суждения. Читая показания, мы убеждаемся, что некоторые жители оправдывают действия молодых людей, другие же осуждают, причем важно, что исходят все они скорее из личной симпатии или неприязни, чем из фактов. Независимо друг от друга односельчане ведут полемику о том, что хорошо, а что плохо, кто поступил правильно и почему, кто виноват.

Стоит также отметить, что в произведениях К. Гречо, и в новелле «Красавчик» в частности, важную роль играет язык, которым написано произведение, и речь, которую используют персонажи. Манера речи каждого персонажа отлична, вместе с тем, всех героев объединяет использование большого количества фразеологизмов, образность речи, порой непоследовательность

в повествовании, а также определенные грамматические особенности, характерные для языка данной местности (последние являются практически непереводаемыми). Так как показания записаны слово в слово за рассказчиком, читая каждое из них, мы как будто слышим живую народную речь.

Показания первой свидетельницы занимают две части новеллы (1 и 5). Ее речь пестрит фразеологизмами, для которых при переводе я максимально старалась найти соответствие в русском языке. Примером может послужить выражение *a hátam közepére kívánnék*, что дословно можно перевести как «желать, чтобы кто-то/что-то был/было посередине моей спины», иными словами, мешать. Я решила употребить в переводе фразеологизм «нужен тут как козе баян», которые скорее значит «быть лишним», нежели «мешать», но на уровне текста передает смысл, а также сохраняет образность речи.

Другое выражение *bele volt ragadva, mint a bogáncs* дословно переводится как «прилип как чертополох». Мне не удалось найти такой фразеологизм ни в одном достоверном источнике, поэтому могу предположить, что это либо местное алфёлдское выражение, которое не будет фигурировать в словарях, либо сравнение, которое героиня сама же и придумала. В любом случае значение фразеологизма понятно и в переводе представлено следующим образом: «прилип к нему как банный лист».

Кроме того, в рассказе первой свидетельницы, как и в показаниях других персонажей, встречается множество ругательств или эвфемизов, заменяющих некоторые неприличные слова и выражения, а также большое количество восклицаний, в которых упоминается бог, святая троица и тому подобное. Выражение *Isten ments*, к примеру, имеет полное соответствие в русском языке – «боже упаси». Восклицание *a hétszentszégít*, дословно переводящееся как «семь таинств» (в винительном падеже), в моем переводе превратилось в аналогичное восклицание «боже правый».

Рассказам персонажей также свойственна некоторая недосказанность, обрывочность. Иногда читатель не способен понять, на что ссылаются герои, потому что перед нами предстает своего

рода поток сознания, незавершенные предложения, мысли, логика которых скрыта от читательского взгляда, но очевидна самим говорящим.

Примером этому может служить последнее предложение в 6 части, в котором героиня, до этого достаточно откровенно рассказывающая о своей измене мужу, вдруг апеллирует к богу: «Ах, прости господи, что в горе мы на Него уповаем».

С точки зрения логики повествования, интересно рассмотреть показание священника (8 часть). В его речи полно эпитетов, метафор и сравнений, однако, например, сравнение «тяжела моя душа, как старая занавеска» (*nehéz a lelkem, mint egy öreg függöny*), очевидно, не является народным фразеологизмом или устойчивой фразой, скорее это образ, который сам священник подобрал для того, чтобы описать свою душу, поэтому в русском тексте представлен дословный перевод с венгерского.

Встречаются также фразы, которые читатель, пожалуй, затрудняется объяснить, к примеру, еще одно сравнение: «ваши души как палка колбасы, а моя как бревно» (*húrcsálca a maguk lelke, míg az enyém gerenda*). Очевидно, что священник понимает, что говорит, с нашей же стороны, это больше похоже на нелогичное высказывание, бред.

Такие же туманные высказывания можно обнаружить и в речи учителя (3 часть). Примером может послужить следующее предложение: «Незачем бежать, если нет ног, почвы, улицы, окаймляющих ее перистых облаков» (*Legalább akkor nem futni, ha nincs láb, talaj, utca, felette cakkozott szélű barányfelhő*).

Такие предложения представляют собой сложность при переводе, поскольку нарушают логику повествования, и, мало того, что сами по себе иногда выражают не очень ясные и логичные мысли, так и еще больше запутывают рассказ, поскольку обычно не связаны с основной сюжетной линией, что сильно сбивает с толку как читателя, так и переводчика.

Возвращаясь к показанию священника, хочется отметить, что это, пожалуй, наиболее трудная для понимания и перевода часть, так как речь сама по себе хаотична, неструктурирована. Вме-

сто конкретных фактов, которые могли бы помочь следствию, мы читаем обрывки историй из жизни священника. В частности он раскрывает, и все же не совсем до конца, свои травмы молодости.

К концу его речи, тем не менее, в потоке, казалось бы, бесвязных фраз и мыслей мы обнаруживаем отсылки к событиям, связанным с поджогом, и здесь нам открываются новые детали. Во-первых, мы находим более-менее понятное объяснение тому, что же это за бог с серпом, которые уже несколько раз упоминались в новелле. Точнее священник начинает описывать момент поджога дров в музее, находящемся в здании соляного склада, вкратце упоминая при этом экспонаты, хранящиеся в залах. Среди музейных экспонатов присутствует и скульптурка бога с серпом, которая в сознании священника оживает. Эта скульптурка, кстати говоря, была найдена в результате раскопок на территории Южного Алфёлда, точнее неподалеку от Сегвара, родной деревни К. Гречо, и является образцом скульптуры периода неолита, характерной для культуры бассейна реки Тисы. На данный момент скульптурка хранится в музее им. Яноша Торняи в Ходмезёвашархее.

Во-вторых, в этом показании, пускай и не прямым текстом, но говорится, где именно начался пожар. Однако описание пожара и горящих залов музея звучит очень нереалистично, скорее мистично, и похоже на какой-то страшный дьявольский сон. И в противоположность эмоциональной, образной, порывистой речи священника за этой частью следует довольно трезвый, объективный и официальный ответ директора музея, где буквально опровергается сам факт возгорания в музее.

Из этой части (9 часть) мы узнаем, что показания, которые мы до сих пор читали, стали достоянием музея, хранятся здесь как артефакты, повествующие о некой загадочной истории из прошлого этого поселения.

Что касается сложности перевода, связанной с недосказанностью и обрывочностью, хочется отметить, что ради сохранения смысла и идеи иногда в процессе перевода приходилось сильно меня саму структуру предложений.



Приведу в пример отрывок, в котором жительница деревни описывает поведение священника и учителя на площади перед соляным складом. Венгерская речь очень динамична, чувствуется, что героиня хочет как можно быстрее поведать историю, чтобы передать скорость, с которой ситуация изменялась, а также эффект, который она на всех произвела, а именно некое замешательство толпы. A tanító allé, utána, hogy állj meg, te barom, meg hogy egy szerencsétlen féreg a tisztelendő. В венгерском предложении прямая речь не выделяется, кроме того, рассказчица опускает глаголы, чтобы придает рассказу больше динамики. Довольно сложно передать такую конструкцию на русский язык. Прежде всего, нам бы потребовалось правильно оформить прямую речь, а дополнительные знаки препинания снизили бы темп повествования. Поэтому я использовала вводное слово «мол» и добавила глагол «кричит»: «А учитель за ним, мол, стой, остановись, баран, кричит такой, что священник козел несчастный». Отмечу, что частица «мол» не раз выручала при переводе такого рода конструкций, а их в тексте было немало.

В заключении, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в новелле «Красавчик» проявляются многие черты, характерные для дальнейшего творчества К. Гречо, например, образность народной речи, использование диалектных особенностей языка, мистика, недосказанность, в этой конкретной новелле отсутствует разве что интертекстуальность. Зато текст взаимодействует сам с собой, и, словно камера, показывает одни и те же события, окутанные дымкой загадочности, с разных ракурсов.

## Часть 2 II. Rész

### Русские авторы на венгерском / OROSZ SZERZŐK MAGYARUL



Alekszandr Tyerehov

## HIPNÓZIS

Az egykori óvodai dadus a közepsőben lakott azok közül a házak közül, amelyeket a vasúti társaság hivatala épített. A három szürke, négyszintes, pincés, kéményes, nagy kockaablakos épület a Komszomolszkaja utcán sorakozott egymás mellett az egykori Úttörőpalota és a templommal átalakított egykori Napkelte mozi között, szemben a gyermekotthonnal, ahol árvákat neveltek, amíg ezt a mezzaninos házat ki nem nézte, ki nem választotta, át nem alakította, ki nem lakoltatta, fel nem gyújtatta, el nem oltatta, nyomott áron ki nem árusította és meg nem vette az egykori polgármester.

Úgy tetszett, az öregasszonynak nincs mire panaszkodnia: minden egyívású ismerőse és barátja vagy meghalt már, vagy koszos ágyban fekszik, bénán, nem tudva, adnak-e neki ma enni valamit, vagy sem; ő pedig, habár bottal ugyan, de a saját lábán eltipeg a piacig, meg iránytaxival eljár a filléres boltba is.

És éjszakánként, amint megpróbált altató nélkül elaludni, nem panaszkodott, csak sajnálkozott: minek félt ő annyit hiábavalóan, fölöslegesen a jövőtől? Gondtalanul, vidáman kellett volna élnie. De egyfolytában csak félt meg félt – jaj, csak nehogy! Félt, hogy eljön az idő, amikor felnőnek és kiröppennek a gyerekek. A férjével annyira megszokták már, ahogyan este fáradtan egymásra néznek az alvó gyerekek feje fölött, hogy félt kettesben maradni vele: mi van, ha a gyerekek nélkül kettejük között nem maradt már semmi, csak az üresség, és nem lesz miért élniük?

Fölöslegesen félt, nem volt ott semmiféle üresség: amikor a gyerekek kirepültek, a férje megbetegedett (mindenkinek kielégítő volt a válasz: „onkológia”), ő pedig megtudta, hogy pokol márpedig létezik, és néhány embernek (köztük neki is) a pokol már a földön elkezdődik, és mint ahogyan a boldog szerelmeseket állandóan körbeveszi valami

láthatatlan, finom ragyogás, ugyanúgy azok, akik a pokolba kerültek, minden reggel egy láthatatlan, izzó koporsóban ébrednek, de úgy hozzászoknak a szenvedéshez, hogy továbbra is meg tudják különböztetni az élelmiszerek ízét, sőt még arra is találnak alkalmat, hogy mosolyra húzzák a szájukat, és rengeteg ilyen ember van: a pokol sátrát ver a családokban, az egyes épületekben, a benépesített völgyekben, ahová az emberek rendszeren csak tévedésből jutnak el, egy egész nép, amely a többenél hamarabb távozik az életből, ahol van még jelentősége az almafák virágzásának – eszelősök és rokkant gyermekek anyukái, torzszülöttek, nyomorékok, fekvőbetegek gondozói, halálos betegek, akik felfogják leépülésüket és elmúlásukat, akik semmi pénzzel sem enyhíthetik a fájdalmukat, akik eltemették a gyermeküket, vagy akiket elfelednek a gyermekeik, vagy akiknek elmegy az eszük.

A férjét megoperálták és hazaengedték ugyan, de úgy legyengült, hogy elesett az utcán, ment vérvételre: alacsony a hemoglobinja, valamiért magának alacsony a hemoglobinja. A sebész nem akart találkozni vele, a férjére nem emlékezett, de a folyosón azért mégis kezébe vette a vizsgálati eredményeket:

- Ha gyenge, annak ki kell deríteni az okát. Nem, a műtéttel ez nem lehet összefüggésben. Fogjon egy beutalót, és vigye el Tulába, a hematológiai központba.

- És ki fog nekem beutalót adni? Hogy vigyem el Tulába?

A sebész megvonta a vállát, és figyelmét már el is vonta egy hívás; ezt a sebészt mindenki dicsérte, de olyan volt, mint egy automata: csak akkor kapcsolt be és vette észre az embereket, amikor a nyílásba pénzt dobtak be – az asszonynak ennyi pénze nem volt.

Gránátalmalével meg mézzel igyekezett felemelni a hemoglobinszintet, a férje nem bírt felkelni és nem evett, egészen kiszáradt, ő pedig biztatta:

- Egyél, különben el fogunk temetni, és mindenki megszól majd: a felesége nem adott enni neki rendszeren!

- Legfeljebb majd felfújsz!

És nevettek; régi szokás szerint temették el, otthonról vitték ki a temetőbe, és elég sokan összegyűltek a búcsúztatására, és az egykori

osztálymérnökségi főnöke (ezt sokan megjegyzték) abban a rettenetes fagyban egész idő alatt sapka nélkül állt.

A férje elengedte a pokolból, hogy éljen. A fia rég elmerült a Kurszk tengeralattjáróval, és csak az utca felől kitett emléktáblaként tért haza – az asszony maga mosta létráról a márványt, vagy gránitot, vagy mi-csodát, nyáron pedig cserepes virágot tett ki alá az e célra szánt polcra. A lánya reggel nyolctól este hétig porszívózott egy moszkvai szállodában, két hozzá hasonló lánnyal együtt kivett egy garzont, de nagyon ügyesen – nem is találkoznak, mind különböző műszakba járnak. Az asszony a szokatlan szabadságban belepistult egy tévéműsorba, a sztárok életébe, mindegyiket ismerte és sokakat közülük sajnált – ezek a sztárok annyira igyekeztek, hogy felvidítsák őt, a saját magánéletük viszont valahogy nem akart elrendeződni, csupa idegbaj az egész, sűrűlődnék, forgolódnak, hol egyikkel, hol másikkal, személyes boldogságuk meg csak nincs – és örült a saját életének: megvan a nyugalma, minden elrendeződött, nincs mitől félnie – és megint csak tévedett!

Ostoba volt, hány éjszakán át félt olyasmitől, ami nem következett be, most pedig fényes nappal félelem nélkül járt-kelt, habár észrevette: más lett az élet. A várost ellepték a feketék, fokozatosan zajlott ez, és régen kezdődött, csakhogy amikor a pokolban élt, a lakást mindig csak rövid időre hagyta el, vakká tette az állandó nyomás, most pedig, amikor teljes egészében visszakapta az idejét, észrevette, hogy délről megérkezett és elfoglalta a városa pincéit valami kreol népség, amely különféle törzsekre oszlott: útaszfalozók törzsére, néma takarítónők törzsére, udvarosok törzsére, benzinkútkezelők törzsére, vágott szemű lányok törzsére a patikában meg a takaréokban, fejkendő eladónők törzsére, építőmunkások törzsére, és ami a legveszélyesebb, az egymás közt sugdolózó, csapatosan mozgó, nem tudni, mivel foglalkozó és miből élő, melegítőfelsős fiatalok törzsére; a feketék örökre jöttek, a mostaniak helyébe; a mostaniak megpróbálták megkülönböztetni őket: ha vastag nyakú, akkor kirgiz, a tadszikoknak viszont nagy a szemük – és mindannyian vendégnek érezték itt magukat.

A feketék rá se hederítettek – csoszog ott egy öregasszony... Fura végigmenni a piacon: karattyolnak össze-vissza, semmit se érteni belőle, mindenütt egyedül van az ember, két szót sem lehet váltani senkivel.

Észre sem vette, ahogy egy hatalmas, düllelt szemű, tömör valami közrefogja, a közepébe vonja, és bezárul körülötte.

Vidáman megszólították:

– Hogy szolgál az egészsége, mama?! – két pirosposzsgás képű, fehér inges fiatal volt, mellükön kerek jelvény, kezükben viaszosvászon szatyor. – Milyen szerencséje van, hogy éppen magával találkoztunk! Új üzlet nyílik, mindenkinek ajándékot osztunk! Magának egy vasalót! – hadarták egymás szavába vágva, mint valami színészek, és úgy örültek neki – drága fiaim –, hogy ő maga is megörült, adott nekik kétezret, úgy látszik, így van rendjén, ha az ember drága dolgot kap, és nevetgélve vitte haza a színes dobozt: öregkoromra elért a szerencse... El kéne mesélni az öregnek!

A vasaló nagyon alkalmasnak tetszett – kicsi volt, könnyű, mint egy játékszer! És zsinórja se volt. A zsinórja valahol külön van...

Most vette csak észre, mitől olyan könnyű – műanyagból van a talpa.

Úgy látszik, mostanában ilyeneket gyártanak...

– Ilyeneket gyártanak mostanában – ismételte meg hangosan, miután rájött: becsapták őt ezek a fiúk.

Világos. De hogy hagyhatta magát – hiszen emlékszik még a „háború utánra”, amikor gyakran csapták be az embereket. Egyszerűen elszokott tőle. Meg ellankadt a figyelme az öregségtől.

A szomszédjai hüledeztek: hogy csalhatták lépre, ez ismert dolog, már régóta, sok hasonló van még, azok is ismertek mind, ne sírjon, fiatalok is bedőlnek nekik, mindig jönnek újabb agyafúrtak a régiekhez, váratlan ismeretlenek, nem menekülhet tőlük az ember, mindenki belesik: a hetes házban, a járványközpont veteránja, aki így jár ni, oldalazva, szóval, jön hozzá két megnyerő külsejű egyén, a társadalomvédelemtől vagyunk, itt az igazolványunk, az Oroszországi Föderációban elkezdődött a pénz cseréje, a nyugdíjasokhoz kényelmi és biztonsági szempontok miatt házhoz jövünk cserélni, minden anyagi eszközt – ő pedig előadta nekik az összeset, azok meg elvették, felálltak, és elmentek; igen, mindent értek, és elővigyázatosabb leszek, de azért még három napon át hordta magával a visszacsomagolt vasalót azon a bizonyos utcán, aztán pedig mindig úgy ment végig rajta, hogy kereste azt a két pirosposzsgás képű srácot, ábrándozva: hiszen tévedtek; ők pedig:

igen, már mi is rájöttünk, már össze-vissza kerestük magát. Hiszen fehér ing volt rajtuk!

Sokat jelentett a fehér ing egy 1934-es születésű orosz öregasszonynak; mindent jelentett! Az apja nyugodtan halhatott meg: tudott enni adni a gyerekeknek, akik szeptember elsején fehér ingben mehettek iskolába!

Mindent megértett: a feketék hordáin kívül a várost elárasztották még az idősök pénzére vadászók, az idősök életére vadászók, olyan sokan, hogy most úgy tűnt, szinte mindenütt ők vannak; minden a kezükre játszott: az időjárás, a postások, a lépcsőházak bejáratain a zár szerkezetek, a tévében a hírek, a testi elesettség, az ingyenes újságok, az időskori szellemi leépülés, a múltjuk, a lelkük húrjaihoz való hozzáférés – úgy tűnt, nem is csak az emberek, mindez több annál, az egész élet úgy van berendezve, az egész élet csakis arra való, hogy az öregek kétszer is odaadják, amijük maradt: előbb saját kezűleg a pénzüket, aztán pedig dögöljenek meg.

Az elvadult élet tudott róla mindent – hogy mennyi a nyugdíja, mennyit költ, mennyit hagyott rá a férje. És minden mást is megtudhattak volna, de csak a pénz érdekelte őket. A lakása, a háza falai mint ha üvegből lettek volna: közszemlére téve élt. Csak a sötétben nyugodott meg egy kicsit. Habár tudta: ők nem alszanak, tervezik, „hogyan csináljuk holnap”, fehér ingben hosszú asztalnál ülnek, vagy kórusban kiabálnak, hogy ráhangolódjanak a győzelemre – ő pedig nem is a pénzt sajnálta. Fájdalmasabb volt, hogy kiderült: nem lehet senkinek. Bárkinek, aki fiatalabb, a jövő emberének (márpedig hozzászokott, hogy a jövőtől, a tudománytól csakis jót várjon – most aztán szokj le róla!) a felé nyújtott keze vagy a hozzá intézett jó szava – mind hazugság. Igyekezett felismerni, de amikor sikerült, nem lett tőle sem sikerélménye, sem öröme, „megúsza”, és csak a keserűség maradt, meg a félelem az új naptól – hiszen egyszer feltétlenül eljön számára is az a bizonyos nap.

Feljött a láthatatlan nap, és elkezdődött: anélkül hogy elolvasta volna, kitörölte az sms-eket: „Anyá, nyomj át egy kis lét erre a számra, később megmagyarázom...”, „Segítsetek, haldoklik a gyerekem”, „Gratulálunk, ön nyert!”, „Azonnal hívd a következő számot...”, „Az ön

számlájára átutaltunk...”, „FONTOS KÖZLEMÉNY”, „Küldd el a válaszod, és nyerj 1 000 000-t”, „Tévedésből az ön telefonjára töltöttem fel 300 rubelt, kérem, küldje vissza”, „Ne mulassza el részt venni...”, „Ön a birtokosa lett...” és...

Mint éjjel összegyűlt rovarokat, kirázta az újságokból az állami címeres, fenyegető borítékokat, a „Csodák ideje” matricás, zizegő borítékokat, a „Nyugdíjasoknak ingyenes” szórólapokat, a 90%-os kedvezményre jogosító kuponokat, az „ingyenes konzultáció”-ra, „ingyenes diagnosztika”-ra, „ingyenes választás”-ra szóló meghívókat – fogak, szemek, vendégahajak, számítógépes diagnosztika, ráolvasás, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, salakmentesítés, hagyja dolgozni a pénzt, eltartás öröklakás fejében, Egységes Oroszország, méregtelenítés, csodafilterek, briliánsok ajándékba...

Lesunyta a szemét, összeszorította az ajkát, felvette a megfelelő mentesebességet (nemcsak hogy ne válaszoljon, a legfontosabb, hogy ne álljon meg, és kiáltson, ha elkapják a kezét, maradjon mozgásban, az orvos is azt mondta neki: mozgás, habár, amint most már sejtette, az orvos is ezek közül való volt), így járt ki ennivalóért meg levegőzni, eleresztve a füle mellett:

– Szép jó napot! Bocsásson meg, hogy feltartom. Nem tudna kisegíteni bennünket a bajból?

Csak a lába alá nézett.

– Ott állunk a sarkon, kifogyott a benzinünk. Nem tudna beleadni a tankolásba?

El, el mellettük; korábban aggódott a botja miatt, most örült neki: fegyver!

– Bobrik-Donszkojba kell mennünk.

Az utolsó szöveget pedig mindig a szíve közepébe verték:

– Ilyen fagy van, a kocsiban meg ott a két gyerek is.

Egy bevert szemű srác nem engedte bemenni a piacra:

– Négyen estek nekem. Elvették a pénzemet. A telefonomat. Voltam a rendőrségen. Az állomásfőnöknél. Csak jegyet akarok venni Novoszibirszkig, a nevelőintézetbe! – Majd fenyegetően hozzátette: – Krisztus szerelmére! – Aztán utána sziszegte: – Csak magadra gondolsz?! – de nem ütötte meg; bent a piacon pedig már nemcsak neki, hanem

mintha mindenkinek, de mégis úgy hatott, hogy kiváltképp neki ajánlotta egy komor és zavarodott férfi:

- Átutazóban vagyok itt, balesetet szenvedtem. Pénzre van szükségem. Nincs semmi másom, csak az anyám arany fülbevalói. Megveszi valaki fél áron?

Vett ő már ilyen fülbevalót a lányának: az ékszerész ránézett, rácsöppentett valamit, és kidobta a szemébe.

Nem állt meg, ment tovább; csatlakozott hozzá egy nő, ha kívülről nézi az ember, sétál két barátnő, és a nő azt suttogta:

- Én magam vasúti kocskísérő voltam, vasutas, mint a maga férje. Isten nyugosztalja! Rablók támadtak rá a férjemre. Itt a rendőrségi bejelentés. Kalapáccsal verték a fejét. Itt van róla az orvosi lelet. És egyetlen vizsgálat nyolcszáz rubelbe került! Itt van róla a csekk...

Sétálgatott, hiszen az orvos azt mondta neki: ha nem mozog, meghal – amennyit tudott, elviselt az egészből, és vánszorgott vissza megsebzetten, vitte haza magával az újabb szennyet.

Nem, nem kételkedett benne: minden – gonosz átverés, de azért mégis szegyenkezett. A hazugság úgy nézett ki, mint az igazság. És ez a „mint az igazság” ha éppen nem is ütötte, de karmolászta, bemocskolta és lealacsonyította. Nem utálta az életet, csak zavarba jött tőle. Nem állt készen rá. Nem gondolta, hogy ez valaha így lesz.

A legfélelmetesebb időben tért haza, amikor az erősek dolgozni mennek, közben elviszik az óvodába meg az iskolába a gyerekeiket, és az áttetsző házakban csak az öregek maradnak.

Nem ment be azonnal a lépcsőházba, ácsorgott kicsit a sarkon, és azt ismételte: „Én nem itt lakom. Csak várom egy ismerősömet”, míg békén nem hagyta egy jó kiállítású, hihetetlenül fehér fogsorú férfi, aki ajánlotta, hogy ingyen bevizsgálja a csapvíz minőségét; aztán körbenézett, és gyorsan beosont a házba, és mielőtt kinyitotta volna a lakása ajtaját, hallgatózott a lépcsőn, nem követi-e felfelé valaki.

Megcsörrent a városi vonal, ő pedig hangosan beleszólt a kagylóba:

- Köszönöm, nem kell! – arra válaszolva, hogy:

- Gratulálok, az ön telefonszáma nyert egy...

Bevitte a szatyrokat a konyhába, ekkor újra telefonáltak, ezúttal a nevének és apai nevének szólítva:

- Ez az ajándékok kiadását ellenőrző szolgálat – de a hang ugyanaz volt –, ön tényleg azt mondta a munkatársunknak, hogy lemond a kétezer eurós díjról meg az ingyenes spanyolországi üdülésről, amihez semmi másra nincs szükség, minthogy bejöjjön az irodánkba, és felmutassa az útlevelét?! Vagy a munkatársunk félrevezeti a vezetőséget? Kétezer euró! Az első eset, hogy valaki lemond róla! Hogy kiállíthatjuk a lemondó nyilatkozatot, az útlevelével együtt még ma este nyolcig be kellene jönnie az irodánkba!

Még egyszer telefonáltak, de kiderült, hogy ezek már nem ők:

- Moszkvából zavarjuk. A svájci egészségügyi központ. Német orvosok telefonos diagnosztikát hajtottak végre az ön szervezetén – mondták valahonnan egészen közelről, mintha csak a szomszéd lakásból, miközben a vonal túlsó végén felsírt egy gyerek, és a beszélő nő elhallgatott, hogy elringassa.

Az öregasszony még fel is nevetett:

- Hogyhogy, telefonon?

A vonal végén valaki lapozott:

- Cukor szint: több mint kilenc. Így van? Így. Dagad a lába. Járás közben támasz nélkül jobbra húz, naponta két-három órán át tartó szédülés. Így van?

Rábólintott, miközben a halántékát dörzsölgette; ezek látják őt? Igen.

Ez a beteglapja!

- Gyomorégés. De a legfontosabb, persze, a szívszorulás. A nyakán a dudor nem veszélyes, viszont a szívszorulás... Kellemetlen prognózis, persze: két hét múlva rosszabbodás, egészen a... Érti, ugye? Szeretne még élni? Mondja hangosabban! Szóval, van egy angol gyógyszer, ami garantáltan hat. És sokkal olcsóbb, mint a patikában, mert direktben érkezik a szállítmány. De ez már az utolsó, az utolsó szállítmány. A következő majd egy év múlva lesz. Félretegyem magának? Félretegyem. A futár holnap ebédidőben kiviszi. A teljes kezelés, a teljes kezelés, igen... Mennyi is az... Menjen, utalja át, írja fel, Gricenko Tamara részére... Tizenkettőezer négyszáz. De szigorúan még ma.

- Nekem nincs ennyim – és a díványon gubbasztva valamiért elsírta magát.

A vonal túlsó végén elhallgattak, majd:



- Hogyhogy? Tegnap tizenkétezret vett ki a kártyájával – majd boszszúsan: - Csak nem költötte el egy nap alatt?

- Nem tudom, hogyan kell utalni. Ha megjön a lányom...

- De hát a lánya csak szombaton jön meg, addigra a gyógyszer elfogy – a vonal végén eltakarták a kagylót, és kiáltás hangzott fel: „Vedd lejjebb a gázt!!!” -, fogod a tizenkétezernégyszázat, elmész vele a takarékbba, a hozzád legközelebbi a Berjozovaja 8. alatt van, ott a lányok majd segítenek az átutalásban – szigorúan tizennyolc óráig! Ne halogasd: emeld fel a feneked, és menj!

Felugrott és elindult. Mert valaki csöngetett. Úgy látszik, ők maguk jöttek el a pénzért, hogy meggyorsítsák a folyamatot. De a kagylót magával vitte. Hátha még akkor is folytatják vele a beszélgetést telefonon, amikor már látják. Minden lépéshez megvan a saját szabályuk. Azok közül, amiket megértett, az egyik: nem szabad a nyakát szorongatniuk. Kell nekik az önkéntes hozzájárulás.

Az ajtón kívül azonban (mint mindig, most is csak egy gyanakvó, félős rénsyre, fél szemmel kikukucskálásra nyitotta ki).

Ott azonban. A lépcsőfordulóban, amelyet ha rákerült a sor, ő is felmosott, egy nő állt négy év körüli kislányával, szótlanul.

Semmi gond. A kislány, mint később gondolta, önmagában véve nem játszott szerepet. Minden amiatt történt, mert a nő gazdagnak látszott. Fehér dzseki, csizma. Kis sapka a kezében. És a nő a kislányt is szépen felöltöztette: prémes volt a kapucnija.

- Csöngetek a szomszédjához – a nő úgy beszélt, mint mindenki más, mint az oroszok, csak egy kicsit elhúzta a szavakat -, itthon szoktak lenni egyáltalán?

- Nem tudom, az öreg meghalt, az öregasszonyt elvitték a gyerekei Kurszkba, az új tulajdonosok a tatarozás óta nem jelentkeztek – és megint megszólalt a telefon.

- Megbeszéltem velük, hogy megnézem a lakást, de sehol senki. A telefont se veszik fel.

- Nem tudom – és nem nyitotta ki jobban az ajtót.

De a nő még belesni sem próbált meg. Csak felsóhajtott az elvesztegetett idő miatt, és kezét bedugta a kislány sapkája alá – le van főve, persze:

- Csurom víz. Nem tudja véletlenül, nincs valakinek a házban kiadó lakása?

- Nem tudom.

A kislány ásitott, nyugösködött, hol az oldalát, hol a hátát vetette neki az anyjának, hol a lábát ölelte át.

- Hát jó, akkor elnézést – de még mielőtt az ajtó teljesen becsukódott volna, hozzá tudta tenni: - Tudna inni adni a gyereknek?

Ez korábban eredményre vezethetett volna, de most nem.

- Várjon itt – azzal becsukta az ajtót, visszament a konyhába, miközben későbbre halasztotta a gondolatát: elképesztő, hogy a módosak meg a fiatalok csapból már nem is isznak, csak mindenféle filterekből meg üvegekből.

Elővett egy fehér csészét, egyet azokból, amiket a hatvanadik születésnapjára kapott – még egyszer sem használta őket -, és a lélegzete is elállt: a nő a gyerekekkel együtt ott állt a konyhában, közvetlenül a háta mögött.

Mintha lezuhant és darabokra tört volna. Olyan váratlanul érte.

Hogy történhetett? Világos, hogyan történt: a kislány beszaladt utána, neki nem magyarázhatod el, az anyja meg kénytelen volt követni... De milyen gyorsan. És ami teljesen összetörte: a kislánynak is, az anyjának is volt már érkezése levenni a cipőjét.

- Egyedül lakik? – a nő nem magyarázott semmit, minden úgy volt, ahogy volt. - Hát az örege hol van? Jön hamarosan? Mindjárt, mindjárt ad neked a néni vizecskét. Eresszen ki többet, hogy ne legyen rozsdás.

A fejében egy másik, egy nehezebb víz is csobogni kezdett.

- Kérhetek még? Én is megszomjaztam – a nő hangosan, lassan beszélt, közben a szemébe nézett, és nyilván, hogy szórakoztassa a kislányt, ütemesen összeütögte a tenyerét – ő pedig amíg csak él, emlékezni fog rá, hogy valami miatt mozdulni sem bírt, és se megszólalni, se gondolkodni nem tudott, olyan zaj volt a fejében. - Kint szobrozok a piacon. Alkalmas lenne ebben a házban lakást kivenni. Jöjjön ki a piacra. Magának megcsinálom olcsóbban is. Bulgáriából jöttem. Bolgár vagyok.

Meg kellene kérdeznie: melyik soron szokott lenni? Mit árul? Mit csinál meg olcsóbban? De semmit sem sikerült, a nő pedig csak beszélt és tapsolt: így, így, így, aztán csapott egyet – és vége!

- Menjünk.

Este már a vérnyomását is megmérte, már a gyógyszereit is bevette, már a villanyt is eloltotta és le is feküdt, de – mintha csak valaki húzná-vonná álmából – felkelt, és szinte ki sem nyitva a szemét, tapogatózva átment a nappaliba.

A telefonkönyvben nincs ott a pénz.

A cipős dobozban, a receptek meg a ravaszul összegyűrt papírok alatt sincs ott a pénz.

Nem csodálkozott rajta, hogy képesek voltak egy pillanat alatt megtalálni, hisz egész életükben ezzel foglalkoznak, és rajta magán is teljesen keresztüllátnak, látják minden gondolatát.

Csak magán csodálkozott: hiszen tudta, hogy eljön az ő napja is.

És sajnálja, persze, hogy a dobozból is, a telefonkönyvből is. Jobb lenne, persze, ha csak az egyikből.

Az éjszaka folyamán kétszer ment még be a nappaliba: biztos nem tette el máshová? Nem esett ki valahová? Reggel, világosban meg kell nézni még egyszer.

Vigasztalta is magát: meg is ölhatték volna, ha megsejtett volna valamit, és átrohant volna a konyhából. Az a másik (a gyerek nem számít, az eszköz nem számít), valószínűleg egy férfi, agyon is üthette volna; enyhe düh – nézzenek oda, hogy kicsípte magát, micsoda csizmát húzott, és hozzá még gyerekekkel – nincs lelkiismerete! –, kínzó sértettség és könnyek: a pénzt a férje hagyta rá, az övé volt, ő kereste meg, a két kezével – veled vagyok, ilyen egy szerető társ érzékelhető gondoskodása, gondoltam: hogy leszel meg nélkülem?, itt van, fogd – hogy legalább az első időkben kitarthass, oda ne add a lányunknak, ez csak a tiéd, a nehéz napokra, hogy kevesebb legyen belőlük; de a férje végérvényesen meghalt, ő pedig végérvényesen magára maradt; nem a pénzt sajnálom, ismételte (hiszen csak jön majd a rendőr, vagy hogy kell mondani, a nyomozó), nem a pénzt sajnálom, de azért örömmel gondolt rá: megtalálják! És a pénzt is visszaadják! Ha nem is mindet, de a jelentős részét, azt, ami a cipős dobozban volt.

A nő pedig járkált a lépcsőházakban, becsöngetett a lakásokba – látták, beszéltek vele, megjegyezték, látták a másikat is, aki a nyomában járt!

Ha autó várta őket, az autót megjegyezték az iszákosok – egész nap ott ülnek az udvarban, a ládákon, ott, ahol egykor a dominózós asztal állt. Minden nagyon egyszerű!

És a gyerek. A gyerek nagyon jó ismertetőjel! Egyszerűen csak ellenőrizni kell, kinek van ezek közül gyereke! És nyomozó is pont olyan érkezett, amilyet várt, megértő, Oleg, civil ruhás, de mappával a kezében, pisztollyal az oldalán. Megebédeltette, és azt mondta neki: tisztára a fiamra emlékeztet, hiszen én egy tengeralattjáró-tiszt anyja vagyok.

Oleg hálásan megköszönte az ebédet, figyelmesen végighallgatta, feljegyezte minden szavát, és olyan könnyedséggel és elégedettséggel ismételte, hogy „aha”, hogy világossá vált: az ügy önmagában véve is a lehető legegyszerűbb, de neki meg különösen az; mint kiderült, Olegnek már van két gyermeke, a felesége nem dolgozik, az öregasszony küldött a gyerekeknek egy üveg málnalekvárt, savanyúságokat is ajánlott, de a férfi elmagyarázta: nem kocsival jöttem, majd legközelebb, amikor kocsival leszek – és ment a dolgára, az öregasszony pedig követte az ablakból – elindul-e a lakásokba, vagy inkább az iszákosokhoz; de nem látszott – befordult a sarkon valahová.

Másnap, a kardiológiai betegségekben szenvedőknek nem éppen kedvező napon, leesett a hó.

Az öregasszony jött át a téren a távolabbi patikából, amelyik olcsóbb. És mintha nem is lenne hideg, csak olyan csontig hatoló szél fúj! Óvatosan tipegett, mert eszébe jutott, hány tévéből ismert ismerőse esett el és halt meg, mert idős korában eltörte a combnyak-csontját, és – még ilyet! – a hóviharból egyszer csak előtte termett az a bizonyos nő! De a gyerek nélkül. A nő nem ismerte meg – hány ilyen van, nem lehet mindet megjegyezni. És elkezdett valami új dologról hablatyolni, ő azonban eltakarta kezével az arcát, előregörnyedt, és csak oldalra, oldalra kikerülve, védve a pénztárcáját a zsebében, igyekezett haza – hogy felhívja Oleget! De micsoda szerencse: Oleg szinte az ajtaja előtt várta, vagyis az ügye haladt!

És most kocsival érkezett, el tudja vinni az üvegeket, és még a krumplit sem utasította vissza. Csak gyorsan, mert sok a munkája, az öregasszony viszont szinte rákiáltott: ebéd nélkül nem engedem el!

- Milyen bonyolult a te munkád, édes fiam. El lehet fogni vajon valamennyit?

- Örülök, hogy megérti.

Oleg adott neki egy lapot, tollat, megkérte, hogy hozza a szemüvegét is – és amíg ő ebédelt, lediktálta neki, mit írjon: az ennyi és ennyi összegű pénzt, amelyet állítólag elraboltak tőlem, ilyen és ilyen összegben egy másik helyen megtaláltam, ahová én magam tettem el megőrzésre, csak elfeledkeztem róla.

Oleg telefonált valahová, hogy megtudakolja, jól van-e így – majd megkérte, hogy írja át: a pénzösszeget, amelynek elrablásáról bejelentést tettem, tudtomon kívül elvette a lányom, és élelmiszert, ruhanevét és cipőt vett belőle – na, így jó lesz –, teát már nem ivott, ennyi volt, elszaladt.

A hétvégén, amikor megérkezett a lánya, nevetni kezdett:

- Hogyan, fogtad, és megírtad?

Ő pedig csak annyit mondott rá, amennyit megértett belőle:

- Meghipnotizált.

Goretity József fordítása

## GORETITY JÓZSEF

### FORDÍTÓI KOMMENTÁR

Alekszandr Tyerehov *Hipnózis* című elbeszéléséhez

Alekszandr Tyerehov 1966-ban született a Tulai körzethez tartozó Novomoszkovszkban. Tényleges katonai szolgálatát (1984–1986) követően elvégezte a Moszkvai Állami Egyetem újságírói szakát (1991). A 90-es években – állítása szerint inkább pénzkereseti okokból, semmint elhivatottságból – újságíróként dolgozott: volt többek között az *Ogonyok* és a *Szoversenno Szekretno* tudósítója, főszerkesztő-helyettese az *Izvesztyija* című lap heti irodalmi mellékletének, a *Nyegyeljának*, ugyancsak főszerkesztő-helyettese a *Ljugyi* című folyóiratnak,

valamint főszerkesztője a *Nasztojascseje Vremja* című irodalmi folyóiratnak. 1999–2008 között a Nyugat-Moszkvai Adminisztratív Körzet Prefektúrája Sajtóközpontjának igazgatójaként dolgozott. Tagja lett a fiatal írókat támogató *Gyebjut* irodalmi díj zsűrijének.

Irodalmi munkásságának kezdete a 80-as évek végére nyúlik vissza: 1989-ben egy sokkal inkább az újságírói ténykedéshez, semmint a szépirodalomhoz közelebb álló, karcolatokat tartalmazó kötettel debütált, első valóban szépprózai műve, az 1993-ban megjelent *Prosu prosztyityi* (Kérem megbocsátani) című regénye különösebb visszhang nélkül maradt. Mint igazán tehetséges, fiatal szerzőre 1995-től figyeltek fel rá, amikor is egymást követően két kötete is megjelent: az *Okraina pusztinyi* (A pusztaság környéke) című gyűjteményes kötete az akkori komoly presztízst jelentő Vagrius Kiadónál, valamint a *Kriszoboj* (Patkányölő) című regénye. A gyűjteményes kötet tartalmazza többek között a *Memuari szrocsoj szluzsbi* (A tényleges katonai szolgálat emlékiratai) című kisregényt, amely a szerző katonai szolgálatának művészi lenyomata, bizonyos értelemben az orosz hadsereg bírálata, ugyanakkor, tágabb és mélyebb értelemben a modern ember uniformizálódásának pontos láttelepe. Témáját és művészi erejét tekintve a kisregény olyan kortárs orosz irodalmi művekkel vonható párhuzamba, mint Jurij Poljakov méltán elhíresült *Szto dnyej do prikaza* (Száz nap a parancsig) (1980; publikálás éve: 1987) című, a hadseregben uralkodó nem-hivatalos hierarchiára („kopaszok”, „gumik”, „öregek”) és az ehhez kapcsolódó „szívatasok” gyakorlatára reflektáló szatirikus kisregénye, valamint Oleg Pavlov „karagandai trilógiája” (magyarul: *Orosz trilógia*, Magvető, 2013), amelybe az egzisztenciális és metafizikai problémafelvetéseket felvonultató, helyenként könnyfakasztóan, más-kor kacagtatóan groteszk, katonai témájú kisregények (*Kincstári mese*, *A Matyusin-ügy*, *A gyász kilencedik napja Karagandában*) kerültek.

A *Patkányölő* című Tyerehov-regény még nagyobb megütközést váltott ki a korabeli olvasókból és kritikusokból: a szerző nem áttal egy professzionális rágcslóírtót megtenni regénye főhősének, akinek ténykedése természetszerűleg korántsem mondható esztétikusnak. Ténykedéséről a regényből alapos, aprólékosan megrajzolt képet kaphatunk, bizonyos értelemben akár a termelési regény módszerének és stílusának

imitálásával is. (A magyar olvasónak óhatatlanul is eszébe jut Esterházy Péter átértelmezett, parodisztikus termelési regénye, amelyben fölösleges iratok termeléséről esik szó, amelyek aztán, abszurdba hajlóan, özönvízként árasztják el a világot.) A regény cselekménye egy vidéki városban játszódik, amelyet a helyi hatalom az újjászülető Oroszország (Rusz) középpontjába kíván helyezni, és ahová nagyszabású találkozóra várja az orosz elnököt és az ENSZ képviselőjét. A város gazdagabb felét (és csakis azt) azonban ellepik a patkányok, amelyekről a találkozóiig mindenképpen meg kell szabadulni. Miután pontos képet kapunk a patkányok és az emberek együttéléséről a világtörténelem során, a patkányok szerepéről a különféle kultúrákban, a regényben a konkrét társadalmi-történelmi helyzethez kapcsolódó patkányirtás először is éles társadalombírálattá, majd az abszurd és groteszk szituációknak köszönhetően általános létértelmezési kérdéssé válik.

A Tyerehov-életmű következő meghatározó darabja a 2009-ben publikált monumentális regény, a *Kamennij moszt* (magyarul: *A kőhíd*, Helikon, 2016), amelyen a szerző tíz évet dolgozott. A regény, első pillantásra, politikai krimi és szerelmi történet: 1943-ban a Kremllel szemben lévő Nagy Kőhídon a repülőgép-gyártási népbiztos, Alekszej Sahurin tinédzser korú fia féltékenységből megöli szerelmét, a Szovjetunió Egyesült Államokbeli nagykövetének, Konsztantyin Umanszkiyának a lányát. E történelmi esemény valódiságának, körülményeinek és okainak igyekszik utánajárni egy megszállott nyomozó, egy kiugrott FSZB-ügynök, aki miközben ádázul kutakodik a múltban, igyekszik megtalálni önmagát is, meghatározni a világhoz és azon belül főként a nőkhöz való viszonyát. A hatalmas történelmi és jelenkori oroszországi tablóból végül lehangoló történetfilozófiai koncepció bontakozik ki: a történelmi múlt feltárásának és feldolgozásának szükségessége egyfelől, és a történelmi kutatómunka értelmetlenségének, a múlt megismerhetetlenségének ténye másfelől. A nagy társadalmi visszhangot kapott könyv 2009-ben Nagy Könyv-díjban részesült. A zsűri és a kritika kiemelte egyfelől a mű műfaját, másfelől a szöveg művészi megformáltságát, sajátos stílusát, a prózanyelv megújítására tett erőfeszítéseit.

A szerző szándékai szerint *A kőhíd* műfaja – mockumentary. Ez a filmes világból kölcsönzött műfaj, amelynek elnevezése a mock (kicsú-

folni) és a documentary (dokumentumfilm) kontaminációjából született, eredetileg a filmkomédia egyik válfaja, tulajdonképpen olyan áldokumentumfilm, amelyben minden a dokumentaritás látszatát kelti, miközben a film tényei éppen a dokumentumjelleg ellenében működnek, történelmi blöffnek, valóságként feltüntetett fikciónak bizonyulnak. Legismertebb példája a műfajnak az *All You Need is Cash* című Monty Python-tévéfilm (1978, rendezte: Eric Idle és Gary Weis), amely a Beatles-paródiaként kitalált, valójában nem létező The Rutles zenekarról forgatott dokumentumfilmként aposztrofálja önmagát. Tyerehov némiképp átértelmezi a műfajt, regényében nem a paródia- és szimulákrum-elemek dominálnak, hanem sokkal inkább az az eljárás (amely, mellel, mindenféle típusú történelmi regényre, sőt, talán meg lehet kockáztatni: mindenféle történetírásra is jellemző), hogy tudniillik a történelmileg dokumentálható tények az írói fantázia tényeivel keverednek. (Igazából ezért is látszik némiképp érthetetlennek, hogy miért volt akkora fölháborodás – egyszerű emberektől egyházi személyiségeken át a Duma képviselőiig – a *Matilda* című film [2017., rendezte: Alekszej Ucsityel], illetve a Tyerehov által írott forgatókönyv kapcsán, melynek során azzal vádolták az alkotókat, hogy a filmben, amely II. Miklós cár és Matilda Keszinszkaja balerina szerelmi történetét dolgozza fel, meghamisították a történelmet és megszentéltették a meggyilkolt, szent cár emlékét.)

Ami pedig *A kőhíd* nyelvi megformáltságát illeti, két fontos eljárásra szeretném felhívni a figyelmet:

a) Mint ismeretes, az elbeszélő műveknek van egy fontos része, amely a táj, a környezet, a helyszín, a szereplők külseje megjelenítésével, leírásával foglalkozik. E leírások – a cselekmény dinamikusságával ellentétben – gyakran állóképszerűek, statikusak, az igei alakok helyett a névszói alakok dominálnak bennük. Az eljárást, vagyis az irodalmi szövegben előforduló leírást, képszerű megjelenítést, láthatóvá tételt (tulajdonképpen azt, hogy miképpen lehet szavakkal egy másik művészeti ágat, képiséget kifejezni) a klasszikus retorika hüpotüposzisznak nevezi.<sup>24</sup> A leírásokkal kapcsolatban megfogalmazódik a kérdés,

<sup>24</sup> A hüpotüposzisz és az ekphraszisz retorikai alakzataival kapcsolatban

hogy azok valamely, a narrációtól független, regény feletti, objektív és személytelen elbeszélés részei-e (és ennek alapján függetlenek-e magától a regényfikciótól), avagy, amint azt a narratológia egyik kiváló kutatója, Mike Bal feltételezi<sup>25</sup>, a – Wolfgang Kayser-féle értelemben vett<sup>26</sup> – narráció részei, és mint ilyenek, fokalizáltak, valamely regényszereplő nézőpontját tükrözik, és ennek megfelelően szubjektívek. Ha mármost mindezt megnézzük *A kőhíd*ban, a következő helyzetet találjuk: a regény elbeszélő főhőse, miután nem elégszik meg az Umansz-kaja-gyilkosság hivatalos indoklásával, kutatni kezd az ügy után, és összegyűjt mindent, ami csak fellelhető: memoárrészleteket, újságcikkeket, feljegyzéseket, kihallgatási jegyzőkönyveket, hangfelvételeket, beszélgetéseket, félsős, de büszke rokonok nem vállalt megnyilvánulásait, öregkori gyengeelméjűségben szenvedők visszaemlékezéseit, öntelt muzeológusok álkutatásait. Ez az egész sokszínű, töredékes gyűjtemény végső soron semmire sem vezet, inadekvát anyagnak bizonyul, amelyből a nyomozó (és vele együtt az olvasó) nem tudhat meg semmi bizonyosat sem a Nagy Kőhídról, sem az ott történt gyilkosságról (öngyilkosságról?) – e kusza anyag alapján legfeljebb megpróbálhatja elképzelni, rekonstruálni, láttatni, képivé formálni az egykori eseményt. Fordítási szempontból ennek a bonyolult, sokszólamú elbeszélői eljárásnak és nyelvi bravúrnak a visszaadása szinte a lehetetlennel egyenlő: a fordítóra ugyanis az a feladat hárul, hogy egyrészt adja vissza hitelesen a különféle, nemcsak hogy jelentősen eltérő, hanem egymást gyakran akár ki is záró megszólalások stílusjegyeit, másrészt viszont tegye mindezt úgy, hogy közben e megszólaló hangokat összefogja egy egységes hang, a főhős-elbeszélő hangja, akinek sajátos stílusa és nézőpontja mégiscsak érződik az összes beszélő megszólalásán.

lásd: Kibédi Varga Áron: *A realizmus alakzatai*. In: Thomka Beáta (szerk.): *Az irodalom elméletei IV*. Pécs, Jelenkor, 1997, 131–149.

<sup>25</sup> A fokalizációval kapcsolatban lásd: Mike Bal: *A leírás mint narráció*. In: Thomka Beáta (szerk.): *Narratívák 2*. Budapest, Kijárat, 1998, 135–171.

<sup>26</sup> Kayser narrációelméletével kapcsolatban lásd: Wolfgang Kayser: *Wer erzählte den Roman?* Wiss. Buchges, 1965.

Megvalósul, ráadásul igencsak sajátosan, a leírásnak egy másik formája is, az, amit a klasszikus retorika ekphrasisznak nevez: egy konkrét, valóban létező tárgynak, esetleg művészeti alkotásnak pontos, megjelölő erejű nyelvi megfogalmazása. A *kőhíd* című regény narrátora egyes szám harmadik személyű elbeszélésben hiteles történeti dokumentumokra hivatkozva bemutatja a Nagy Kőhidat: elhelyezkedését, építésének történetét, változásait a történelmi időben, jelenlegi, empirikus megfigyelés alapján rögzíthető arculatát. A hiteles dokumentumokra alapozott leírás mellett ugyanakkor a Nagy Kőhíd kísértetiesen hasonlítani kezd egy másik hídra, a 20. századi világirodalom egyik jelentős művének építészeti alkotására, Ivo Andrić *Híd a Drinán* című regényének „főhősére”. Ennek következményeként a Nagy Kőhíd leírása természetesen megszűnik objektívnek és hitelesnek lenni, hiszen a leírást már nem csak a valós, hiteles, reális jegyek, hanem egy másik regény, vagyis egy fiktív alkotás jegyei határozzák meg.

b) A leírás sokszólamúságával függ össze a nyelvi megformáltság egy másik aspektusa. A regényt olvasva az olvasó számára azonnal világgossá válik, hogy meglehetősen nehezen olvasható szövegről van szó, mindenekelőtt amiatt, mert a hosszú körmondatokat gyakran szabadlják fel zárójelbe vagy gondolatjel közé tett beékelések: az éppen elhangzottakhoz fűzött elbeszélői kommentárok, más szereplők azonnali reakciói, az elbeszélő önreflexiói vagy önkorrekciói. Ez azt jelenti, hogy az elbeszélő hangjában egyre-másra megszólalnak más hangok is, illetve hogy állandóan változik az elbeszélés nézőpontja: nem statikus elbeszélői nézőpontból, hanem állandóan mozgó-változó nézőpontból jelennek meg az események, szereplők, helyszínek, szituációk. (Ez többé-kevésbé a Bahtyin által leírt Dosztojevskij-féle polifonikus eljárásnak felel meg.<sup>27</sup>) Fordítói szempontból az ilyen elbeszélés visszaadása rendkívüli feladatot jelent, amennyiben nemcsak a különféle stílusú megszólalók adekvát nyelvi megjelenítése a feladat, hanem az is, hogy vissza kell adni e hangok együtt, egyazon pillanatban való felhangzásának illúzióját.

<sup>27</sup> Lásd erről: Mihail Bahtyin: *Dosztojevskij poétikájának problémái*. Budapest, Osiris, 2001.

Tyerehov következő jelentős műveként a *Nyemci* (Németek) című regényt tarthatjuk számon, amely 2012-es megjelenését követően nemcsak az olvasóközönség elismerését váltotta ki, hanem a szűk szakmáét is, aminek eredményeként elnyerte a Nemzeti Bestseller-díjat. A könyv sikerének egyik titka talán az lehet, hogy témája a mai oroszországi élet, mégpedig egy olyan területe, amelyet a szerző meglehetősen jól ismer: a regény főhőse, egy bizonyos Eberhard a Dél-kelet Moszkvai Adminisztratív Körzet Prefektúrája Sajtóközpontjának vezetője. Olyan ember, aki pontosan kitanulta a felső hivatalnoki réteg életének és boldogulásának minden csínját-bínját, megtanult tökéletesen alkalmazkodni a körülményekhez, ami szép lassan fel is emésztí a személyiségét. A regény „közéleti” szála e közeg pontos és hiteles bemutatása, bizonyos mértékig extrém körülmények között, amennyiben a regény cselekménye a moszkvai Dumába történő választásokat megelőző időszakban játszódik. A szerző e könyvében is él a mockumentary műfaji elemeivel, amennyiben egyfelől természetesen felhasználja saját biográfiájának és az ezredforduló utáni Oroszország társadalmi-politikai életének egyes tényeit (szereplőkként léptet fel valódi orosz politikusokat és politikai pártot), másfelől viszont nyilvánvalóan az írói fantáziára hagyatkozik mind a főhős élettörténetét, mind a moszkvai közéleti eseményeket illetően.

Van a regénynek mindemellett egy magánéleti szála is: a regény főhőse elvált, a második feleségével él, és kétségbeesetten harcol azért, hogy első házasságából született kislányával, a tizenkét éves Ernával fennmaradhasson a kapcsolata. Tulajdonképpen ennyi emberit tapasztalhatunk meg benne, meg esetleg azt, hogy időnként távcsövön keresztül szemügyre veszi a szomszéd ház ablakaiban felbukkanó embe-  
reket. A megjelenített világban azonban már ez is túlságosan sok az emberiből: Eberhard, aki fenn akar maradni, sőt sikeres akar lenni, egyúttal emberinek, becsületeseznek is akar maradni. Ez okozza a vesztlét.

Kérdésként merülhet fel, vajon mi indokolja ez a tisztán oroszországi történet a *Németek* címet. Első körben nyilvánvalóan az, hogy bár a regény főhőse orosz, ő és közvetlen hozzátartozói német nevet viselnek. A dolog azonban nyilvánvalóan mélyebb jelentéssel bír. Először is, a cím utal arra a helyzetre, amely Szentpétervár megalapításával és

a Nagy Péter-féle államigazgatási reformok bevezetésével valósult meg Oroszországban: az állami közigazgatást ellepték a német származású hivatalnokok, akik a tősgyökeres orosz világgal szemben külön kasztot alkottak. A gyűlöletes, idegen társadalmi réteg az orosz kultúrában szükségszerűen demonizálódott – nem véletlen, hogy az orosz irodalomban oly gyakran találunk német származású, német nevű szereplőt valamely ördögi figura megjelenítésére – Puskin Hermanjától Lermontov Wagner doktorán, Dosztojevskij Rutenspitz doktorán, Andrej Belij Todrabé-Graaben báróján keresztül Bulgakov Wolandjáig. Ez a hagyomány folytatódik Tyerehov regényében is. Mindez együtt jár az elembertelenedéssel, a mechanikussá válással is: az ember nem más, mint jól működő gépezet. Nem véletlen, hogy a főhős neve az egyik leghíresebb európai óramárkát (Eberhard & Co, alapítva 1887-ben, Svájcban) idézi meg, illetve hogy a regényben a németekre egyetlen alkalommal történik utalás, annak az ajtónak kapcsán, amelyet a főhős a lánya új szobájába akar beállítani: az ajtó hangtalanul forog, tökéletesen zár, öt év garancia van a szerkezetre, és természetesen németek gyártják. Az ajtó tökéletes, éppen csak nem enged közelebb ahhoz, akihez a legjobban kellene: a lányához.

Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy a Tyerehov által felépített világ – minden reális eleme ellenére – a maga embertelenségével, kegyetlenségével, kasztot képező hatalmi elitjével sokkal inkább a Szergej Kalegyin 1980-as évek végén írott „csernuha” (noir) irodalmára hasonlít, semmint reális világábrázolásra. Felmerülhet mind emellé a regénnyel kapcsolatban egy sajátos jövőkép, a realitástól éppen csak egy kicsit elmozdított antiutópia megalkotásának lehetősége is, amelyben az elembertelenedett, de tökéletesen működtetett hatalmi technikával rendelkező elit uralkodik a plebsz fölött, amelynek nincs már semmilyen élettere, semmilyen célja és vágya, legfeljebb a vegetáló túlélés.

2013-ban Tyerehov elbeszéléskötetet jelentetett meg *Gyeny, kogda ja sztal nasztojascsim muzscsinoj* (A nap, amikor igazi férfi lettem) címmel. A gyűjtemény meglehetősen vegyes témájú elbeszéléseket tartalmaz, abban azonban megegyezni látszanak, hogy az a noir irodalomra hasonlító szemléletmód, amely a *Németek*ben kibontakozott, ezekben

az elbeszélésekben is felbukkan. A címadó elbeszélésben, például, az én-elbeszélést folytató hős nem a címben provokatívan előrevetített intim témát, az első szexuális aktus történetét meséli el, hanem olyan egyetemi tornaórákat, amelyeket egy erőszakos, ellentmondást nem tűrő tornatanárnő vezetett, akinek terrorizáló magatartása az elbeszélő főhős férfias fizikumúvá válásához vezetett. A *Milliók* című elbeszélés főhőse egy vidékről származó, gazdag moszkvai vállalkozó, aki az elbeszélés elején vonatra száll, hogy visszautazzon a szülőföldjére, és ott, a képzelete szerint csöndes, vidéki, patriarchális környezetben házat vegyen magának, ahol reményei szerint nyugalomban töltheti napjait, pihenhet. Várakozásaiban azonban csalódnia kell már az úton is, de különösen a szülővárosában, ahol azt tapasztalja, hogy minden pontosan ugyanolyan lett, mint a rohanó, zajos, a modern civilizáció minden technikai vívmányával ellátott Moszkvában, csak kicsiben. A főhős neve az elbeszélésben Skr-ov, vagyis a teljes nevét nem ismerjük meg, lényegében névtelen, minden egyedinek látszó személyiségjegye ellenére is csupán egy a sok közül. Hiába vannak milliói, a környezetétől, ahol született vagy él, egyáltalán, a világtól mint olyantól nem szabadulhat. A realistának látszó elbeszélés szinte észrevétlenül így válik egzisztenciális allegóriává.

A 2013-as elbeszéléskötetben jelent meg a *Gipnoz* (Hipnózis) című novella is, amelynek magyar fordítását a jelen kötet is tartalmazza. A választás szempontja az volt, hogy a novella alighanem koncentráltan tartalmazza mindazokat a gondolati, koncepcionális, elbeszélés-technikai, nyelvi-stilisztikai jegyeket, amelyekről a fentiekben, Tye-rehov más műveivel kapcsolatban, már szóltam.

Az elbeszélés főhőse egy vidéki városban, szerény körülmények között élő, nyugdíjas, egykori óvodai dadus, akinek személytelenné, tucatemberré válása még egyértelműbb, mint akár a *Németek*, akár a *Milliók* című művek főhőseié. Tekintve, hogy neki már egyáltalán nincs is neve (a szövegben, amikor egy alkalommal telefonon beszélnek hozzá, és a narrációból kiderül, hogy kereszt- és apai nevén szólították, még ekkor sem derül ki, hogy mi ez a kereszt- és apai név). Az elbeszélésnek erőteljes a társadalmi érzékenysége. A főhős férje (egykori vasúti dolgozó), miután a fiuk és a lányuk kirepült a családi fészekből, rákban

meghal. A fiú a *Kurszk* tengeralattjárón teljesít szolgálatot, amíg a *Kurszk* katasztrófája be nem következik, és a fiúból nem marad más, mint egy emléktábla a házuk falán. A *Kurszk* tragédiájának mint hiteles történelmi eseménynek szerepeltetése a művet a mockumentary műfaj irányába tolja el. A lányuk egy moszkvai szállodában takarít, és a fővárosban úgy tud magának lakhatást biztosítani, hogy két hasonló társával együtt bérel egy egyszemélyes (!) albérletet, úgy, hogy a három nő három különböző műszakban dolgozik, így tudva megosztani egymás közt a lakást. Az idős asszony éli a kisnyugdijas emberek lehangoló életét: magányos, a szomszédokat alig látja, a kortársai meghaltak vagy súlyos betegek, ő maga is beteges, de igyekszik ellátni magát, és főként kiismerni a megváltozott, számára új, ismeretlen és ellenséges körülményeket. A mű első bekezdésében, az öregasszony házának leírása közben információt kapunk egy tipikus korrupciós helyzetről (hogyan „nyúlt le” egy egykori középületet nyomott áron a volt polgármester), az asszony férjének betegsége kapcsán pedig a lehetetlen egészségügyi viszonyokról és a hálapénz intézményének működéséről. Azok, akikről azt hihetnénk, hogy jól megy soruk ebben a világban, mint például a tévésztárok, szintén rettenetes életet élnek – a főhős a tévét nézve örömmel konstatálja, hogy mennyivel szebb, jobb, boldogabb és nyugodtabb az ő egyszerű élete a csodált tévésztárokéhoz képest. A világot minden szinten eluralta a haszonlesés, a tisztességtelen pénzszerzés, a lopás, a tudatlanok és elesettek (elsősorban az öregek) becsapása a legkülönbébb pénzszerzési trükkökkel és hazugságokkal: a hamis ígéretekkel teli telefonhívásoktól kezdve a hamis nyereseményeken, árleszállításokon, álbetegségeken és álraszorulókon keresztül a besurranó tolvajokig, ál orvosokig és álrendőrökig. És hogy még elviselhetlenebb legyen a helyzet, a várost, főként a piacát, ellepték a „feketék” – a közép-ázsiai és kaukázusi idegenek. A körkép, amelyet a szerző megrajzol, abszolút realistikusan mondható elemekből épül fel, az elemek tudatos összeválogatásával és egy csokorba kötésével, következőképpen az enyhe túlzással azonban az ábrázolás a realistól elmozdul a naturális, vagy még inkább a noir irodalom felé. Minden realistikusan látszik, de mégsem az, pontosan úgy, ahogyan az elbeszélésben az öregasszony megfogalmazza magának: „minden – gonosz átverés”, „A hazugság úgy nézett

ki, mint az igazság”. A reális világnak az elviselhetetlen világ képe felé való elmozdítása ahhoz vezet, hogy a világot pokolként kell felfogni, amelyet a szerző egy hosszú felsorolásban felvonultatott embercsoportokkal népesít be.

Ebbe a dokumentarizmustól a noir irodalom felé elmozdított ábrázolásba illeszkedik bele az a szintén valóságosnak vélhető elem, hogy az „elvadult élet” mindent tud a főhőshöz hasonló kisemberről: „A lakása, a háza falai mintha üvegből lettek volna: közszemlére téve élt.” A piacon mellé csapódó ismeretlen, csaló asszonyosság tudja, ki volt a férje, egy fantasztikus gyógyszervásárlási lehetőséget kínáló telefonos ügynök pontosan ismeri az orvosi leleteit, tudja, mennyi pénzt vett ki az előző napon a bankkártyájával az automatából. Az öregasszonyt mintha mindenütt a Nagy Testvér mindent látó szeme figyelné – ebből a megfigyelésből éppen csak az Orwell-féle pátoz hiányzik: ebben a világban minden szánalmas, középszerű, sekélyes. És persze személytelen. Nemcsak arról van szó, hogy sem a főhősnek, sem a többi szereplőnek (a mű végén felbukkanó álrendőrön, Olegen kívül) nincsen neve, hanem arról is, hogy a szerző (Anderej Platonovhoz hasonlóan) következetesen összemosza a szövegben az élő-élettelen kategóriákat: az öregek becsapásában segítséget nyújtó jelenségek felsorolásakor minden további nélkül egymás mellé, egy szintre kerülhetnek a lépcsőházak újfajta ajtózárai, a postások és az ingyenes újságok; a veszélyes jelenségek között ott találhatjuk az „állami címeres, fenyegető borítékok”-at is, ahol is az élettelen tárgy (boríték) szemantikailag élő főnévhez tartozó jelzőt (fenyegető) kap; a besurranó tolvajnával együtt lévő kisgyermekre az öregasszony úgy gondol vissza, mint eszközre (tudniillik a becsapás eszközére). Az élő-élettelen kategóriák összemosása fordítási szempontból is problematikus jelenség: a csupa élettelen jelenséget jelölő felsorolásban felbukkanó, élő személyt jelentő „postások” szó „idegen testként” mutatkozik meg a szövegben; a „fenyegető boríték” jelzős szerkezetet a magyar olvasó akár fordítói hibaként is értékelheti; a «ребенок не в счет, инструменты не в счет» kifejezés fordítására pedig a korrektnek tetsző, de az eredetivel ellentétben nem túl gördülékeny „a gyerek nem számít, az eszköz nem számít” variációnál jobbat, sajnos, nem sikerült találnom.

Nyelvi szempontból azonban a legnagyobb problémát a szerző elbeszélői módszere, polifónikus eljárása, az állandó közbeékelések és ennek megfelelően a nézőpontváltások, valamint az ezzel együtt alkalmazott, a beszélt nyelvet imitáló, hiányos szintaktikai szerkezetek, sajátos „összevonások”, „sűrítések” jelentették. A felsorolt fordítási nehézségek mindegyike alapján véve arra a fordításelméleti megfontolásra vezethető vissza, amelyet Henri Meschonnic fogalmazott meg a *Fordítás-poétika. Irodalom és fordítás* című írásában: „Míg az irodalmat mindig is a hagyományokban gyökerező és azok ellen forduló feltalálásként (invention) értették, és csak ekként fogadták el, a fordítást, e könyvpiaci epigonságot olyan tevékenységi körnek tekintették, amelyben a hagyomány nem egyszerűen jelentősebb szerepet tölt be a feltalálásnál, hanem egyenesen a feladat és a siker kizárólagos feltételeként nyilvánul meg. [...] Következésképpen a célnyelv egy ismert, tudott, passzív, már átalakított nyelv. Emiatt kerül szembe leginkább az irodalmi művel, ami csak akkor az, ami, ha tevékeny (actif), alakító (transformateur) nyelv, és az is tud maradni.”<sup>28</sup> Vagyis: a szépirodalmi mű nyelve éppen attól szépirodalmi nyelv, hogy a hagyományba ágyazottan ugyan, de képes újításokra, a nyelvhagyománnyal való szembefordulásra (vagyis aktív), mindenekelőtt azért, mert a szépirodalmi mű célja a mű megszületéséig még nem létezett dolog megfogalmazása, a kifejezhetetlen kifejezése, valamely imaginárius jelenség nyelvi formába öntése.<sup>29</sup> Ezzel szemben a fordítás nyelve passzív, mert a meglévő irodalmi nyelvet kell használnia, miközben nyilvánvalóan törekednie kell az eredeti mű ama imagináriusának visszaadására is. Nyilvánvalóan abszurd, lehetetlen vállalkozás. Ha ugyanis a fordító az eredetivel adekvát nyelvi újításokat hoz létre, a célnyelv olvasóközönsége az újításokat nem újításokként, hanem a fordító nyelvi hibáiként (félfordításként, nehézkes stílusként, értelmetlenségként) fogja értékelni. Amennyiben azonban a fordító nem törekszik az eredeti szöveg nyelvi újításainak visszaadásá-

<sup>28</sup> Henri Meschonnic: *Fordításpoétika*. In: Józán–Jeney–Hajdu (szerk.): *Kettős megvilágítás*. Budapest, Balassi, 2007, 404.

<sup>29</sup> Lásd ezzel kapcsolatban: Wolfgang Iser: *A fiktív és az imaginárius*. Budapest, Osiris, 2001.



ra, nyelvi szempontból szegényes, unalmas, jelentéktelen, végső soron az eredetivel nem adekvát fordítást hoz létre.

Mindennek fényében lássunk néhány jellegzetes példát a Tyerehovszövegből.

#### 1. Közbeékelések, folyamatos nézőpontváltások

a) Как же вам повезло, что мы именно вас встретили! Открывается новый магазин, и – всем подарки! Вам уют! – говорили наперебой, как артисты, и так радовались за нее – сынки мои, – что и она обрадовалась, дала им две тысячи, так полагалось, оказывается, если тебе дорогое дарят, и потащила яркую коробку домой, посмеиваясь: на старости повезло... Деду бы рассказать!

Ebben a rövid bekezdésnyi szövegben legalább három nézőpont váltakozik egymással, minden különösebb átmenet nélkül: előbb a fehér inges csalók szólalnak meg, az ő nézőpontjukat felváltja egy neutrális, E/3 elbeszélő kommentárja, amelybe beleékelődik az öregasszony replikája («сынки мои»), amelyet újra felvált az E/3 elbeszélő, akinek replikája észrevétlenül „átfolyik” az öregasszony belső monológjába («так полагалось, оказывается, если тебе дорогое дарят»), majd újra következik az E/3-as elbeszélő, hogy a bekezdést újra az öregasszony megszólalása («на старости повезло... Деду бы рассказать!») zárja le. Mindez azonban úgy valósul meg, hogy mind a csalók, mind az öregasszony, mind az E/3 elbeszélő megszólalása mintegy valamely „szerzői szó” függő beszédjeként funkcionál, annak van alárendelve.

b) да, всё поняла и буду осторожней, но три дня она еще носила обратно запакованный уют по той улице, и потом – всегда ходила той улицей, высматривая румяных ребят, мечтая: вы же ошиблись; и они: да мы и сами уже поняли, замучились вас искать. Они же были в белых рубашках!

E bekezdésben szintén a sokszoros, minden átmenet nélküli nézőpontváltást és megszólalást tapasztalhatjuk (sorrendben: az E/3 elbeszélő vagy az öregasszony, az E/3 elbeszélő, az öregasszony, az E/3 elbeszélő, a csalók, az öregasszony vagy az E/3 elbeszélő). A példa elejéből és végéből jól látszik, hogy Tyerehov olyan konstrukciót hoz létre, amelynek során nem is feltétlenül dönthető el egyértelműen a megszóló

láló kiléte, pontosabban a szerző az alkalmazott szerkezettel szándékosan elbizonytalanítja az olvasót a beszélő kiléte felől. Mivel az idézett rész előtt az E/3 elbeszélő beszél, a folytatásban («да, всё поняла») az olvasóban az az elvárás keletkezik, hogy a következő replika is az E/3 elbeszélőhöz tartozik, vagyis az olvasó a «да, она всё поняла» megszólalásra számít, miközben a replika folytatása («буду осторожней») az előző szókapcsolat («да, я всё поняла») utólagos, visszamenőleges hatályú értelmezését is lehetővé teszi. Mivel az oroszban a «поняла» igealak homonímiája miatt az E/3 és az E/1 grammatikai forma egybeesik, a magyarban viszont nem („igen, mindent megértett”, illetve „igen, mindent megértettem”), a nézőpontváltásnak, illetve a megszólaló személye változásának ezt a kettős (elbizonytalanító) jelentését a fordításban visszaadni nem lehet. Hasonló a helyzet az idézett rész utolsó mondatával is: az előző replika («замучились вас искать») nyilvánvalóan a csalókhöz tartozik, ily módon a gondolatmenetet lezáró mondat («Они же были в белых рубашках!») egyaránt tartozhat az E/3 elbeszélőhöz is, az öregasszonyhoz is. Attól függően, hogy az olvasó melyik megszólalót feltételezi a megszólalás mögött, változik a mondat értelme, illetve érzelmi töltése: az E/3 esetében tényszerű megállapításról van inkább szó, míg az öregasszony esetében mindarról a jelentéstöbbletről, arról az emléktöredékről és élményről is, amit az elbeszélésben az öregasszony a fehér inggel kapcsolatban felidéz.

2. A számtalan hiatusos szerkezetre, összevonásra, sűrítésre is hoznék egy jellegzetes példát. A szöveg azon részében, amikor az öregasszony számba veszi azokat a tényezőket, amelyek az elesett és tudatlan öregek kifosztását, becsapását segítik, a felsorolásban szerepel egy képzetes is felfogható kifejezés: «расположение клавиш доступа на душах», amelyet – jobb híján – „a lelkük húrjaihoz való hozzáférés”-nek fordítottam (szó szerint talán azt jelentheti a szókapcsolat, hogy a „lelkükön a hozzáférés billentyűzetének elhelyezkedése”). A kifejezést hajlamos vagyok alapvetően képzetesnek kezelni, olyan képzetesnek, amelyet egy idős, nem túlságosan művelt asszony, azon törekvéseben, hogy valami költőien szépet és metaforikusait mondjon a lélekkel (az idős emberek lelkével!) kapcsolatban, némiképp belezavarodik a mondatjába, és kisül belőle ez a szó szerinti képtelenség, amely azonban

mégiscsak utal rá, hogy valójában mit is szeretne kifejezni: hogy tudniillik a csalók birtokában vannak azoknak az érzelmekre, pszichikumra, emlékekre stb. stb. ható eszközöknek, amelyekkel mintegy játszanak az idősek lelkének húrjain (ezért bátorkodtam a fordításban a „lelkük húrjai” kifejezést használni), ezt használva fel a pénzük kicsalásához. Ugyanakkor a zavaros képben benne van a szereplő gondolataitól független szerzői szándék is: a lélek és a zene közötti – feltételezett – harmónia megbomlásának érzékeltetése a lelken játszó billentyűkkel, a mechanikusság bevonásával, mintegy a gépzongora megidézésével.

Az elmondottak alapján, gondolom, nem hat túlzásnak, ha azt állítom, hogy Alekszandr Tyerehov a kortárs orosz próza egyik legmélyebben gondolkodó képviselője, prózapoeitikájában pedig alighanem a legbonyolultabb, legösszetettebb, a legjobb orosz prózairói hagyományokat követő elbeszéléstechnika művelője.

Zahar Prilepin

## GYUFA ÉS DOHÁNY, MEG MIEGYMÁS

A korlátnál egy kisfiú állt, bámulta a semmit meg a borongós időt. Zseka Pavlenko a Cskalov-émlékműnél talált rám.

Itt, a magaslaton, a Kreml tornyánál, ahonnan a Volga és az Oka összefolyására lehet rálátni, még a júliusi forróságban is előfordult, hogy hűvös volt, május elején pedig... Május elején csontig hatoló szél fújt mindenfelől, és mintha megmámorosodott volna saját korlátlan szabadságától. A lányok könnyű ruhában nem is merészkedtek errefelé. A karimás kalapok örökre a túlpartra szálltak. Már a víz látványa is megfázás, influenza és egyéb légúti betegségek előérzetét keltette.

Pavlenko ennek ellenére – hogy nem vitték be az őrre? – egy időtlen, lenge pelerint kerített magára; amíg közeledett, próbáltam rájönni, mi is volna az rajta, és az első, legképtelenebb feltételezésem bizonyult igaznak: Zseka egy sűrű szövésű, nem túl hosszú sötétítőfüggönyt kapott magára, amelyre valami viszonylag éles eszközzel vágott lyukat a fejének.

Még jó, hogy a függöny egyszínű volt: zöld.

Valami beazonosíthatatlan övfélével ügyesen körbe is kötötte magát, a karja viszont válltól lefelé fedetlen maradt, ráadásul mindkét oldalán kilátszott vékony, erős, néhány tetoválásokkal és hegekkel tarkított fehér teste.

Nem fázott, és vidámnak tűnt.

Pislantottam, és végre becsuktam tátva maradt számat.

– Zseka, ez meg micsoda? – kérdeztem halkán, és körbekémleltem: a csendőröknek már inuk szakadtából kellett volna szaladniuk felé.

– Micsoda, micsoda – figurázott ki színlelt ingerültséggel Pavlenko. – Egy izé – és fájdalmasan mellbe bökött. – Nincs meleged?! Rajtad van a pulóverem!

Pavlenko tegnap este érkezett Nyizsnyijbe Pityerből, haza hozzánk nem hívhattam: a feleségemmel, a kisfiammal meg az anyósommal nagyon szűkösen éltünk – a barátom csak a sarokban állva alhatott volna meg; ezért kivettem neki egy szobát a legolcsóbb hotelban, amit természetesen én fizettem, mivel Pavlenkónak nem volt egy vasa sem; és a szállást mellesleg a saját nevemre foglaltam, merthogy személyije sem volt.

Este kiraktunk az ágyára néhány almát meg egy darabka sajtot, majd, mi sem természetesebb, leittuk magunkat. A szobában meg lehetett fulladni, megállás nélkül cigiztünk, úgyhogy a második üveg vodkához már bajtársiasan félmeztelenre vetkőztünk, és amikor éjfél után éppen ideje volt szétválnunk, véletlenül Pavlenko pulóverét vettem magamra: nekem is volt egy ilyenem – egy viseltes, fekete, katonai garbós –, csak éppen otthon.

Pavlenko egy szál pulóverben érkezett, váltóruhát sem hozott magával, úgyhogy amikor reggel magához tért, rájött, hogy a helyzete bár nem tragikus, de nem is egyszerű: a számom nem volt meg neki, mert akkoriban egyikünknek sem volt telefonja, és még a címemet sem tudta.

Ráadásul a szobát is el kellett hagynia: valahogy úgy emlékeztem rá, hogy a szobát déli 12-ig vettem ki, de kiderült, hogy csak reggel 9-ig.

– Gyerünk, vetkőzz! – parancsolt rám Pavlenko a Cskalov-émlékműnél.

Megosztoznom a ruhán, főleg hogy nem is az anyém volt, nem okozott gondot: dzsekiben jöttem, és a pulóver alá felvettem még egy fekete trikót is.

Közelebb mentünk a nyizsegorodi Kreml falához.

Sandán pillantgattak ránk, mi azonban sietve megvalósítottuk, amit elgondoltunk. Magamon hagytam a trikót meg a dzsekit, Pavlenko pedig felöltötte a pulóvert, amely igen jól állt neki. A függönyt nem hajította el, hanem a vállára vetette.

– Poncsó – magyarázta. – Hasznos holmi.

Kitört belőlem a nevetés. Tényleg vicces volt.

– Hogy találtál rám? – kérdeztem nevetve.

– Ki mondta, hogy kerestelek? – felelte Pavlenko a maga nem sértő, hanem merőben baráti, gunyoros stílusában.

Hangja magabiztos, kölykös, magas, kicsit rekedtes volt, arca intelligensnek is tűnhetett volna – finom ajkak, vékony, egyenes orr, hosszúknak koponya –, ha nincs a szemtelen viselkedése, kihívó tekintete és kopaszra nyírt feje.

– Az a nő a recepción nem látott meg? – érdeklődtem.

– Dehogynem – válaszolta komolyan Pavlenko, és rám bámult világoskék szemével. – Jobb lett volna, ha meztelenül jövök ki az utcára?

– És rájött, hogy a függönyt húztad magadra? – faggatóztam tovább.

– Mit tudom én? – legyintett Pavlenko. – Tudod, hátradőlt a széken, és egészen... megbabonázottan meredt rám. Ráköszöntem, de nem viszonzta. Tiszta provincia.

Még elnevetgélünk egy darabig.

– És te mit csinálsz itt? – kérdezte Pavlenko, és hunyorogva szemlélte a vizet, a kikötőt és az Alekszandr Nyevszkij-templomot. – Ilyen korai órán?

Kissé zavartan megvontam a vállam:

– Hozzád indultam.

– De hiszen te nem is jöttél, hanem álltál – jegyezte meg Pavlenko.

– Sétálgatom a gyereket – vágtam rá, de azonnal rájöttem, hogy nem éppen helyénvalóan.

– És hol a gyerek? – tudakolta továbbra is ugratva Pavlenko, és hol engem vizslatott, hol jobbra-balra tekintgetett. – Csak nem „jaj, otthon felejtetted”? Vagy a buszon?

– Mit kötözködsz, Pavlenko? – játszottam meg, hogy méregbe gurulok. – Nem mindegy neked, hogy mit csinálok? Nézelődöm... Versekét olvasok. Gyakran járok ide.

Pavlenko értelmes képet vágott, és teljes komolysággal bólintott: válaszomat váratlanul kielégítőnek találta.

– Van egy cigid? – kérdezte.

Felé nyújtottam a paklit; rögtön két szálat is kivett, az egyiket a füle mögé dugta.

– És gyufád?

Adtam egy dobozzal.

Pavlenko megrázta, van-e benne.

– Mi az a könyv a zsebedben? – kíváncsiskodott.  
– Mondtam már, hogy versek – feleltem, és deklamálva folytattam:  
„...A málhazsákban gyufa meg dohány, Tyihonov, Szelvinszkij, Pasz-  
ternák”.

– Tényleg így van?  
– Hát... Nem igazán. A málhazsákba mi való? – Gumiljov, Jesze-  
nyin, Lu-go-vszkj.

Pavlenko ismét rábólintott. A meggyilkolt, az öngyilkos és a súlyo-  
san megtört életpályájú orosz költők társaságát valószínűleg megfele-  
lőnek érezte.

– Hogy lehet úgy élni, ha se dohány, se pénz, miközben poncsódon  
átszív a szél? – idézett egy ismeretlen költőt, majd minden átmenet  
nélkül szigorúan megkérdezte: – Adsz valamit enni?

\*\*\*

– Szóval, nem? – kérdezte Zseka a kávézóban, miközben a pelmenijét  
kavargatta a cserépedényben, és nem figyelt arra, ahogy széttöltöm a  
vodkát.

A poncsó a széken lógott. Már csak egy ló hiányzott az összképből.

Pavlenko pityeri nemzeti bolsevik volt, régi harcostárs, legalább  
nyolc különféle bűncselekményt követett el, mint visszaeső ellenzéki  
huligán; bős „balos” és hithű orosz imperialista, következképpen az  
akkori államrend fogalmai szerint semmirekellő briganti.

Tudtam, hogy az orosz költészet, valamint Jünger és Céline jó ismer-  
ője – kedvenc könyve az *Utazás az éjszaka mélyére* volt.

Hívó ember volt, minden böjtöt megtartott, egykor megtanult fran-  
ciául, és abból tartotta fenn magát, hogy a Pityerbe tévedt franciákat  
oroszra tanította.

A Kreml egyik tornyában telepedtünk le, a kétszintes kávézó is a  
Torony nevet kapta, és az emeleten találtak is nekünk szabad helyet.

A kávézó belseje vakolatlan kő volt, a falait vörös terméskőből rak-  
ták, ezért itt mindig pinchűvös honolt: nyáron kellemes itt elüldög-  
élni, tavasszal már kevésbé. Kettőnk közül azonban csak én fáztam.  
Zsekának szokás szerint melege volt.

– Nem, Zseka. Én egy évvel ezelőtt levettem az uniformist, és töb-  
bet nem lövöldözök. Meg hát fegyverem sincs. Ezért nem is adhatok,  
meg felhajtani sem fogok neked.

Zseka sértődöttség nélkül rábólintott.

– Mi meg azt gondoltuk, hogy hoztál a csecsen háborúból – felelte  
egyszerűen.

Nem szóltam semmit. Már mondtam neki, hogy nem hoztam.

– Hol lesz a következő háború? – kérdeztem, hogy ne térjünk rá  
vissza később, ittas állapotban.

– Mindenütt – felelte mosolyogva Pavlenko. – Kazahsztánban, Uk-  
rajnában, a Baltikumban. Itt.

– Nyilván. De majd csak később. És legközelebb?

Pavlenko megvonta a vállát, mintha nem tudná. Valójában persze  
tudta.

Megemelte a kupicáját, és szótagolva megismételte az első lehetősé-  
get, amelyet ő maga vetett fel.

Először figyeltem fel rá, hogy a hangtalanul ejtett „Kazahsztán” szó  
három haltátogásra emlékeztet. Vagy az úszó három sóhajtására, mi-  
előtt nagyon mélyre merülne alá a vízbe.

Zseka és nemzeti bolsevik testvéreink a szomszédos ázsiai köztársá-  
ság északi részén készültek harcba szállni. Úgy vélték, hogy számtalan  
jogfosztott orosz várja és támogatja majd őket.

Az ötletet remeknek véltem, akárcsak egy sziklaugrást; de ez alka-  
lommal én nem akartam ugrani, és ezt nem rejtettem véka alá.

Huszonöt évesen a korai halált már nem tartottam vonzó perspek-  
tívának. Ez az érzés, amely nem is olyan régen még távol állt tőlem,  
váratlanul kerített hatalmába, mintha tudatom egy új, ismeretlen része  
lépett volna működésbe, amely eddig semmiféle funkciót nem töltött  
be, csak szunnyadt valahol.

Úgy tűnt, Zsekának mindegy volt, mi zajlik bennem: meglehet, azt  
gondolta, jogomban áll nem foglalkozni azzal, amivel ő akar, ha egyszer  
nemrégiben én elég sokáig csináltam ezt, ő pedig még sohasem.

– „...A málhazsákban... gyufa és dohány...” Hogy van tovább? –  
kérdezte Pavlenko, miközben a nagy, a mutató és a középső ujjá közé  
fogva felém nyújtotta a kupicát.

Az arca ragyogott. Fogai, noha nem voltak éppen kicsik, sűrűn sorakoztak egymás mellett. Szája – minden bizonnyal a beesett, fegyenc-létet tükröző arca miatt – nagynak tetszett.

– „...A málhazsákban... valahol lent az alján... Majakovszkij, Hlebnyikov, Mandelstám...” – fejeztem be.

Koccintottunk, a fejünket egyszerre hátravetettük, és minderről megfeledkeztünk.

Amikor legurítottam a vodkát, én összehúztam a szememet. Pavlenko viszont tágra nyitotta.

Szeme vérekes volt: a sok alkoholtól meg a kevés alvástól.

Arra gondoltam, hogy az én szemem ugyanígy nézhet ki. De ördög vigye, úgysis elmúlik – az élet hosszú; az enyém legalábbis az.

Gyorsan és élvezettel tömtem magamba a pelmenyit.

Felhajtottunk még egy vodkát, majd rögtön rá még egyet, mintha utol akarnánk érni valakit. Annál is inkább, mivel a kupicák szokatlanul kicsik voltak.

– Minek neked ennyi vers? – kérdezte Pavlenko, alaposan megrágva a fekete kenyeret.

A konyhában valaki elejtett egy üres tálcat.

– Azt tudom, hogy nekem mire kellene, ezért kérdezlek téged – ismételte meg Pavlenko, mert mindketten elfelejtettük, hogy mit választottam.

– Meg még hogy... – feleltem bizonytalanul. – Meg azért, mert...

Félretoltuk a haszontalan kupicákat, és a metszett vizespoharakba töltöttük a vodkát – belemerültünk a szivárványba, a túloldalán pedig előbukkantunk.

– ...minden új költő a költészetben belülről nő ki, valahol ott van a mélyében, belőle táplálkozik, növekszik, majd – ha meg akarod nézni, kifoghatod – magyaráztam Zsekának. – Egy sor Gyerzsavintól, egy sor Annyenzskijtől, egy sor Bloktól – attól függően, hogyan húzod ki a hálót, – még egy sor Szluckijtől, és íme – már elő is bújik ez az új, régen várt versfaragó: felszínre bukkan bohém kobakja. Csapdos a farkával. Rábukkansz a vízen hagyott nyoma alapján... Oroszországnak feltétlenül szüksége van egy költőre. Egy szentre, egy vezérre. Szüksége van rá.

Pavlenko egyetértett.

– Azonkívül fegyverre – tette hozzá. – Sok fegyverre. Legalább tíz puskára.

Az alkohol hatására testét nem is pötytyök, hanem vörös csíkok borították el – mintha, mondjuk, deszkákon aludt volna; vagy egy dühös nőszemély többször megütötte volna a kesztyűjével, mialatt ő csak nevetett.

Elhagytuk a Tornyt, és mivel pénzünk nem nagyon volt, csak némi aprót hagytunk borraivalónak; kimentünk a buszmegállóba és felültünk az első buszra, ami jött: meg akartam mutatni Zsekának a rakpartot, a vizet és letről a nyizsegorodi Kremlt.

Felszállt a buszra még egy hozzánk hasonlóan elázott férfitársaság: három pacuhán öltözött fickó műbőr dzsekiben, olcsó pulcsiban, koszos cipőben.

Az egyiket alaposabban is szemügyre vettem: korombeli volt, vagy kicsivel idősebb nálam, és valamivel alacsonyabb is; bal arcán ívben sebhely húzódott végig az orrától lefelé. Szeme szokatlan orgonaszínű volt. Ellenzős sapkáját a tarkójára tolt, alóla selymes szálú, vöröses haj kandikált elő. Dzsekije széttárva. Kezében megkezdett sörösüveg.

A fazon mosolygós volt, és bizonyos helyzetben nyilván veszélyes is. Zsekával beálltunk a busz végébe.

A társaság két tagja, így ez a sebhelyes, vörös alak is, a legközelebbi ülésre ült le. A harmadik nekünk háttal állt, és össze-vissza hadonászva mesélt valamit. Néha dülöngélni kezdett, ilyenkor a vörös hajú fickó oda sem nézve, a dzsekijénél fogva elkapta, és egyenesbe állította.

– Milyen aljas dolog... Igaz?! – kérdezett vissza a mesélőre mosolygva, és időnként ránk is gyors pillantásokat vetett.

Arra jutottam, hogy csak ürügyet keres, hogy belénk köthessen.

Még mielőtt megtapogattam volna a bal zsebemet, ellenőrizendő, hogy nálam van-e a bokszerem, eszembe jutott, hogy otthon kiraktam: Pavlenkót talán már figyeli a titkosszolgálat – nem hiányzik, hogy nálam legyen, ha esetleg elkapnak. Csak a verseskötet lapult a zsebemben. Egy kicsit kilátszott a gerince.

Amikor a vörös mosolygott, az arcán a sebhely kellemetlen érzést keltett bennem: a mosolya mintha kígyózva mozgott volna az arcán. Vagy csak a részegségem miatt tűnt úgy.

Olykor szaggatottan, felettébb magabiztosan, hangosan, de nem kihívóan felnevetett: úgy tűnt, nem is annyira a társa történeteinek, mint inkább alkoholos mámorában.

Azon kaptam magam, hogy minden alkalommal elfordítom a fejem, nehogy arról kelljen meggyőződnöm, hogy rajtam vagy rajtunk nevet, noha ez korántsem volt így.

A helyzet azonban nem izgatott különösképpen: a sebhelyes arcú fickó társai – az, aki alig állva a lábán dülöngélt, meg a másik, aki már belefáradt álló társa hallgatásába, és fejét az ablaküvegnek támasztva hiába próbált elaludni – nem látszottak alkalmasnak olyan ellenállásra, mint a vörös hajú.

Pavlenko ügyet sem vetett rájuk, hanem színesen, kissé hangosabban, mint az a buszon illendő lett volna, mesélte egyik kellemetlen kalandját: minden rendőrségi ügye meglepően vidám volt – először is mert végtelenül szellemesen tudta előadni őket, másodsor mert egyszer sem tudták lecsukni, holott már régóta rács mögött lett volna a helye.

Egyszer például igencsak mulatságosan, minden keze ügyébe eső eszközzel, mint, mondjuk, műanyag üvegekkel és sörösládákkal ment neki a rendőröknek, majd elszaladt, és olyan magasra mászott fel egy fára, hogy képtelenek voltak leszedni onnan: a szolgálatot teljesítő járőrök három teljes órán át szobroztak, végül elmentek, mert nem volt kedvük kihívni a tűzoltókat; kormányellenes lózungokat pingált a városvezetés falára – otromba, szétfolyó betűkkel, amelyeket mindig még csak nem is pusztán igei, hanem mozaikrímekbe foglalt; paradicsommal dobált meg egy magas rangú NATO-hivatalnokot, aki Oroszországba látogatott, és megint csak elmenekült; és noha a nyomozóknak több száz fotója volt róla, amelyek bejárták a világsajtót, mégsem tudták elkapni; egy zűrös találkozón odalépett az ország első elnökéhez, egy deresedő, orrhangon beszélő szörnyeteghez, és halkán, mint ha csak szomszédjához szólna a lépcsőházban, egyenesen a szemébe mondta: „Eláslak, te rohadék, úgyhogy jobban teszed, ha te ászod el magad, megértetted?”

A megállóban Zseka meg én nem is hogy leszálltunk, hanem úgyszólván kigurultunk a buszból, csak úgy zörögtek erős, vas csontjaink.

A három fickó is kiugrott utánunk.

Itt, a rakpart mellett még jobban fúj a szél, mint a Kreml falai között, ezért Pavlenko elegánsan kibontotta poncsóját, és beburkolózott vele.

– He! Nézd már, milyen divatos terítőt aggatott magára az a faszi! – kiáltott egyikőjük, talán az, amelyik egész úton háttal állt nekünk.

Zseka hirtelen megfordult – amazok vagy tíz méterre voltak tőlünk: lemaradtak, mert rágyújtottak, máskülönben valamelyikük kapott volna a képébe, minden bizonnyal az, aki legközelebb esett hozzánk.

– Ki volt az? – kérdezte Pavlenko hangosan, és azonnal a trojka felé lépett.

A műút mellett álltunk; sietve elképzelttem, hogy öt ember, köztük én is, mindjárt ide-oda fog ugrálni, pocsológyűlöletben gázolni, és akadályozni a forgalmat. A tömegközlekedéssel utazók ellenségesen méregetnek, a személygépkocsik vezetői meg idegesen dudálnak majd. Mindez nagyon is vagány, ugyanakkor némileg kínos dolognak is tűnt.

Választásunk azonban nem volt, pontosabban, nem adtunk más opciót magunknak.

Valóban az szólt be – habár eléggé visszafogottan –, aki a buszban mesélt; most valamiért a vörösre bámult, az meg ránk. Sebhelye bordószínűvé vált, fénylett, orgonaszeme mellett vörösese feje úgy nézett ki, mint egy sildes sapkát viselő, veszélyes karácsonyfadísz.

A vörös hajú szemében nem volt sem csodálkozás, sem félelem, sem rosszindulat, talán inkább csak kíváncsiság. Egy tapodtat sem kívánt hátrálni, de furcsa módon nem is akarta tovább élezni a helyzetet.

Kezét nem szorította ökölbe, de annak csálóka ernyedtsége éppen hogy arról a lendületes készenlétről árulkodott, hogy ujjait bokszerként használja, és villámgyorsan kiverje valakinek a kisfiús, kék szemét.

„Orra benyomódott, akárcsak a bokszolóké” – vettem észre már túl későn.

Pavlenko mindjárt megüti a legnagyobb szájút – jutott el a tudatomig –, aztán a vörös meg benyom egyet Pavlenkónak.

Nekem a vörösre kellett volna támadnom, de esélyeink gyors mérlegelése, amelyet elvégeztem, már nem a javunkra állt.

A vörös egyáltalán nem tűnt olyan embernek, akit le tudnék teperni.

Ekkor váratlan körülmény szólt közbe: kellemetlen csikorgással lefékezett mellettünk egy rendőrségi GAZ: a járőrök gyakorlott szemmel mérték fel a fiatal emberek között éppen csak elkezdődött szóváltás további menetét.

Pulcsijánál fogva megragadtam és hátrahúztam Pavlenkót, aki először látható ingerültséggel próbált kiszabadulni, de amikor megpillantotta a rend éber őreit, rögvest széles mosolyt erőltetett magára, és szinte nálam is sebesebben iramodott el a lakóházak udvarai felé.

– Húzzanak a picsába! – vezényelte az első ülésen helyet foglaló rendőr.

Amint hátranéztem, megpillantottam bajszos, petyhüdt arcát, valamint a három nyomorult főtörzszászlósi csillagot a váll-lapján.

„Kövér, ráadásul főtörzszászlós – nem egyszerűen régóta, hanem nagyon régóta szolgál, vagyis nemcsak hogy bunkó, hanem szörnyen lusta is, és biztosan nem fog utánunk szaladni, annál is inkább, mert oka sincs rá” – suhant át az agyamon, amikor azt láttam, hogy a vörös a parancsra válaszképpen szemtelenül, két ujját a homlokához emelve, tiszteleg a rendőrnek.

Amikor a rendőrautó elindult, a vörös előrenyújtotta a karját, és ugyanazzal a két ujjával lövést imitált:

– Piff! Paff!

Menőző volt, persze, de nagyon szimpatikus. Ezt el kellett ismernem.

\*\*\*

– Észrevetted már, hogy ha sokáig gondolsz valamire, mint egy elmebajos, és fennhangon is csak ezt ismételteted, akkor minden... ha nem is beteljesedik, hanem mintegy eljön hozzád? És elkerülhetetlenül? – tettem fel a kérdést.

Nem mentünk ki a rakpartra, hanem mert félszáz méter után ele-günk lett a szélből, befordultunk egy olcsó csehóba.

„Teát és két deci konyakot!”

– Érted! – nevetett Pavlenko – Eljön, de nem hozzád, hanem érted! Azt akarod mondani, hogy a zsernyákokra gondolok?

Hátradőlt a széken, és hunyorogva nézett rám valahonnan a távol-ból, teszem azt, mintha egy fán ülne.

Részegségem hamarosan a tetőpontjára hágott – mintha huzatot, forró vizet, bragát, nevetést, verseket, beszélgetéseket, visszhangot és visszfényt töltögettek, töltögettek volna belém, míg végül teli nem lettem: a rendőrautó és a mentőautó némán villogott, a tökéletes alakú, sötét hajú, fekete szoknyás lány lassan táncolt, szoknyája és blúza alól elősejlett, igen, elősejlett boldog, gyötrelmes, de mégis boldog életem, viszont hirtelen kiléptem a vibráló körből, és megjelent egy kopaszra borotvált ember, egy szinte még kölyök, vagy egy örökké fiatalos férfi, azzal az ismerős, összeszabdalt tarkóval: kiterült a földön, ott, ahová esett, mintegy alá akarván merülni, csak nem tudott a víz alá bukni, úgyhogy az innenső parton maradt, rengeteg repesz oltotta ki az életét, és az egyik a mellén hordott könyvet találta el, amelyik végül is nem tudta megvédeni; aztán a vörös fickó állt elém, nem volt világos, miből jöttem rá, hogy vörös, biztosan nem a bakancsából, hiszen mezítláb volt, még zokni sem volt rajta, és valamiért szörnyen megsajnáltam a lábát, mintha a legkedvesebb láb lett volna, még csak nem is a bátyámé, hanem a fiamé; kezdetben nem értettem, miért a lábfejét, a térdét látom, csak nem ilyen magas növésű, majd rájöttem, hogy egy hokedlin áll előttem: mezítláb és hokedlin, – „Vajon miért áll hokedlin?” – gondoltam magamban, de ellökte magát a lábával, és a hullámokon ringatózva úszni kezdett.

... ő közelről hallotta a motívumot, én meg alig-alig...

Zörögni kezdett a hokedli – leült mellém Zseka, aki visszajött a mosdóból – nedves volt a keze, nedves volt a homloka, és irigylésre méltón kijózanodott, csak az arca volt csupa vörös csík.

– Rendelünk még valamit? – kérdezte Pavlenko.

– Nincs több pénzem – feleltem lassan, mintha levettek volna a töltőről, és kezdenék lemerülni. Még néhány szó, és viszlát mindenkinek.

Az időt egy nagy ollóval szabdalták fel, hogy összeálljon a montázs, amelyre oly nagy szükségem volt, és azonnal az utcán találtuk magunkat.

Zseka friss volt, de a poncsót szándékosan és kihívóan maga után húzta, ahogyan a katona is a zászlót a harctérről, ahol mindenkit legyőzött és mindenből elege lett.

Úgy határoztam, hogy visszamegyünk a Kremlbe: még nem is néztünk meg semmit, pedig bizonyára érdemes lett volna. A Kreml egy dombra épült, amelyre törött aszfalton kaptattunk fel.

Nehezemre esett felfelé haladni – nincs benne semmi élvezet, csak a tudóm telítődött nyirkos levegővel.

Zseka viszont örvendezett, fel-felkiáltott, és az ég felé emelte a karját:

– Egyre közeledünk feléd, Uram!

Hogy kicsit ösztökéljem magam, lépéseink ütemére ismételtetni kezdtem:

– A málházsákban gyufa és dohány... Puskin, Baratinszkij, Batusy-kov! A málházsákban gyufa és dohány... Lermontov, Grigorjev, O-gar-jov!.. A málházsákban gyufa és dohány... Brodzskij, Kublanovszkij, Kuz-nye-cov...

Így könnyebb volt.

Zsekának nemcsak arra volt energiája, hogy gyors léptekkel haladjon előttem, de még vissza-vissza is tért hozzám.

– Hallod, olyan különös álmom volt az éjjel – idézte fel, amikor visszaszaladt. – Azt álmodtam, hogy könyveket ajándékoztál nekem. Hármat. Az egyik valami érhetetlen nyelven volt, a második üres oldalakkal teli, a harmadikat meg nem lehetett kinyitni.

„Az első a jövőd, a második a jelened, a harmadik a múltad” – súgta meg valaki azon nyomban a meglepően józan választ, amelyet viszont még fennhangon ki is kellett volna mondanom, de nem tettem.

– Ezt azért mondom – folytatta Pavlenko meg sem várva a magyarázatomat –, hogy add nekem a könyvet, amelyik a zsebedben lapul, mert én még egy egész álló napon át vonaton fogok zötykölődni hazáig... Megtanulom a gyufásat és dohányosat. Meg miegymást, meg miegymást. Ha már nincs pénzed sörre. Meg fegyvered a háborúhoz.

Rá sem pillantva adtam át neki a könyvecskét – a puha kötésűt, az egyszerűen és szépen rímelt, mint amilyen minden ember élete, amelyben nem halljuk a rímeket, holott lépten-nyomon, minden pillanatban ott vannak.

Zseka az övébe dugta a könyvet.

A Kremlben nem volt világitás – éjjel senki sem sétálgatott arra a helyi zsernyákok kivételével –, s az öröktűz imbolygó lángnyelve felé

vettük az irányt, amely mintha a folyó túloldalára akart volna szállni, csak nem sikerült neki.

A lángnyelvnél ott állt a vörös, mintha csak ránk várt volna; a haverjai valószínűleg a közeli fákhoz mentek vizelni, és bármely pillanatban visszatérhettek: hallottam a hangjukat.

Nyilvánvaló volt, hogy egyikőnk sem kerülhetett el semmit: baljós, szeles este volt, ilyenkor nem szokás kibékülni, minek is?

Hirtelen rájöttem, hogy nem helybéli: mit keresne az öröktűznél, egyetlen nyizsegorodi vagány sem jönne ide semmi pénzért.

A vörös kezében megint sörösüveg volt, csak most szinte teli: valószínűleg épphogy kinyithatta.

– Mindjárt sört fogok inni – ígérte nem is annyira nekem, mint inkább önmagának az elégedett Pavlenko.

Úgy nekiiramodott, hogy az avar csak úgy kavargott a háta mögött; alig értem utol.

– Hé, adj már egy kortyot! – kiáltotta Pavlenko.

A vörös meg se moccant, csak bámult a közeledőre. Arca egyik fele sötét volt, a másik, amely a tűz felé esett, fényes, mintha kétfelé hasított volna. Az egyik fele még itt, a másik már ott.

Pavlenko már csak néhány lépésnyire volt tőle, és nem is annyira deklamálta, mint inkább durván odavetette a menet közben kitalált rigmust, amivel megkurtította a gondolkodási időt magának is, a fikciónak is.

– A málházsákban gyufa és dohány! Vörös is, szeplős is, hogy lehet ez, puhány? – és ismét kinyújtotta bal kezét a sör felé, a jobbat pedig ütésre lendítette.

A vörös pislantott egyet, megrántotta a fejét, de nem előre, hanem hátra, amitől leesett fejről a sapka, és lágy, gyöngéd mozdulattal átnyújtotta Zsekának a sört: mint egy szeretett embernek, akire régóta várt.

Zseka a váratlan mozdulattól mebotlott, de azon nyomban összeszedte magát, és felnevetett – bár a mosolyát nem láthattam, mert mögötte haladtam, de a nevetését jól hallottam. Megragadta az üveget, hátraszegette fejét, és két kortyintásra felhajtotta a sör felét.



Kapkodtam a levegőt, mire végre odaértem és megálltam mellette. Senki sem nézett rám. Idegennek tűntem itt, mintha két halott társaságába kerültem volna.

– Idd ki! – kínálta a vörös Pavlenkónak.

– Most te – mondta Pavlenko. – Most te jössz.

Zseka hanyagul odavetette zászlaját az öröktűz mellé.

El sem búcsúztunk, úgy mentünk a kijárat felé.

A megnyíló égből hullni kezdett az első hó. A magas fenyők nem mozdultak helyükről, ahogy elnéztek a fejünk fölött. Rágyújtottunk, és a füst gyorsan szertefoszlott a fejünk felett.

Meg miegymás, meg miegymás.

*Molnár Angelika fordítása*

MOLNÁR ANGELIKA

FORDÍTÓI KOMMENTÁR

Zahar Prilepin *Gyufa és dohány meg miegymás* című elbeszéléséhez

Zahar Prilepin (1975– ) kortárs orosz író, előadóművész és publicista, aki politikai közszereplőként (a szintén író, Eduard Limonov által vezetett Nemzeti Bolsevik Pártnak, majd a Baloldali Tömörülésnek a képviselőjeként), valamint a rendfenntartó erőknél betöltött szolgálata és televíziós műsorai alapján is nagy népszerűségnek örvend Oroszországban. Arkagyij Babcsenko és Alekszandr Karaszjov mellett a leg híresebb háborús író, a csecsen háborúról szóló tudósításai és művei (elsősorban a *Patológiák* című regénye, 2004) méltán tették ismertté a nevét. A 2014-es *Обитель* (*A kolostor*) című regénye már a kiadást követő évben a legolvasottabb művé vált Moszkvában. 2017-ben Prilepin az oroszországi népszerűségi lista élére is tört: ekkorra már valóban annyira befutott író lett, hogy „új Pelevin”-nek titulálták és Borisz Akunnyinnal közösen osztozott meg „Az év írója” címen.

Zahar Prilepin *Gyufa és dohány, meg miegymás* (Спички и табак, и всё такое) című novellája először 2015-ben jelent meg a Большая книга победителей (*A győztesek nagy könyve*) című antológiában, majd 2016-ban a Семь жизней (Hét élet) című gyűjteményes kötetben, amelyet úgy prezentáltak, mint a sikeres író kedélyes beszélgetéseit alteregóival, a szereplőkkel és az olvasókkal. A kötetet hatalmas példányszámban dobták piacra, a kritikusok viszont kevésbé fogadták lelkesen: fanyalogtak az ideológiai pozíciók változatlansága, az új gondolatok és az étellel szembeni ellenállás, illetve a nem konvencionális esztétikai elvek hiánya miatt. A teljesség kedvéért ide kívánczok azonban Günter Grass pozitív bírálata Prilepin poétikájáról, aki egy korai elbeszélése kapcsán kiemelte a részletek költőiségét, a megragadó elbeszélésmódot és a humánusot. Megjegyezném, hogy ezek a jegyek tulajdonképpen felfedezhetők a *Hét élet*ben is. A *Gyufa és dohány meg miegymás* a kötet kiemelkedő darabja: rafináltan megírt, a jellegzetes prilepini egyszerűség mögött komolyabb poétikai eszközöket felvonultató mű, J. D. Salingerre idéző befejezéssel. A fentiek fényében azonban leszögezném, hogy a novella fordítása során megkerülhetetlen az irodalmi elemzés, illetve a nyelvi és a kulturális kommentár. Lássuk, hogy ezekből a szemszögekből milyen kihívásokat rejteget a szöveg.

Az író a *Hét életet* úgy értelmezte, mint scénáriók sorát, amelyek életútjának lehetséges variációit mutatják be. Az elbeszélések főhőse nem más, mint a Prilepin korábbi regényében (Санья, 2006.; magyarul *Mert mi jobbak vagyunk* címmel látott napvilágot) feltűnt Szanyk(j)a alakmása, egy radikális fiatal, aki meg akarja változtatni a világot, és különböző életutakban próbálja ki önmagát. A rajongó olvasók könnyen azonosulnak Prilepin hőseivel: ugyanazokat a történeteket élték meg ők is a valóságban, és ugyanígy mondanák el ők is, ha rendelkeznének írói vénával. Ez a hatás annak is köszönhető, hogy az elbeszélő és a főhős az író alteregójaként jelenik meg. Figurái és történetei alapján nem véletlenül rokonítják az írot Maxim Gorkijjal. Mindez jellemzi a *Gyufa és dohány meg miegymást* is.

A novella egyik főhőse az ukrános nevű Pavlenko, akit az elbeszélő – a másik főhős – többnyire csak Zsekának szólít, amely a Jevgejij utónév becézett alakja. Ráadásul hangzása felidézi a 'зек', azaz a

'заклучённый' ('fegyenc') szót, amely a főhős alakjához hozzátartozik: arcát az elbeszélő ekképpen jellemzi, és Pavlenko valóban törvénybe ütköző cselekedeteket hajt végre, még ha el is kerül a börtönt. Megemlíthetjük még, hogy Zseka egy népszerű bárd (énekes, zeneszerző, előadó) – Jevgenyij Grigorjev – művészneve. Ez az olvasói befogadást szintén módosítja, hiszen a politikai aktivistának beállított főhősök másfajta életszférát is közvetítenek.

Szó esett arról, hogy Prilepin nemzeti bolsevista eszmék híve. Irányultsága segít a szlenges 'левак' szó megértésében is, amely radikális baloldali személyt jelöl a szövegben. Ha utána olvasunk annak, mik is a párt célkitűzései (erőszakkal bolsevista államban egyesíteni az oroszokat stb.), a szélsőbalos eszmerendszer és a hagyományosan konzervatív nemzeti értékek összeegyeztetésének a kísérlete rajzolódik ki. Ezt az ideológiát képviseli az adott novella egyik jelentéssíkja is. Ernst Jünger, német író és filozófus, a konzervatív forradalom elméletének kidolgozója szintén ebben a vonatkozásban említődik meg Zseka olvasmányai között. Zseka alakja, akárcsak a nemzeti bolsevik eszmerendszer, összetett és ambivalens. Hogyan lehet valaki egyszerre szélsőbaloldali aktivista és imperialista, bolsevikra jellemzően ateista, de egyben hívő keresztény is? Az orosz eredetiben az alakra vonatkozó 'воцерковлен' szó a múltban azt jelentette, hogy az illető megkeresztelése után, a születését követő 40. napon végrehajtott szertartás keretében az egyház tagjává vált; napjainkban pedig akkor használják, ha felnőtt korában, megkeresztelkedése előtt ismerkedik meg az egyház tanaival.

Az elbeszélő 'товарищ'-nak szólítja Zsekát. Ez 'elvtárs' jelentésben a bolsevik, majd a szocialista párt jellegzetes megszólítási formája volt, a rendszerváltás után ismét kiterjesztették a barátok, ismerősök és bajtársak elnevezésére. A Prilepin-szöveg fordítása során mindkét változattal éltem, attól függően, hogy az adott kontextusba melyik illeszkedett jobban. A dohányzás és az ivászat során az elvtársak nem pusztán barátokká, hanem bajtársakká válnak (például amikor derékgig vetkőznek). Ekkor azonban nem a közös harc, hanem a versalkotás fűzi szorosabbá a viszonyukat. A versalkotás olyan új elem a műben, amely megköveteli, hogy a befogadó az ideológiai háttérrel félretolja, és szövegelemzést végezzen. Ez a műnek ugyanis olyan rétegeit is feltár-

hatja, amelyek nem az aktuálpolitikával foglalkoznak, hanem az élet és a halál mélyebb kérdéseit feszegetik.

Retrospektív módon idéződik fel az előzménytörténet és simul bele a jelenbe, amely egy napba szorított körkörös városjárást, dohányzós-ivászatot „utazást” (vö. a szövegben Zseka kedvencének nevezett Céline-művel: *Utazás az éjszaka mélyére*) mutat be: a cselekmény terében a Nyizsnyij Novgorod-i Kreml körül, értelmi síkon pedig az ideák, esztétikák és poétikák világában. Ennek következtében az egyszerűnek tűnő, bajtársi találkozásról szóló kis történet az orosz irodalom és történelem múltjába, jelenébe és jövőjébe hatoló globális és rafinált, többretegű művé válik, hiszen áttételesen megidéződik akár Venyegyikt Jerofejev travelogy-ja, akár Jevgenyij Popov „hazafias” beszélgetés-sétája Fityfirittyel (*A hazafi lelke*), expliciten pedig többek között a „málhazsákos” idézet, amely a harcba és a kultúrába menetelés ritmusát biztosítja a szövegnek.

A műcímet is alkotó leitmotívum egy romantikus, háborús témájú költeményből (Eduard Bagrickij Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым [Beszélgetés Ny. Gyementyev komszomolistával, 1927. ]) vett idézet, amelyet a novella főhősei rigmusként ismételvek: „А в походной сумке – Спички и табак” – „A málhazsákban gyufa és dohány...”. Ez az idézet, amelyben a katonalét szimbóluma nemcsak a gyilkoláshoz és a pihenőidőben történő dohányzáshoz szükséges felszerelést tartalmazza, hanem elengedhetetlen kellékként jelöli meg a könyveket is, visszavezethető egy kevésbé ismert Nyikolaj Gumiljov-versre. A Prilepin-szövegben feltüntetett költők köteteiről az olvasó azonban inkább úgy gondolja, hogy nem golyózáporban vagy utcai összetűzésekben, hanem a lélek mélyére tett utazás során venné elő. Ennek ellenkezőjére utal azonban a nevezett költők sorrendje: a forradalmár konstruktivista Szelvinszkijtől eljutunk ugyan a konzervatív Baratinzkijig, a sort mégis a dekabrista Ogarjov zárja. Mint biográfiája alapján meggyőződhattünk róla, a hősi aktivitás és a nép szavának a képviselete nem áll távol magától a szerzőtől sem, ezt kéri számon kedvenc költőin és művei szereplőin is. Prilepin azonban, akárcsak Bagrickij későbbi műveiben, levetkőzi a forradalmi romantikát, ugyanis novellájában egy másik perspektívát vetít előre.

A mű címe meghatározza az elbeszélés ritmusát és melódiáját. Az idézett két szó – „gyufa és dohány” – a novella két kulcsmotívuma. Ebből fakadóan a magyar nyelvre való átültetés során azzal szembe-sültem, hogy a műcím véglegesítését utoljára kell hagynom, ugyanis a szótári jelentéseket a szöveg gyökeresen átírja. A 'спички' többes számú alakja valóban 'gyufát, gyufaszálak összességét' jelenti, a 'табак' viszont 'dohányt', és a kontextusban értelemszerűen – 'cigaretta'. A rímeltetés érdekében kínálta volna magát a hangzásban is hasonló 'tubák' szó használata, ám az egyébként 'dohány' jelentésű szó jelentésbeli zavart okozott volna, tekintettel arra, hogy a mai magyar nyelvben a 'tubák' nem dohányzásra, hanem orron át történő felszippanásra szolgál. Maradt tehát a szövegben a 'dohány' szó, viszont a rímeltetés miatt így a költőnevek szokványos magyar átírásának megváltoztatására kényszerültem (Paszternák, Mandelstám). Más esetben ugyanakkor megőriztem a prilepini szándékolt tagolást (O-gar-jov). A cselekményben központi szerepet tölt be a dohányzás, és az egyik főhős meg is alkotja ezzel kapcsolatban a mű legfontosabb mondanivalóját: „Hogy lehet úgy élni, ha se dohány, se pénz, miközben poncsódon átsüvit a szél?”. Ez a versszak is beillő megnyilatkozás tartalmazza a szöveg egyéb motívumait is, amelyekre a későbbiekben még visszatérek. Prilepin hozzátes a verssorhoz még egy új elemet: az 'и всё такое' töltelekfrázist, amely jelentheti azt, hogy 'meg miegymás', 'meg ilyesmi', illetve 'és a többi'. Végigpróbáltam mindhárom változatot, és az utóbbit, mégpedig a 'satöbbi' formát tartottam a legmegfelelőbb zárómondatnak, mégis az elsőnél maradtam, mivel a cím ritmusát és az eredetiben hiányzó rímpárját magyarul ez biztosította.

Az ismétlődő rigmus precedens előfordulási helyéről, amely meghatározza a mű témáját és hangulatát is, már szóltam. Az előszövegből következik, hogy a témamotívum itt is háborús kontextusba tagozódik. Az oroszul 'походная сумка'-nak (szó szerint 'menettáská'-nak) nevezett felszereléstartót a magyar katonák 'málhászá'-nak hívják. A menetelés itt a harci cselekményekre utal: a főhősök már részt vettek fegyveres konfliktusban, illetve számos összetűzésben az aktuális politikai rezsimmal, de megemlítik a csecsen háborút is, és előrejelzik,

hogy újabb háborúk törhetnek ki. A halál témáját ugyanakkor fokozatosan felváltja az életé, amelyet a költészet térnyerése jelöl.

Nem volt megkerülhető az sem, hogy utánajárjak a rigmusokban felmerülő többi név és explicit utalás eredetének, annál is inkább, mert többségükkel az átlagos magyar olvasó nem találkozhatott. A Bagrickij-idézetben szereplő költők közül is csak Borisz Paszternak neve csenget ismerősen, a konstruktivista Igor Szelvinszkijről és „A szovjet munka hőse” érdemrenddel kitüntetett Nyikolaj Tyihonovról esetleg a 20. század elejének irodalmát kutató ruszisták hallottak. Miért is helyezhette egymás mellé a poétikailag ennyire távol álló alkotókat Bagrickij? Talán a korai munkásságuk forradalmisága, valamint a rímeltetés miatt. Ezeket a szempontokat érvényesíti Prilepin is, amikor a többi költőt csoportosítja. A kivégzett, akmeista Nyikolaj Gumiljovot, az öngyilkossá vált, imazsinista Szergej Jeszenyint és Vlagyimir Lugovszkojt, a hősiesség témát megéneklő, de tragikus sorsú szovjet költőt hasonló elv szerint állítja párba, viszont a szereplői ezt pontosítják, témává avatják az eljárást, és más motivációt találnak: Zseka a halálban látja a költők egységét és a velük való közösséget. Ugyanez figyelhető meg a futuristából lett proletárköltő, Majakovszkij, a futurista Hlebnjov és az akmeista Mandelstam hármában is. Hasonlóan súlyos töréssel fejeződött be a Prilepin-szövegben felsorolt 19. századi költők élete is, ezért a romantikus Lermontov, a talajos dal- és románcszerző Grigorjev, illetve a dekabrista Ogarjov „trojkája” valószínűleg megint csak ilyenekképpen került egymás mellé.

Kiemelhetjük mindazonáltal ezeknek a „trojkáknak” az orosz költészetben játszott „forradalmi” szerepét is, és akkor nem a realitásban elfoglalt pozíciójuk, biográfiájuk, hanem poétikai súlyuk szerint értékelődnek. (A 'trojka', vagyis 'hármastag' jelentésköre az orosz kultúrában meghatározó, de most nem térek ki rá. A novellában esik még szó a 'trojáról' a képzelte ellenfelekkel összefüggésben is.) A romantika nagy alakjai, Baratszkij és Batyuskov, de különösképpen az orosz irodalom fejlődésének meghatározója, Puskin a modern orosz versnyelv formálásában játszottak kiemelkedő szerepet. Visszatérve a 20. századra, megemlítődik Brodskij, a Nobel-díjas orosz költő, aki kénytelen volt emigrálni a Szovjetunióból, akárcsak a kevésbé ismert

Kublanovszkij. A Kuznyecov vezetéknev beazonosítása ismét gondot okozhat, mert nem egyértelmű, vajon melyik költőre utal: az állami kitüntetésben részesült, de már elhunyt Jurij Polikarpovicsra, vagy a fiatal, dinamikus, Asztafjev-díjas Igor Alekszandrovicsra? A fentiekből következően tehát a versköltészetben játszott újító szerepük alapján interpretálhatjuk a nevezett költők felsorolását.

Ezt az értelemsíkot támasztja alá az új költő születésére vonatkozó kibontott hal-metaphora is. Idetartozik továbbá az orosz költészet más-más korokat képviselő nagyjainak – Gyerzsavin, Annyenszkij, Blok és Szluckij – összevonása is ennek az új költőnek az alkotásában. Ezek ugyanis azok a minták, amelyeket az alteregó szerint követni kell, mert „Oroszországnak szüksége van egy költőre”. Megidéződik ebben a kijelentésben mind a Puskin-kultusz, mind az orosz költők próféta-szerepe is, de ennél lényegesebb az, hogy nekifeszül a Zseka által kezdetben preferált fegyverkultusznak („Oroszországnak fegyverre van szüksége”). Tágabb perspektívára kivetítve ez nem jelent mást, mint Oroszország kettősségét, amelyet a váteszköltő alakja, a költészet és a forradalmiság, a szépség és a pusztulás, a lágyság és az agresszivitás együttélése okoz. Prilepin művében a politikai szerepvállalással, háborúval (Zseka eredeti pozíciójával) szembeállítódik az alteregó lemondása a korábbi akciók folytatásáról (verseskötetet olvas és nincs fegyvere).

A cselekmény egy magaslaton, egy várszerű erődítményben és annak környékén – jelképesen a legnagyobb orosz folyók találkozásánál – játszódik, de a főhősök még ezen belül is magasabbra hágnak: egy toronyban ülnek be egy kávézó emeleti szintjére. A zárt tér szimbolikuságát hangsúlyozza a kőből készült épületbelső is. Itt védve vannak a hideg szélről és a külvilágtól, és itt kerül sor a legfontosabb párbeszédre is: az alteregóval ellentétben Zseka elkerülhetetlennek látja a konfliktusokat. A háború jelensége ismét poétikai síkra kerül, ugyanis az alteregó a szavak hangzását izlelgeti, és a „Kazahsztán” országnevet a halak (vö. új költő) vagy a mély vízbe ugrók (vö. harcoss főhősök) három levegővételéhez közelíti. A metafora a háborúba lépés és a sziklaugrás közötti azonosításban képződik meg. Az alteregó fiatalon, ugyanakkor jelentős tapasztalattal a háta mögött teszi le a voksát az életigenlés mellett, és utasítja el az öldöklést. Ezt a tudatában bekövetkezett változás-

sal magyarázza, ismét költői képeket használva. Előkerülnek az orosz költészetre vonatkozó utalások is. Kibontott metafora formájában van jelen az új költő születése is: nem sarjad, mint egy növény, hanem kifejlődik, majd felbukkan a víz alól, mint egy hal, amikor kifogják. Ezek fényében már különös jelentőséget kap az is, hogy a főhősök nézik a folyót, vagy lentről, a partról kívánnak rátekinteni a Kremlre, továbbá hogy a költészet, illetve élet-halál kérdéseit iszogatók (vodka és nem 'voda', azaz 'víz' iszogatók!) közben tárgyalják meg.

A cselekmény elbeszélője folyton előrevetíti három másik fiatalemberrel (ahogy nevezi: „trojkával”) végbemenő erőszakos konfliktus lehetőségét. A békés megoldás Zseka és a sebhelyes vörös között ezt nemcsak nivellálja, de felül is írja. Az alteregó önmagát két halott, túlvilági idegennel szemben kívülállóként pozicionálja, ami különösen lényeges annak fényében, hogy korábbi részeg látomásában előrevetíti a másik kettő halálát: Zseka mintegy vízbe ugrik, elvágódik (háborúban esik el?), a vörös hajú pedig hokedlire áll, és elúszik (felköti magát?) (vö. az említett költők sorsával). A motívumismétlődés az értelemképződés mélyrétegeibe hatol. Zseka elkéri az alteregótól a verseskötetet, ami az életigenlés és a költészet előtérbe helyezését jelenti a mű végki-csengésében, még ha a látomás szerint a könyv nem védi is meg az aknaszilánkoktól. Poétikai vetületben ez a békés, háborúellenes, ugyanakkor forradalmian költői szó elsődlegességét hirdeti. A hangsúlyos pozíciókban, tehát a műcímben és a zárszóként kiemelt „meg miegymás”-ban nyilvánvalóan erre az értelmi többletre vonatkozik.

Ez az új szó mindazonáltal hétköznapi fiatalember kötetlen társalgásának a megjelenítésében rejtőzik. A novella stílusa szóbeli elbeszélést idéz meg, ezért a fordításban is a köznapi beszédmódot szükséges visszaadni. A fordítónak rá kell hangolódnia, bele kell élnie magát az ezredforduló, a múltként felelevenített 1990-es évek, illetve a 2000-es évek elejének orosz valóságába, az új rendszer ellen küzdő, talaját vesztett „ifjúgárdisták” életvitelébe, világlátásába és természetesen a szójárásába. A szokatlanul gördülékeny elbeszélőmód mellett a megfelelő szleng használata is kihívás elé állítja a fordítót. A séta és a menetelés ritmusát megadó szóhalmozás ugyanis meglepően költőivé formálja a szöveget. A rímeltetésre is oda kell figyelni, amely nemcsak érzékelhető

az orosz eredetiben, hanem tematizálódik is: az igei és – a szövegben megnevezett avantgárd költőknél tökélyre fejlesztett – mozaikrímek megemlékezésében. Nem kívántam megtörni a rendkívül hosszú, többszörösen összetett mondatok ívét sem azzal, hogy rövidebbre tördelem fel őket a fordításban. A körmondatoknak nyilvánvalóan az volt a céljuk, hogy az élőbeszéd ritmusát keltsék. Megőriztem – ahol lehetett – az eredeti központosítást is.

A fordítás során törekedtem arra is, hogy lehetőség szerint ne szépitsem vagy magyarázzam a szöveget, ez mégis elkerülhetetlen volt azokban az esetekben, amikor kompenzálni kellett a szükséges egyszerűsítéseket vagy a nehezen befogadható szöveghelyeket. Ezekről a variációkról a jelen fordításelemzésben adok számot, hogy a végső simítás után kiderüljön, melyik tagozódott jobban a szövegegészbe. Például, már az első mondat, amely mintegy kiesik a folytatásból, költőibbé válik és hangulatában a felütést jobban meghatározza, ha a szó szerinti „figyelte az ürességet” helyett a „bámulta a semmit” frázist használom. Vagy a helyszínmegjelölés után az időjárás leírását „május elején csontig hatoló szél fúj”, költőibbnek ítélt kifejezéssel adtam át (a szó szerinti „borzongató szél” helyett). A „május elején” frázis az orosz olvasónak ráadásul Fjodor Tyutsev *Tavaszi vihar* című költeményét juttathatja eszébe („De szép az első égi lárma, mikor májusi dőrejek” – Szabó Lőrinc fordítása).

A cudar időjárás, az erős szél nem csupán a helyi jellegzetességek bemutatásának komponense, hanem poétikai funkcióval is rendelkezik, ezért az esetek túlnyomó részében meghagytam az orosz eredeti metaforikus, nem konvencionális kifejezéseit. Amennyiben nem találtam hasonlóan jelértékű megfogalmazást, stilisztikailag szebb magyar változatot kerestem: 'подходили' vö. 'jártak erre, közeledtek' helyett „merészkedtek”. A kreml-i környezet negatív, elijesztő hatását fokozza, hogy már a víz (a folyók) látványa is megbetegít. Itt Prilepin egy orvosi szakkifejezés abbreviatúráját emeli be a szövegbe: «ОРЗ», ami az 'острые респираторные заболевания' ('heveny légzőszervi megbetegedések') rövidítése. Ezt azonban a medicinában csak akkor használják, ha a doktor a betegség okát nem tudja pontosan

megállapítani, ezért választottam a magyar köznyelvben használatos „egyéb légúti betegségek” fordulatot.

A tavasz és a nyárelő Prilepinnél tehát nem a természet szépségét és feltámadását konnotálja, hanem éppen ellenkezőleg, anomáliát: hideget, őszi avart és első (!) téli havat, vagyis, akárcsak a novella kezdő mondata, a végkicsengés is az elmúlást idézi. A hideg szél motívumként hatja át a szöveget, de szerepel többek között a bonyodalomalakításban is: kiderül, miért kell Zsekának valami ruhánakvalót – a keze ügyébe eső függönyt – magára kapnia. A 'штрома' e helyütt 'sötétítő függöny' jelent: ez könnyen leszedhető a karnisról, és sebtében kialakított poncsóként is felvehető. A függönyt Zseka minősíti át ruhadarabnak. Ez is szimbolikus: ragaszkodik hozzá, és büszkén viseli. Egy hasonlat ráadásul katonai zászlóval rokonítja, amelyet a harcterről hűz maga után a győztes, és a mű végén már metaforaként azonosítódik vele (az elesett katonákra emlékező öröktűznél). A potenciális konfliktust is később ennek a jelképnek az állítólagos meggyalázása okozza.

A harcias Zseka aktivitásával párhuzamosan mindazonáltal feltárul az is, hogy fokozatosan eltávolodik a pusztító megoldásoktól, és kiütöközik költői vénája is. A főhős nemcsak ismeri az orosz költészetet, hanem saját maga is alkot rigmusokat, rímeket, költői képeket, verseket. Bajban voltam a függönyre vonatkozó 'нежное' jelzővel, amely egyaránt takar valami ormótlan vagy idétlen holmit, illetve képtelen vagy nem odaillő dolgot. A szöveg mindkét jelentést realizálja, ráadásul egy mondaton belül, ezért más-más magyar szóval adtam vissza: „idétlen” pelerin, illetve „legképtelenebb” feltételezés. Amikor a vodkás poharat jelölik meg ezzel a szóval, akkor pedig egy beszélt nyelvi fordulat helyettesíttem: „haszontalan kupica”. Úgy vélem, hogy ezt nem az eredeti tartalmának vagy stílusának a rovására tettem, akárcsak akkor, amikor a рань 'korai idő' költői kifejezést a „korai órán”-ra, és nem a bizalmaskodóbb „hajnalok hajnalán”-ra magyarítottam.

A magyar nyelvre való átültetés során több esetben módosítanom kellett a szórendet, a kifejezések irányultságát, át kellett alakítanom a szókapcsolatokat, más kifejezésekkel kellett helyettesítenem az orosz eredetit annak érdekében, hogy a szöveg érthetőbb és befogadhatóbb legyen. Például a «Тепло тебе?» 'Meleged van?' kérdést „Nincs me-

leged?!”-ként fordítottam, mert a kontextus ezt a látszólag ellentétes értelmű magyar fordulatot kívánta meg. Vagy értelmezni kellett a «в крайне ограниченном пространстве» frázist is, ugyanis a szó szerinti 'végletekig korlátozott tér' csak a 'roppant kis lakóter' megfelelővel lett volna visszaadható. A 'злостный' melléknév jelenthet 'gonosz'-t és 'mérges'-t is, azonban a huligánkodás esetében 'visszaeső'-t kell érteni rajta. A 'повязать' ige szlenges jelentése 'leültetni', ugyanakkor a fordító eszébe juthat a 'rávarrni egy ügyet' vagy a 'bevarrni' kifejezés is.

Ide vonatkozó fordítói feladat volt a 'смешливый' magyar megfelelőjének a megtalálása, amely egyaránt jelent 'nevetető személy'-t éppúgy, mint 'sokat nevető'-t is, és belőle képezik a 'насмешливый' (gúnyos, csúfolódó) hangnemet használó jelölőjét is. A 'куций' jelzőként általában 'rövid, kurta, csonka' jelentéseket hordoz. A három csillagra vonatkozóan azonban 'nyomorult' jelentésben használtam, hogy a rendőr frusztráltságát érzékeltessem. Ebben az esetben szintén a magyar fül számára szebben csengő megoldást választottam, még akkor is, ha így elszakadtam az eredeti megfogalmazástól vagy jelentéstartalomtól.

A mű a cselekmény helyszínét is megjelöli: Nyizsnyij Novgorod, amelyben Prilepin is sok évet töltött, ott vált íróvá, s amelyet a különböző elnevezésekben rövidítve 'Nyizsnyij'-ként, jelzőként pedig „nyizsegorodi”-ként használnak a valóságban és a szövegben is. Leghíresebb nevezetessége a Kreml, amely oroszul annyit tesz: 'bástyás fallal körülvett erődítmény' és a fordításban tulajdonneves városnévvel különböztetjük meg a mindenki számára ismert moszkvaitól. Itt található a berepülő pilóta Cskalov, a nosztalgikus szovjet hős tiszteletére állított emlékmű is, amelynél a főhősök a novella elején összetalálkoznak. Zseka a prilepini alteregóhoz utazik el a vidéki Nyizsnyij Novgorodba (Oroszország Moszkva után másodiknak nevezett fővárosából) Szentpétervárról (vö.: oroszosan ejtve: 'Szankt-Pityerburg'), amelyet a mindennapokban csak „Pityer”-nek becéznek.

A frazeologizmusoknak, jellegzetes szófordulatoknak természetesen megkerestem a magyar megfelelőit, és az ekvivalencia mértékében adtam vissza őket: például az orosz 'разделись до пояса' ('övig vetközni'-t) a 'derékgig vetközni'-vel vagy a használatosabb 'félmezte-

lenül' kifejezéssel helyettesítettem. Előfordult, hogy az átvitt értelmű szókapcsolatokat nem átültettem, hanem próbáltam érthetőbbé tenni: 'жизнь огромна'-t ('az élet hatalmas'-t) a kontextus alapján 'az élet hosszú' változattal fordítottam. A beszélt nyelvi fordulatokat, szavakat viszont megtisztítottam a felesleges magyarázatoktól. A 'тётка' ('néni') szót használják hölgyre vagy bármely nőnemű felnőtt személyre kortól függetlenül; a fordításban meghagytam egyszerűen 'nő'-ként. Nem könnyen találtam megoldást arra, hogy elkerüljem a jelentésszűkítő szóismétlést, mivel a magyar nyelvben 'egy doboz cigaretta'-ként és 'egy doboz gyufa'-ként használjuk azokat a kifejezéseket, amelyeket az orosz az alábbi formákban különböztet meg: 'пачка сигарет', 'коробка спичек'. Végül a kissé archaizáló 'pakli' szót is használtam szinonimaként. Az egyszerű orosz igéket („mondta”, „ment” stb.) – mivel nem rendelkeztek lényeges utalással – a kontextusnak megfelelő, jelentésbővítő igékkel váltottam fel. Másutt viszont egyszerűsítettem: a 'скрипучий' ('nyekergős') hangot 'rekedtes'-nek fordítottam.

A könnyebb befogadhatóság érdekében bizonyos esetekben szintén törekedtem a reáliák magyarosítására. Így például, a 'беленькая' vodkát, amely a szövegben köznévként szerepel, egyszerűen vodkaként fordítottam, mert a magyar olvasó számára nem nyilvánvaló, hogy az elnevezésében 'fehéres színű' folyadékra utaló, magas alkoholtartalmú ital az oroszok számára egyértelműen vodkát jelent, és ebből fakadóan kapta az adott márka is ezt a nevet. A magyaros 'kupica' szót használtam a féldecis poharra, hogy érzékeltessem a különbséget ennek mérete és a vizespohár mérete között. Ez ugyanis a novella cselekményében hangsúlyossá válik. A 'pelmenyi' elnevezést viszont az oroszos kontextus érdekében meghagytam, és nem magyarítottam meg, hogy az 'hússal töltött derelye' (ahogyan régi fordításokban találkozhatunk vele). A 'braga' szót, amely 'házilag készített orosz sörféleség'-et jelent, szintén csak latin betűvel átírtam. Az 'электричка' villanyvonatot jelent, azonban magyar fordításokban ezt leginkább a HÉV-re használják – én egyszerűen csak vonatként fordítottam, mert Zseka értelemszerűen a Nyizsnyij Novgorod és Pétervár közötti vasúti közlekedésre érti.

Nem volt egyszerű az 'уголовное дело' ('büntetőügy, bűncselekmény, rendőrségi ügy'), a 'злоклучение' ('megpróbáltatás, kaland'),

a 'служивые' (szolgálatban lévők, járőrök) szavak fordítása sem, ugyanis a magyar szöveget nem tűzdelhettem tele bonyolult, magyarázó, nem gördülékeny kifejezésekkel, már csak azért sem, hogy megőrizzem a barátok között zajló beszélgetés természetes stílusát. Az egyes megszólalások argó jellegét szintén csak mértékkel kívántam meghagyni: ebből fakadt az a bizonytalanság, hogy használjam-e az orosz eredeti szófordulatát, amely az 'elföldelés' szemantikáját érvényesíti: 'eláslak – jobban teszed, ha te ászod el magad', vagy pedig a szokványosabb 'kinyírlak – elpatkolsz' párosítást alkalmazzam (végül az előbbi mellett döntöttem). A 'свинчатка' szót is „bokszer”-ként fordítottam, akárcsak a 'кастет'-et, mivel funkciójuk azonos.

Utánajárásra volt szükség a 'гулѐбщик' szó tisztázásához is. Oroszul ugyanis 'vándorhorgász'-t jelent, ugyanakkor a szövegben utalt korabeli kontextus nem ezt a tartalmat rendeli hozzá. Nem kevésbé bonyolult a 'гопарь' magyar megfelelőjének megtalálása, ugyanis ez egyszerre vonatkozik valamely szubkulturális csoport képviselőjére (kb. 'alteres', 'punk', 'junkie'), valamint lecsúszott, a társadalom perifériájára szorult, ezért számkivetett és kisstílu bűncselekményeket elkövető huligánra. A sebhelyes arcú, vörös fiatalembert az alteregó veszélyes, kötekedő garázdának látja, akitől tartaniuk kell. Ezért is fordít külön figyelmet például a műbőr dzsekijére meg a sildes sapkájára, ugyanis ezzel azt érzékelteti, hogy talán egy 1990-es évekbeli bűnbándához tartozik. Az alteregó végig fenntartja a veszélyesség érzetét, a vörös azonban folyton az elvárások ellenében cselekszik: a főhősökhöz hasonlóan utálja a rendőrséget, megosztja sörét Zsekával, és nem keveredik konfliktusba vele. Ráadásul némi költőiség is vegyül az alakba és mozdulataiba, annak függvényében, ahogyan az elbeszélő hozzá való viszonya változik. A rend őreit a novella negatívan festi le; itt jelenik meg két reália: a GAZ márkájú autó és a fokozat részletezése, amelyet a magyar besorolás szerint azonosítottam. Az elbeszélő ugyanis leírja a főtörzsaszlós pozíciójából fakadó agresszióját, életunságát és lustaságát: a 'борзый' szót, amely leginkább gyorslábú állatokat jelöl, itt a szövegkörnyezetből fakadóan 'bunkó'-nak fordítottam.

Több esetben meghagytam vagy csak alig érzékelhetően magyarsítottam a prilepini bonyolultabb megfogalmazásokat, stílusa sajátos-

ságait: jelesül, az eredetiben szó szerint úgy hangzik, hogy az alteregónak 'lehetősége volt', 'nem okozott gondot' visszaadni Zsekának a pulóverét, mert amúgy is melegebben öltözött. Ezt a cselekedetet pedig úgy írja le, hogy 'teljesítettük az elgondoltakat'. Összetett Prilepinnek az a mondata is, amelyet megvágtam, és így rövidítettem le: „esélyeink gyors mérlegelése (...) már nem a javunkra állt”. A *vis maior* rokon 'непреодолимые обстоятельства' kifejezést ugyanakkor a kontextusnak megfelelően 'váratlan körülmény'-ként ültettem át.

A nehezebben értelmezhető kifejezéseket a kontextus alapján próbáltam megfejteni. Például, a 'разлапистыми буквами' szó szerinti fordítása 'szétterülő betűkkel': ezt 'szétfolyó'-nak értelmeztem. A 'сумбурная встреча' 'viharos, zavaros találkozó'-t jelent: ezt 'zűrös találkozó'-ként fogtam fel. A 'расправил своё пончо, закутываясь' cselekvést úgy képzeltem el, hogy Zseka először kibontotta a „poncsót”, megigazgatta, majd beleburkolózott. Az új költőre vonatkozó 'беспутный' szó szerint azt jelenti, hogy 'züllött'. A fordításban ez értelmetlennek tűnt, ezért lecseréltem a költőkkel kapcsolatban gyakran használt 'bohém' szóra.

Külön fordítói feladatot okozott egy kulcsfontosságú szójáték megoldása, melynek lényege az volt, hogy minden, amire az ember sokat gondol, bekövetkezik. Ezt az orosz eredetiben 'приходит к тебе' ('eljön hozzád'), illetve 'приходит за тобой' ('eljön érted') vonzatos igékkel való játék tartalmazta, és nem lehetett a 'beteljesedik, bekövetkezik' igék használatával visszaadni. Fordítási nehézséget jelentett az orosz eredetinek mind tartalmi, mind stilisztikai értelemben megfelelő 'szoknyája és blúza alól elősejlett, igen, elősejlett boldog, gyötrelmes, de mégis boldog életem' fordulatot megtalálni.

A fiatal emberek közötti konfliktus lent, a folyónál zajlik, a megoldáshoz a főhősök újra felkapaszkodnak a Kremlbe. Itt kerül expliciten azonosításra az ember élete és a versríme: „az egyszerűen és szépen rímelőt, mint amilyen minden ember élete”. A szereplők a halált és az életet egyaránt jelképező öröktűzhöz mennek. Az öröktűz lángnyelve a folyó túlsópartjára kívánczik, a szelet pedig az elbeszélő gonoszának nevezi, mert olyan hevesen fúj, hogy a kalapokat is átviszi, és az embereket sem hagyja megbékélni. Az élet és a halál közötti mezsgye reprezentá-

lódik a vörös hajú, kettévágottnak tűnő arcában is. Így értelmeződnek át a novella elején felvonultatott motívumok. Az alteregó is újraértelmezi korábbi feltevéseit. Zseka szintén verekedésre készül, ismét átalakítja a rigmust, azonban a közös sörivás olyasféle szerepet tölt be, mint a békepipa elszívása: az együttes cigarettázás. A dohányzást ezért rímeltettem a 'puhány'-ra, noha értelmileg nem illeszkedett a sorba.

A hideg nyárelő a novellában hóeséssel zárul. Ez megint csak újraértelmezi a hagyományos képzeteket, és új szimbolizáció felé nyitja meg az utat, vagyis a rövidke elbeszélés nagyszerűen reprezentálja a prilepini poétika egyéb jellegzetességeit is. A novella csattanóját tehát a konfliktus elkerülése és a békés megoldás, azaz az életigenlés jelenti, amely a költészet hangsúlyozásával azonos. Meg miegymás, meg miegymás.

Roman Szencsin

## AZ IGAZI FÉRFI

Nyaranta elutazom Moszkvából, ahol élek, a szüleimhez, Minuszinksz mellé, a krasznojarszki határterület déli részére. A transzszibériai vasúton több mint három nap az út, és utána még buszozni is kell... A helyjegyes vagonokat jobban szeretem, mint a kupésokat, és nem csak a viszonylagos olcsóságuk miatt (bár ez nyomós érv lehetne), hanem azért is, mert jó nézni az embereket, hallgatni, hogy miről és hogyan beszélgetnek (ez fontos a szakmámban), mit esznek, hogyan öltözködnek. Az emberek az utcán vagy a kávézóban teljesen máshogy viselkednek, mint a vonaton - a vonat egy kis időre otthonukká válik: van, akinek egy napra, van, akinek kettőre-háromra-négyre...

Lassú, meghitt beszélgetéseket folytatni, ahogy csak az idős nők és férfiak tudnak, nekem nem sikerült. Bár én nem is törekedtem bizalmaskodni és kivívni mások bizalmát. Legtöbbször a felső fekhelyre veszek jegyet - fekszem és olvasok (a vonaton úgy lehet olvasni, mint sehol máshol), és ilyenkor hallgatózom, végigmérem, aki elhalad melletttem, és letelepszik a helyére a fülkénkben.

Sokukra emlékszem, de furcsán vésődtek az emlékezetembe - időről időre, a szükséghez mérten előbukkannak. Az elbeszélésekbe vagy a novellákba bele kell vinni egy mellékszereplőt - és tessék, itt is van egy a vonatról. A szavaival, a gesztusaival, a nézésével együtt.

De van olyan figura is, aki valósággal itt lebeg a szemem előtt. Az elbeszélésbe vagy a novellába nem illik bele, de nem is merül el azok ezrei közé, akiket megnéztem és félresöpörtem, kitöröltem az agysejtjeimből.

Tessék, itt az egyik. Még meglehetősen fiatal férfi, talán a naptól, talán természettől fogva barna bőrű, de esetlen és zilált. Fakó inget és koszos nadrágot visel. A kezében elnyűtt szatyor. Valamelyik nagyobb állomáson szállt fel - Szverdlovszkban, Tyumenyben vagy Omszkban



-, átevicélt a szűk folyosón, és megkereste a helyét. Az oldalsó, felső fekhelyet. Az alsón egy másik utas aludt.

A férfi megállt, és mintha mindenkit zavart és feszélyezett volna a jelenlétével, majd leült a lenti fekhely szélére. De azonnal fel is pattant, és megkérdezte a fekhely gazdájától:

- Szabad?

- Üljön csak le, üljön le - engedte meg az asszony, de úgy, mintha hatalmas szívességet tenne.

A férfi elhelyezkedett, de ismét csak a fekhely legszélére, vakon bámult ki az ablakon, és megszólalt:

- De csak nem ölhetem meg őket.

Mi, a fülke utasai, emlékszem, összerezteünk. Egyszerre. Érezni lehetett. És hirtelen izgatott csend támadt.

Néhány perc múlva annak a fekhelynek a gazdája, amelyre a férfi leült, nem bírta tovább a feszültséget, és szigorúan megkérdezte:

- Kiket nem kell megölni? - ami úgy hangzott, hogy: „Hívjam a rendőrséget?”

A férfi megmagyarázta:

- Átverték. Elszegődtem egy brigádhoz, két hónapig dolgoztam, aztán amikor meghozták az elszámolást, elzavartak. A semmiért. - Megsemmisülten beszélt, teljes reménytelenséggel a hangjában. - A jegyre valót a kezembe nyomták... Otthon a feleségem, meg a három gyerek. Iskolások lesznek. Mi lesz most így?...

Elhallgatott, elgondolkodott, aztán úgy tűnt, hogy mindent összegzett magában, majd újra megszólalt:

- Nem ölhetem meg őket.

A vonat megindult, bejött a kalauznő, és lekezelte a férfi jegyét. Megkérdezte:

- Kér ágyneműt?

- Nem - rázta meg erőteljesen a fejét a férfi.

- Pontosán huszonnégy órát fog utazni. A párnát és a matracot huzat nélkül tilos használni.

- Jó, és mit csináljak...

- Szóval, nem kér ágyneműt?

- Nem, nem kérek.

Aztán lehúzta a bakancsát, rögtön megérződött az agyonhordott zokni szaga, és felfeküdt a fekhelyére. Szánalmas csomagját a feje alá tette, és a fal felé fordult.

Így feküdt végig egy napot. De aligha aludt - nagyokat sóhajtozott. Álmodban nem sóhajtoznak így az emberek.

De akadt olyan útitárs is, aki teljesen befészkelte magát a fejembe.

A lenti ülőkén ültem az asztalnál. A szemközti felső szomszédomb kibámult az ablakon.

- Nincs borzalmasabb ezeknél a pusztai falvaknál - szólalt meg. — Se egy domb, se egy vízmosás. A legjobb esetben is csak valami nyirkos ligetecske, ahol még elrejtőzni sem lehet.

Éppen áthaladtunk a barabinszki sztyeppén. Sötétedett, a kicsiny falvak bánatosan terültek el a végtelen sík térben.

- Igen - feleltem -, kevés kellemes dolog akad itt.

- Hogy lehet elkapni őket? - kérdezte egyszer csak a szomszéd.

Ránéztem. Huszonnyolc-harminc körüli srác. Nagydarab, világos hajú. Bámul, és várja a választ.

- Hogyhogy elkapni? - értetlenkedtem.

Valószínűleg látta a tekintetemben a zavart, és lehet, hogy megijedt, mert bűnbánóan elmosolyodott, és így szólt:

- Csecsenföldön... szóval, ott harcoltam. És most mindent ahhoz mérek.

Voltak író ismerőseim, akik szolgáltak Csecsenföldön. A szolgálatról, vagy bővebben a háborús eseményekről nem beszéltek. Kérdősködni kényelmetlen volt, azt hihették volna, hogy fel akarom használni az anyagukat a munkámhoz. Ezekről az élményekről maguk írták meg az elbeszéléseiket, novelláikat. És akkor most itt van valaki, aki hajlandó magától mesélni...

Felkészültem rá, hogy meghallgassam, de egyúttal aggódtam is, nehogy túlreagáljam, nehogy rosszkor bólogassak, és csendben legyek, amikor arra van szükség.

- De a legundorítóbb ott - kezdte a szomszédomb, miután hosszasan hallgatott és bámulta a sötétedő sztyeppét - a könyvelés. Mindent jelenteni kell, mindent számba kell venni.... Legfőképpen a halottakat.

Nagy, erős és egészséges testalkata ellenére panaszosan és váladékosan köhögött. Ismét sokáig hallgatott. De nem bírta sokáig:

- Leginkább akkor, amikor rögtön a harc után rákezdik: „Hol van ez meg az? Keresse meg!” Értem én, hogy meg kell keresni, de hogyan... Csak ül az ember, reszket a keze, ordít egy sebesült, az ember feje egészen elködösül... A parancsnokság számára legfontosabb először is az, hogy a mieink ne essenek fogságba. Az elszámolás miatt... Vagy hogy ne csesztessék őket miatta. Tudod, előfordult, hogy csak darabokat találtunk egy emberből, akin civil ruha volt, ők meg erre: „Minden rendben, ez már csak ilyen”. Néha felgyújtották, hogy ne lehessen felismerni. Átadták, elküldték... Aztán a csecsenek azt mondták: „Nálunk meg van egy ilyen”. A papírokat meg már kiállították...

A fickó újra köhögött, kinyújtotta a törzsét előbb az egyik, aztán a másik irányba. Elővette a bőrtárcáját, kotorászott benne, majd rám nézett.

- Átmegyünk a büfékocsiba? Beveszünk fejenként két és fél decit.

Az óvatosság erősebbnek bizonyult a kíváncsiságomnál, és így feleltem:

- Bocs, de nem... - kerestem a kifogást. - Bocs, de fáj a gyomrom... Én már megittam a magamét.

- Hát jó - a fickó felállt, szétnézett a folyosón, láthatóan kereste, hogy melyik oldalon lehet a büfékocsi.

Megmondtam neki:

- Arra! Láttam a megállóban.

- Kösz - és már ment is.

Lehajtottam a kisasztalt, és megvettem az ágyat. Aludni még nem akartam, de jobbnak láttam, hogy mire a fickó benyomva visszaér, már inkább aludjak. Csak alszom és alszom...

A fickó két óra múlva jött vissza, szuszogva felmászott a helyére, fészkelődött, dűnnyögött valamit, majd elcsitult... Korán reggel a ka-lauznó ébresztette fel...

- Jurga, uram, gyerünk gyorsan!

A fickó leugrott, lehúzta a táskáját a harmadik fekhelyről, és eltűnt.

Most már sajnálom, hogy akkor nem mentem ki vele, és nem hallgattam végig valami fontosat. Élek, és sajnálom...

Egyszer (azt is tudom, melyik évben - kétezerkettőben) mentem vissza Moszkvába, és valahol Novoszibirszkben vagy Omszkban (nem, Omszkban éjjel áll meg a vonat, akkor viszont nappal volt), szóval, valamelyik állomáson két lány szállt be a fülkémbe. Az egyik, az idősebb, aki olyan huszonhét éves lehetett, elfoglalta az alsó fekhelyet, a másik, aki olyan tizennégy éves forma volt, a felsőt. És ez a másik elkezdett berendezkedni ideiglenes szálláshelyén, és a félig kamasz lányokra jellemzően szégyenlősködött az idegenek előtt, haragudott magára az esetlensége miatt.

Kipakolta a tartóhálóba a piperéit, a fogkefét fogkrémmel, párnája alá dugott egy könyvet meg egy zenelejátszót, a falra pedig (ahová, számomra megmagyarázhatatlan okból egy damil volt kifeszítve) felerősítette Szergej Bodrov képét... Én a szomszéd fekhelyen hevertem, és figyeltem.

A lány felém fordult, én meg úgy tettem, mint aki szunyókál. Miután meggyőződött róla, hogy nem nézem, gyorsan megcsókolta a képet, és suttogott hozzá valamit. Aztán lefeküdt, és a fülébe dugta a fülhallgatót. Sziszegve megszólalt a zene, én pedig a kiszűrődő dallamokból felismertem, hogy ez a *Szárnyak* című szám a Nautilustól. Elnevettem magam. A *Fivér* rajongója.

Abban az időben idegesített, hogy Bodrov ennyire divatba jött, és gyakran ironizáltam rajta, ha megláttam a képernyőn. „Itt van ő, a nemzedéke hőse. Két értelmes szót sem bír kinyögni. Tipikus Szerjoga. Viszont rezzenéstelen arccal kinyír mindenkit.” Idegesített a gyors felemelkedése is: kultikus színész, a forgatókönyvei is keresettek, és már saját filmet is forgatott. „Naná... Apuci nem éppen egy gyári lakatos...”

Eltelt két óra. Sikerült normálisan szunyókálnom egyet, átfutnom egy unalmas könyvet, és nagyokat ásítóznom az unalomtól. A lány lemászott a fekhelyéről, és lent együtt ettek a nővérével. Aztán visszamászott, és mielőtt elhelyezkedett volna, újra suttogott valamit a képhez.

- A kedvenc színésze? - bukott ki belőlem.

A lány gyors és szikrázó pillantást vetett rám, mint valami szemtelen alakra, de azért válaszolt.

- Olyasmi.

- Eee-gen, a lányok szeretik az ilyeneket. Magabiztos, erős. Kár, hogy az életben nincsenek ilyenek.

- Ő az életben is ilyen. - A lány lefeküdt, és a fülébe nyomta a fülhallgatót.

- Aligha. Az életben mind gyengék. Maga az élet teszi gyengévé az embert. A kompromisszumok, az általánosan elfogadott értékek, a korlátozások... Én - köhintettem zavaromban - író vagyok, a harmadik könyvem jelenik már meg, és sokat publikáltam folyóiratokban is...

Szünetet tartottam, vártam, hátha a lány megkérdezi a vezetéknevet, de nem kérdezte. De egyébként a fülhallgatót sem sietett már visszatenni a fülébe.

- És mindig bántanak, hogy a hőseim gyengék, és csak sodródnak az árral. Általában ez igaz is. Pedig keresem az erős, kemény hőst. Figyelem az embereket. És... most az erősökre gondolok... vagy egy állat az illető, pontosabban vadállat, vagy csak tetteti magát az első bonyodalomig. A vadállatok számát nem akarom szaporítani az irodalomban. Meg mi érdekes is lenne bennük? Törtetnek előre, a többieket meg eltapossák. Ha valaki pattog, azt képen vágják. Akik pedig erősnek tetetik magukat.... hát, azokat is.... Úgyhogy muszáj a gyengékről írni. És ez a maga bálványa... csak a vásznon olyan, a való életben viszont...

- Ő egy igazi férfi! - mondta magabiztosan a lány.

- Honnan tudja? Az ismerőse, vagy mi?

- Nem.

- Járt már egyáltalán Moszkvában?

- Nem, még nem jártam.

Felsőhajtottam:

- Én már hat éve lakom ott. Nincsenek ott igazi férfiak. Aki igazi volt, azt megölték, vagy ha valaki mégis erősnek bizonyul, az gyorsan gyengévé válik. Én is idevalósi vagyok, szibériai, és Moszkvába úgy érkeztem, hogy erős voltam.

Megálltam, és kifújtam magam. Nem egyszerű hanyatt fekvé monológot mondani. A lány nézte Szergej Bodrov képét, és kezét a szinte teljesen lapos mellén nyugtatta.

- Szergej bekerült a rendszerbe, nevet szerzett magának, híres lett - folytattam, mert tudtam, hogy a lány figyelmét bármelyik percben el-

veszíthetem. - És persze segítettek neki, hogy ilyenné váljon. És mi vár most rá? Még sokáig, nagyon sokáig fogja játszani a kemény legényeket, fivéreket, tiszteteket. Filmeket fog forgatni. Partikra fog járni, meg a *Kinotavr* filmfesztiválra.

- Na és aztán, méltó rá...

- Méltó rá, tiszta sor. De én másról beszélek: sosem fog úgy kimenni az utcára, mint a filmekben, hogy igazságot osszon. Vagyis...

- Ha kell, akkor úgy fog kimenni.

Újra felsőhajtottam, úgy, mint aki már sok mindent megélt:

- Aligha, aligha. Gyerekkorától fogva egy másik dimenzióban él. Az apja híres rendező, partik, saját ismeretségi kör...

Őszintén beszéltem, de egyúttal bosszantani is akartam a lányt, vitát igyekeztem provokálni. Ha alkalom nyílt rá, szerettem vitába szállni az ilyen tizenévesekkel - ők még mindenhez olyan komolyan állnak, hevesen védik az éppen csak kialakult elveiket, de közben odafigyelnek még a mások véleményére is; egy kis erőfeszítéssel meg lehet győzni, át lehet gyúrni, át lehet alakítani őket.

- A *Nővéreket* látta? - kérdeztem.

- Igen, persze.

- Tetszett?

- Igen.

- És emlékszik, amikor Bodrov találkozik a főhősnővel, és meglepődik, hogy a nő milyen jól tud löni...

- Igen, emlékszem - a lány arca megfeszült, láthatóan megsejtette, hogy hová akarok kilyukadni.

- Felajánlja neki, azt hiszem, hogy szegődjön el hozzá testőrnek. És elutazik. És ennyi. A nőnek gondjai támadnak, egy hajszálon függ az élete, de a fickó elutazik a haverjaival.

- De hiszen nem tudott róla.

- De megtudhatta volna.

- Az apjuknak kellett megmenteni őket. Ez volt a missziója.

- Miszió, massage - nevettem el magam. - Valószínűleg... Igen, valószínűleg igaza van. Az ő misziója volt... És maga szeretett volna ennek a nővérnek a helyében lenni?

- Milyen értelemben?

- Hát, az életben.

- Nem tudom - vonta meg a lány a vállát, és a képre nézett: Bodrov arca komoly volt, összeszedett, és mintha hallgatta volna a beszélgetésünket.

- És játszani ebben a filmben? Vagy egyáltalán, összeismerkedni Bodrovval?

A lány rám nézett, de már nem mint egy szemtelen alakra, hanem mint egy idiotára, és a fal felé fordult. A fülhallgatójából újra kiszűrődött a zene. Azt hiszem, megint a *Szárnyak*.

Nyíltan és komótosan végigmértem a lányt: hegyes váll, karcsú derék, kerek, már egészen nőies fenék, piros zoknis, apró lábfejek. Három-négy év múlva férjhez megy.

„Hozzámész valami igazi férfihoz, aki boltokat robbantgat - gondoltam ironikusan. - Sok szerencsét.” Én is elfordultam, és fél órán át próbáltam elaludni, végül sikerült is, a vonat elringatott.

Reggelre a lány és a nővére már elmentek. Leszálltak valahol Omszk és Tyumeny között. Örültem, hogy így történt - az esti beszélgetés miatt, a hengegém miatt, hogy író vagyok, kicsit kínosan éreztem magam. Elbeszélgettünk, és kész, aztán megszűntünk egymás számára létezni.

...Néhány hónappal később, amikor megtudtam, hogy Bodrovot és a forgatócsoportját maga alá temette egy lavina a Kaukázusban, eszembe jutott a lány. Elképzelttem, hogy a lány nem tágít a tv vagy a számítógép mellől, várja a híreket és zokog, bár valószínű (ez inkább illene hozzá), hogy visszatartja a sírását, és csöndben nyeli a könnyeit, úgy, mint Okszana Akinysina a *Nővérek* végénél.

Sok év eltelt azóta. Valóban sok. Bodrovot továbbra sem találták meg, a Kodorszkoje szurdokban maga alá temette a kő meg a jég. A filmeket, amelyekben szerepelt, újra és újra leadják. Új idők jöttek, és új mozihősök születtek. De Bodrovnál igazibb figurát nem láttam. Bár a való életben találkoztam olyanokkal, akik hasonlítottak rá. Igaz, náluk nem volt fegyver, és nem verték szét az első adandó alkalommal az ellenfelük képét, de minden bizonnyal, ha úgy jönne ki a lépés, és feltétlenül szükséges lenne, porrá zúznák őket.

Meglehet, hogy valódiságuk nem ebben, hanem valami belső erőben és természetes jószágban rejlik. Ezek a srácok ösztönösen tisztességesek

és becsületesek... Nehéz ezt szavakba önteni - az ember lényegét úgy általában nem könnyű megmutatni, mint ahogy eligazodni sem rajta. De ezek a srácok nem hasonlítanak a kilencvenes évek ostoba és ijesztő figuráira, sokkal inkább emlékeztetnek a korai szovjet idők komszomolista ifjaihoz, bár őket csak filmekből és könyvekből ismerem.

És olyan lányokkal is ritkán találkozom, mint amilyen a felső fekhelyen feküdt, és néhány percet beszélgettem vele. Ilyen szűkszavú, nyugodt lányokkal, akik megértettek valami fontosat, valami számukra meghatározót. Lehet - sőt biztos -, hogy a legtöbbjüket összetöri, tönkreteszi, gyengévé és üressé teszi az élet. Szeretném hinni, hogy nem mindannyiukat. És hogy ezek közül a srácok és lányok közül valaki valószínűleg csinál valami igazit. Nem tudom pontosan, mit, de biztos vagyok benne, hogy kitalálom: éppen ez az az igazi.

És amikor a moszkvai vonaton utazom Minuszinszk felé vagy vissza, mindig reménykedem benne, hogy találkozom azzal a lánnyal, aki akkor, sok évvel ezelőtt, kitette Bodrov képét a fülke falára. Nem emlékszem, hogy nézett ki, és azóta minden bizonnyal nagyon megváltozott, de azt hiszem, megismerném, ha egymás mellé kerülnének a fülkében. Odaülne hozzá, és bocsánatot kérné az iróniáért. Hogy hogyan alakult az élete, nem kérdezném. Anélkül is érthető lenne, hogy igazi lett-e, vagy sem.

*Teleki Anna fordítása*

TELEKI ANNA

FORDÍTÓI KOMMENTÁR

Roman Szencsin *Az igazi férfi* című elbeszéléséhez

A kortárs orosz irodalom egyik kiemelkedő szerzője, Roman Szencsin témáival és elbeszélői módszerével az ezredfordulón indult újrealista tendenciákhoz kapcsolódik. Nyíltan és őszintén beszél a jelen társadalom - főként az orosz vidéki élet - problémáiról és visszasságairól. Írásaiban igyekszik megmutatni az egyszerű orosz ember lelkületét és a fennmaradásáért vívott, sokszor tragikus csatározásait.

Szencsin 1971-ben, mélyen Szibéria belsejében, a mongol határhoz közeli Kizilben született. A leningrádi építési technikum elvégzése után az irodalom mellett döntött, és a moszkvai Gorkij Irodalmi Intézetben folytatott tanulmányai befejezése után ugyanott önálló szemináriumokat is vezetett. 1996-tól megjelentek az első elbeszélései, és állandó szerzőjévé vált számos irodalmi folyóiratnak. Regényei és elbeszélései nem maradtak visszhang nélkül sem a kritika, sem az olvasók részéről: neves irodalmi lapok és folyóiratok (*Lityerturnaja Rosszija*, *Znamja*, *Venyec*) díjait követően 2009-ben bekerült a Nagy Könyv és az Orosz Booker díjazottjai közé.

Szencsinnek a jelen kötetben szereplő *Az igazi férfi* (Nasztójascsi pareny) című novellája felidézi azt a kedvelt eljárást, amelynek során a szerző-elbeszélő hosszú vonatútjai során figyeli az utastársait, hogy műveihez megfelelő karaktereket találjon. Műfordítói szempontból kihívást jelenthet úgy stilizálni a magyar szöveget, hogy az képes legyen visszaadni a szerző elégikus-nosztalgikus, tűnődő hangvételét, melyet felváltanak a vonatra felszálló különféle vidéki figurák monológjai is dialógusai. Ugyancsak nehézséget jelent magyar nyelvre átültetni az orosz reáliákat is: ilyen például a szövegben központi szerephez jutó, és hatalmas szépirodalmi és kulturális háttérrel rendelkező orosz vonat és maga a vonatút.

Értelmezési szempontból izgalmas problémát vet fel a novellában megjelenő intertextus, *A fivér* (Brat) című orosz kultuszfilm. Dolgozatom első részében egy rövid összehasonlító elemzésben szeretnék összefüggési pontokat keresni Roman Szencsin *A Jeltisev család*<sup>30</sup> (Jeltisevi) magyar címmel megjelent regénye, az általam fordított *Az igazi férfi* (Nasztójascsi pareny) című novella és *A fivér* című film között. E három mű vizsgálata segítséget nyújthat a Szencsin-szövegekben gyakran előforduló orosz vidék archetípusának, valamint a város és az orosz falu metafizikai szembenállásának értelmezésében. A dolgozat második felében pedig szeretnék kitérni néhány olyan szöveghelyre,

<sup>30</sup> *A Jeltisev család*. Fordította M. Nagy Miklós. Budapest, Európa Kiadó, 2015.

melyek műfordítási szempontból – megítélésem szerint – kritikusnak vagy érdekesnek bizonyultak.

Szencsin talán legtöbbet vitatott és legtöbb elismerést kapott regénye *A Jeltisev család* (amely eddig az egyetlen, magyar nyelven megjelent Szencsin-mű volt), folytatja és megújítja az orosz vidéki élet ábrázolását az orosz irodalomban, és szorosan kapcsolódik az úgynevezett „falusi próza” szépirodalmi hagyományához.

Az orosz falu és a benne szunnyadó orosz néplélek az egész orosz kultúra és a nemzeti létezés organikus része. A vidéki élet szépirodalmi lenyomata kezdettől fogva erős történelmi tapasztalatra támaszkodik (az obszcina rendszer, a szlavofil és a narodnyik mozgalmak), és irodalmi korszakoktól vagy irányzatoktól függetlenül mindig megőrizte elevenségét, no meg szembenállását a hierarhikus, konstruált városi kultúrával. E koncepció szerint a városi élet szabályaival és a városi emberrel szemben a falu megtartotta a valódi és tiszta, ősi orosz jellegét.

A 19. századtól kezdve a szikár őserőt jelképező falusi létforma elenkultúráként jelenik meg az orosz szépirodalomban. A társadalom szélére sodort parasztság helyzetére, a bennük nyugvó még érintetlen, ösztönökön és a pogány népi kultúrán alapuló lelkiségre a század második felének nagy írói – többek között Tolsztoj és Dosztojevskij – is felhívták a figyelmet. Tolsztojnak a parasztság kitaszított helyzete miatt érzett *nemesi büntudata* és vonzalma a népi szubkultúra iránt tovább élt a 20. század szimbolistáinál is, akik szövegeikben továbbvitték az orosz falu és rejtélyes paraszti lélek mitikus toposzát – még akkor is, ha szemléletükbe ironikus távolságtartás vegyül, mint például Andrej Belijnél vagy Alekszej Remizovnál.

Bár a falusi tematika a sztálini időkben is jelen volt az irodalomban, a cenzúra enyhülése után, az 1970-es években kialakult és külön irányzattá vált a „falusi próza” (Valentyin Raszputyin, Vaszilij Suksin, Viktor Asztafjev), amely bár ideológiai kötöttségekkel, de nyíltan tudott foglalkozni az orosz falu társadalmi, gazdasági problémáival és a falusi ember helyzetének morális kérdéseivel.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Szőke Katalin: *A paraszti ellenkultúra és a mai orosz irodalom szub-*

A vidéki élet ideáktól mentes, széteső és egyre kilátástalanabb helyzetének ábrázolása a rendszerváltás utáni orosz irodalomban és napjaink kortárs irodalmában is folytatódott. Roman Szencsin *A Jeltisev család* című regénye egy tipizált, középrétegbeli család romlástörténetén keresztül kíméletlen plasztikussággal mutatja be az ezredfordulóra a totális kilátástalanság és pusztulás szélére jutott orosz falut.

A történet szerint Mihail Jeltisev egy munkahelyi ballépés után kénytelen feladni korábbi életét, és családjával együtt egy kicsiny, gyakorlatilag a kihalás szélén álló faluba, Muranovóba költözni, hogy ott kezdjen új életet. A nyugodt, vidéki élet és a talpra állás reménye lassan és fokozatosan kúszik ki Jeltisevék rozoga falusi viskójának ajtaja alatt. A család képtelen beilleszkedni a falu sajátos szabályrendszerébe, képtelenek az elfogadásra és saját maguk elfogadtatására. Az egyre nyomasztóbb környezetben minden igény és vágy a jobb élet iránt lemorzsolódik, a család kiüresedett életét a mindennapos monoton ivászat és szeszkereskedelem hajtja a végleges apátia és pusztulás felé. A szoros családi kötelék, az együttes küzdeni akarás elég erőt adhatna az új életter kialakításához, de a jellemében gyenge Jeltisev válogatott gyilkosságokba keveredik, majd egy hirtelen fellángoló ittas veszekedés során a saját fiát is megöli.

A regény vizsgálatakor fontos megjegyezni, hogy a Jeltisev családot nem a környezete sodorja a romlás útjára, nem a vidéki lét vadítja el véglegesen. Szencsin a posztszovjet kisember típusát mutatja be Jeltisevéken keresztül, akik függetlenül az őket körülvevő feltételektől – vagy attól, hogy hol kell (vagy kellene) megküzdeniük a fennmaradásukért –, legalább annyira hibásak sorsuk alakulásáért, mint az őket rontó környezetük. Jeltisevéket a saját enerváltságuk öli meg.

A Szovjetunió széthullásának társadalmi és gazdasági következményei nem jelennek meg hangsúlyosan a cselekményben, nem válnak közvetlen szervező erővé a kibontakozó problémák megjelenítésében, ok-okozati összefüggésük viszont a kialakult helyzetekben – egyfelől a család társadalmi helyzetében, másfelől pedig a faluban kialakult

---

kulturális metatextusa. In: Szőke Katalin: Álommúzeum. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, pp. 43–46.

állapotokban – komoly jelentéssel bír. Ezt a feltevést igazolja a regény elején elhangzó magyarázat arról, hogy a rendszerváltás éveiben, amikor Jeltisev befolyásolhatta volna további sorsát, ő inkább „átaludta azt a pillanatot, amikor, mint a három vitézről szóló mesében, ki kellett volna választani, hogy melyik úton menjen tovább...”<sup>32</sup>. A falu egyre pusztuló képét és annak egyik okát, a munkanélküliséget pedig a polgármester tárja fel Jeltisevnek előtt: „Sok helybélinek sincs munkája. ... Tavaly még működött az állattenyésztő telep, de most semmi sincsen. ... Vannak nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok is... Sokan gyerekek után kapnak segítyt...”<sup>33</sup>

Valerija Pusztovaja a regényről írt tanulmányában hangsúlyozza, hogy Szencsin nem kínál hamis reményt, nem áztatja sem a hőseit, sem az olvasókat az új élet reményével, de lehetőséget ad a kialakult új életkörülmények megértéséhez.<sup>34</sup>

*A Jeltisev család* című regényében nyomon követhetjük két ellentétes világot, két ellentétes erőt – illetve az erőtlenség és az erő – egymásnak feszülését. Az elemi ösztönökön és farkastörvényeken alapuló faluval szemben ellenpólusként szerepel az erőtlen, gyenge város, és benne a városiak. Szencsin megmutatja az orosz falu, a vidéki lét helyzetét mint az orosz társadalom szociális, morális és gazdasági problémáját, de emellett metafizikai szinten megjelenik az orosz faluban gyökerező eleven őserő archetípusa is.

*A Jeltisev család* vizsgálatakor fontos kiemelni azt a problémakört, mely szerint a falusiak és a városiak szembenállásának bináris oppozíciójával szoros összefüggésben szerepel az idegenség tapasztalata. Az idegen, az idegentől való félelem és a félelem kiváltotta agresszió egymásra folytonosan reflektáló triász a Jeltisevék történetében a konfliktusok okozója. A gyenge városiakat képviselő Jeltisevék és a metafizikai

<sup>32</sup> Az idézet itt és a továbbiakban: Roman Szencsin: *A Jeltisev család*. Fordította M Nagy Miklós. Budapest, Európa Kiadó, 2016, p. 6.

<sup>33</sup> Uo. p. 58.

<sup>34</sup> Пустовая, Валерия: Иск маленькому человеку. [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2009/12/pu13.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/12/pu13.html). Letöltés ideje: 2018. 08.18.

őserőt képviselő falusiak kibékíthetetlenül szembekerülnek egymással. Mindkét fél tart a másiktól, és nem akarja közel engedni vagy elfogadni azt, ami számára idegen, így védekezésül a támadást választja. Ez történik Jeltisevékkel is, akik idegenek a falusi közegben, és jobbnak látják meghúzni magukat a kerítésük mögött, mintsem konfrontálódni a számukra idegen külvilággal.

Az őserőt képviselő falu nem enged, és megtöri az idegen közegből érkezőket. Jeltisevék nem tudnak feloldódni a számukra új életterben, a saját, a városból hozott szabályaikat nem tudják érvényesíteni, de valójában nem is akarják. Jeltisevék eredendően gyengék a falusi életformához – és itt nem fizikai értelemben vett gyengeségre kell gondolni, sokkal inkább mentális vagy még inkább metafizikai szinten értelmezett gyengeségre. Erre talán a legadekvátabb példa az idősebb fiú, Artyom, az esetlen, ingyenélő és tunya, igazi városi gyerek, akinek legfőbb időtöltése a semmittevés, akár a városban tartózkodik, akár a faluban. A narrációban nyomon követhető a Jeltisevéket körülvevő állandó fáradtság, levertség. Sokkal szívesebben alszanak át egy napot ahelyett, hogy nekikezdenének életük rendezéséhez, és ez a belső erőtlenség, életképtelenség az, ami a vesztüket okozza. Jeltisevné számára is valóságos kinszenvedés elindulni munkát keresni, és nem csak azért, mert előre tudja, hogy esélye sincs: „Tizennegyedikén reggel végül csak rászánta magát. Felvette a legjobb kösztümét... gyorsan kilépett az ajtón, nehogy visszamenjen a szobába, és ő is csak elüldögéljen, mint a többiek... Mert nagyon szeretett volna visszamenni és leülni.”<sup>35</sup>

Jeltisevné a faluban született, de később minden köteléket elvesztett. A városban szocializálódott, ott alakította ki a magánéleti és a munkahelyi kapcsolatait, és ott vált gyengévé, életképtelenné és idegenné a falu számára. Érdekes megvizsgálni, hogy Jeltisevék mentális és fizikális pusztulásának okozója nem a közvetlen környezetük. Saját helyzetükbe, saját lelki apátiájukba betegednek bele. Ezt ellenpontosítják a falusiak, akik bár szintén szenvednek a vidéki élet viszonyosságaitól, mégis képesek együtt élni vele, képesek rá, hogy a falu szabályai

<sup>35</sup> Roman Szencsin: *A Jeltisev család*. ford.: M Nagy Miklós. Európa Kiadó. Budapest, 2016, p. 55–56.

szerint éljenek. Amikor érik a lonc, vagy gombászni lehet az erdőn, a falusiak élnek a lehetőséggel. Jeltisevék megpróbálják követni a helyiek példáját, de képtelenek felvenni a ritmust. A fiatalok nyaranta boldogan elüldögélnek a tóparton, mégsem süllyednek agonizáló semmittevésbe, és képesek életben tartani magukat a mélyszegénység és a szinte kivétel nélkül mindenkit érintő alkoholizmus mellett. A falusiak halálát legtöbbször a falu viszonyosságai okozzák, külső hatások – alkoholmérgezés a házi szesztől, vagy a szomszéd falu lakóival folytatott bandaháborúk szerencsétlen kimenetele –, de sosem a belső, lelki eltorzítás, mint Jeltisevék esetében.

Az erős orosz vidék és a gyenge város szembenállásának problémaköre jelenik meg Roman Szencsin *Az igazi férfi* című novellájában is. A szerző-elbeszélő nosztalgikus-elégikus hangon mesél egy olyan nemzeti karakter eltűnéséről, feloldódásáról a kortárs orosz társadalomban, melynek ábrázolásához megidézi *A fivér*<sup>36</sup> című filmet és kultikus főszereplőjét, Szergej Bodrovot.

*A fivér* 1997-es bemutatása után óriási sikert aratott, és az új nemzedék kultuszfilmjévé vált. Bodrovot rajongói gyakorlatilag azonosították filmbéli karakterével, a csecsen háborúból hazatért egyszerű, vidéki fiúval, Danyila Bagrovval, aki a jobb élet reményében utazik Szentpétervárra. Danyila bátyja már régóta a nagyvárosban él, és hamar kiderül, hogy közel sem tisztességes munkával keresi a kenyerét: bergyilkosként „dolgozik”, és kész átadni a megbízásait az öccsének, persze úgy, hogy a haszon nagyobbik fele a saját zsebében maradjon. A csecsen harcokban kiváló ismereteket szerzett fiú hidegvérrel elvégzi a rábízott feladatot: ha kell, gyilkológéppé változik. Danyila karakterének lényege, a benne lakozó, a vidékről hozott elemi őserő azonban nem ebben rejlik. Pétervár utcáin önjelölt igazságszótóvá, ha úgy tetszik, modern kori Robin Hooddá válik: a szegények és elesettek védelmére kel, és könyörtelenül megleckézteti a rosszfíúkat.

<sup>36</sup> *A fivér* (1997). Rendező: Alekszej Balabanov. (A filmet Magyarországon is bemutatták.)

Szergej Lavrentjev<sup>37</sup> azt írja a film kapcsán, hogy a nézők és a kritika már régóta várt olyan karakterre a mozivásznon, aki nemzedékének és korának tökéletes megtestesítője. Korunk titokzatos hőstípusa Bodrov – fogalmaz Aljona Szolnceva<sup>38</sup> –, aki valójában nem képzett színész, nemcsak egyszerűen eljátssza, hanem életre kelti a szerepét a mozivásznon. Belülről fakadó ösztönös erőre van szükség Danyila Bagrov megformálásához, és ez megvan Bodrovban.

A novella elbeszélője pontosan ennek a nemzeti típusnak a kivésését látja később az ezredforduló utáni nemzedékben. Szinte szó szerint idéz a filmből, amikor arról beszél, hogy „Сама жизнь делает человека слабым. ... кто появляется сильный, быстро размякает. Я тоже отсюда, из Сибири, в Москву сильным приехал.”<sup>39</sup> („Maga az élet teszi gyengévé az embert. (...) ha valaki mégis erősnek bizonyul, az gyorsan gyengévé válik. Én is idevalósi vagyok, szibériai, és Moszkvába úgy érkeztem, hogy erős voltam.”) Hasonló gondolatok hangzanak el *A fivér* végén: „Вот ты говорил, город – сила, а здесь слабые все. – Город, это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу.” („Azt mondtad, a város – erő, de itt mindenki gyenge. – A város gonosz erő. Erősen érkezel, de itt meggyengülsz. A város elveszi az erőt.”)

Az *igazi férfi* szerző-elbeszélője a transzszibériai vonaton ülve olyan arcokat keres, akikben még megvan a tiszta elevenség, a belső erő és természetes jószág, akik ösztönösen tisztességesek és becsületesek, akik megértettek valami fontosat az őket körülvevő világból. Ezt a nemzeti jellemet látta az orosz vidék egyszerű embereiben, és ezt a nemzeti

<sup>37</sup> 20 лет «Брату»: что писали критики о фильме в 90-е <https://daily.afisha.ru/cinema/5893-что-писали-о-brate/> Letöltés dátuma: 2018. 08. 18.

<sup>38</sup> 20 лет «Брату»: что писали критики о фильме в 90-е <https://daily.afisha.ru/cinema/5893-что-писали-о-brate/> Letöltés dátuma: 2018. 08. 18.

<sup>39</sup> Idézet a szövegből itt és a továbbiakban: Сенчин, Роман: Настоящий парень. In: Срыв. Москва, Издательство АСТ, 2016, pp. 306–307.

jellemet látta Bodrovban, az általa megformált Danyilában és nemzedékében.

Szencsin elbeszélésének címe Настоящий парень ami igazi, valódi fiatal srácot jelent. Ez a szókapcsolat többször is megjelenik a szövegben – pl. amikor a szerző Bodrovról és nemzedékéről beszélget az utastársával, majd pedig a szöveg végén, amikor visszaemlékezik erre a nemzedékre: azokra a 90-es évekbeli fiatalokra vonatkozik, akikben még volt valami spiritusz, valami érzék az élethez. A szövegben több helyen jobb megoldásnak bizonyult volna a настоящий-t valódinak fordítani (pl.: Нету там настоящего. – Ott nincs semmi valódi.; не в этом их настоящесть... valódiságuk nem ebben rejlik...), és a настоящий парень – valódi srác megfeleltetés is jobban kifejezte volna a szöveg mondanivalóját, hiszen sokkal inkább fiatal srácokról van szó, mintsem férfiakról. Azoknál a szöveghelyeknél viszont, ahol a настоящий парень szókapcsolat szerepelt, stilisztikailag jobban megfelelt az „igazi férfi” fordítás (pl.: Он настоящий парень! Ő egy igazi férfi!, bár tartalmilag az Ő egy valódi srác jobban beleillene a szövegbe).

A magyar olvasó számára az orosz távolsági vonatok gyakorlatilag ismeretlenek. A novella elbeszélője a transzszibériai expresszen egy olcsó, több utast összezsúfoló vagon (плацкартный вагон) választ magának, amely kis fülkéből álló egybenyitott tér, a fülkéken belül háromszintes, priccshoz hasonló lenyitható fekhelyekkel. Ezt a típusú vagonat a műfordítási gyakorlat helyjegyves kocsinak, vagonnak szokta fordítani. A szöveg elején a szókapcsolatot meghagytam egyben: Плацкартные вагоны я предпочитаю купейным,... A helyjegyves vagonokat jobban szeretem, mint a kupésokat... A későbbiekben viszont, ahol a плацкартный az отсек szóval (amely fülkét vagy kabint jelent) szerepelt, ott a magyar szöveg gördülékenyebbé tétele miatt a fordításból elhagytam a плацкартный-t: ... устраивается на постой в нашем плацкартном отсеке – letelepszik a helyére a fülkénkben; vagy: в наш плацкартный отсек заселились две девушки – két lány szállt be a fülkénkbe...

A priccshoz hasonló lenyitható ágyakat az orosz a полка – polc szóval fejezi ki, melyet a cselekmény környezetéhez igazodva fekhelynek fordítottam (pl.: нашел своё место. Боковую верхнюю полку.



- megkereste a helyét. Az oldalsó, felső fekhelyet.; стащил сумку с третьей полки - lehúzta a táskáját a harmadik fekhelyről; заняла нижнюю полку - elfoglalta az alsó fekhelyet; Я лежала на соседней полке. - Én a szomszéd fekhelyen hevertem.)

Még mindig a vonatos témakörnél maradva: а пришла проводница, оторвала копию билета у мужчины azt az egyszerűsítő megoldást választottam, hogy 'bejött a kalauznó, és lekezelte a férfi jegyét, ahelyett, hogy megmagyaráztam volna, milyen egy orosz vonatjegy, és abból miért kell leszakítani az egyik példányt.

A szerző-elbeszélő részletesen leírja, ahogyan a tinédzser lány elrendezi a holmiját a vonaton: Положила на сетку косметичку itt a сетка, amely hálót jelent, olyan kis hálós polcocskára utal, amilyen a hálókocsis vonatokon fordulhat elő, ezért így oldottam meg: 'kipakolta a tartóhálóba a piperéit.

Fejtörést jelentett az упругая полоска kifejezés fordítása is. Itt még mindig az előbb említett fiatal lányról van szó, aki a fülke falán lógó gumira? gumicsíkra? ráerősít egy fényképet. A szövegrész érthetőbbé tétele miatt a *damil* szót választottam. Ezzel a megoldással a mondatrész így hangzik: на стенке (там есть, такая упругая полоска, неизвестно мне для чего) укрепила портрет Сергея Бодрова. - a falra (ahová, számomra megmagyarázhatatlan okból, egy *damil* volt kifejezés) felerősítette Szergej Bodrov képét.

A továbbiakban olyan kritikusként ítélt szöveghelyeket szeretnék kiemelni, ahol a magyar szöveg érthetőbbé vagy stilisztikailag gördülékenyebbé tétele miatt az eredeti orosz szöveghez képest magyarázatra, bővítésre vagy egyszerűsítésre volt szükség.

Или вот такой случай, такой застрявший в голове попутчик. Itt arról van szó, hogy voltak olyan esetek, helyzetek, amikor az elbeszélő olyan figurákkal utazott együtt, akik aztán megmaradtak a fejében, annyira megfogták a fantáziáját, hogy nem tudott szabadulni tőlük. Ez a mondat magyarra fordítva így hangzik: 'De akadt olyan útitárs is, aki teljesen befészkelte magát a fejembe'. A такой случай-t elhagytam, hogy ne terheljem vele túl a magyar mondatot.

Я приготовился слушать (...) промолчать, когда надо. Ebben a mondatban arról van szó, hogy az elbeszélő miként szokott jó hallgató-

sággá válni utastársai számára. А слушать szó hallgatást jelent, pl. valakit meghallgatni, а промолчать pedig szintén hallgatást jelent: csendben lenni. A mondat tehát magyarul így hangzik: 'Felkészültem rá, hogy meghallgassam (...), és csendben legyek, amikor arra van szükség.'

Снова долго молчал. Но не выдержал. A mesélő útitárs a köhögés után elhallgat, de nem bírja ki, hogy ne folytassa a monológját. A gördülékenység szempontjából elhagytam a выдержал-t, és így oldottam meg: 'Ismét sokáig hallgatott. De nem bírta sokáig'. Nagyon érdekes az a beszélt nyelvi dialogikus rész, ahol az útitárs a büfékocsiba invitálja az elbeszélőt: Может, в вагон-ресторан? Примем по двести пятьдесят. А примем по олыасмит fejez ki, hogy fejenként két és fél decit fognak meginni (tudniillik egy félliteres üveg felét-felét). Megoldásomban igyekeztem visszaadni a hiányos mondatrészt úgy, hogy a magyar olvasó számára világos legyen a jelentés, ugyanakkor többé-kevésbé a stílus is megmaradjon: 'Átmegyünk a büfé kocsiba? Beveszünk fejenként két és fél decit.'

Szintén izgalmas kifejezés ugyanebben a dialógusban а я своё отпил. (A mondat eleje így hangzik: у меня желудок больной.) Két megoldáson gondolkodtam: az egyik a 'már elittam', a másik pedig a 'már megittam a magamét'. A szöveggörnyezethez és a stílushoz igazodva végül az utóbbira esett a választásom.

Az orosz nyelvben egymás megszólítására létezik а девушка ('kisasszony', sok esetben még akkor is, ha az illető rég túl van a lánykoron), а молодой человек ('fiatalember') és а мужчина ('férfi'). A magyar nyelvben használatos hölgyem, uram (az 'uram' oroszul господин) megszólítást az orosz csak nagyon hivatalos helyzetben használja. A szövegben előforduló Юрга, мужчина, давайте скорей! mondatban а мужчина szót ezért mindenképpen az 'uram' szóval kellett viszszaadnom: 'Jurga, uram, gyerünk gyorsan!'

A vonaton utazó lány fülhallgatójából kiszűrődik a zene, amelyet az elbeszélő felismer: Шипяще зазвучала мелодия, majd pár oldallal később зашипела в наушниках музыка szó szerinti fordításban: susogva/sipítva felhangzott, felcsendült a dallam, felcsendült a fülhallgatóban a zene. A magyar szöveg dinamikájához igazodva mind a két helyen а 'kiszűrődő dallamok/ kiszűrődő zene' megoldást választottam.



A fülhallgatóból kiszűrődő zene a legendás orosz Nautilus zenekar *Szárnyak* című száma, amely nem csak *A fivér* című filmet hatja át, hanem végig hallatszik a Szencsin-elbeszélésben is, a vonaton, amikor az elbeszélő Bodrov nemzedékéről beszél.

A *Szárnyak* refrénje - „Мы все потеряли что-то, на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне.”<sup>40</sup> - még világosabbá teszi nemcsak a film, hanem Szencsin elbeszélésének mondanivalóját is: egy orosz nemzeti karakter, az ösztönös őserőt képviselő egyszerű vidéki srác eltűnik, mert a város meggyengít, a város elveszi az erőt.

<sup>40</sup> Idézet a Nautilus nevű orosz zenekar *Крылья* (Szárnnyak) című számából. <https://www.gl5.ru/nautilus-pompilius-krylya.html>

Jurij Bujda

## KAZIMIR MALEVICS MÁSIK ÉLETE

Ajsa együgyű és szép lány volt.

Az egész kisváros együgyűnek tartotta, szépségnek azonban csak Kazimir Malevics.

A lánynak tetszett ez a szerep: együgyűként nyugodtan piszkálhatta az orrát, felhúzhatta a ruhája alját férfiak előtt, pisilhetett a kerítés tövében, és viaskodhatott kóbor kutyákkal. Édesanyja arra azért rábírta Ajsát, hogy fogat mosson vagy fehérneműt cseréljen, és pórázon tartotta a lányát, amikor az olyan borzasztóan vágott férfira.

A szépségnek összességében nem volt nehéz élete: Malevics megengedte neki, hogy turkáljon az orrában és pucéran járjon. Igaz, az nem tetszett neki, ha a meztelen Ajsa közeledni kezdett felé. Ilyenkor az öreg megkérte, hogy üljön nyugodtan vagy feküdjön csendben, hogy elkészíthesse róla a soron következő portrét. Lefestette meztelenül és ruhástul, ülve és fekvé. Műtermében már több száz rajz és festmény sorakozott, amelyek a lányt a legkülönbözőbb pózokban örökítették meg: Ajsa az ablaknál ül a konyhában, Ajsa a heverőn alszik a műteremben, Ajsa kavicsokkal játszik a tó partján...

Malevics ismerte Ajsát kislány kora óta, és szinte minden nap rajzolt róla egy portrét – több mint húsz éven keresztül.

Ajsa édesanyja, Róza nem értette az öreget. Ő nem tartotta szépnek a lányát: lapos orr, húsos ajkak, kancsal, barna szem, az ujjain lerágott körmök. Róza magát tartotta szépnek – a keblei teltek, a fenekét pedig még imába is foglalták a férfiak. Malevics őt is régóta, már azelőtt is ismerte, mielőtt összejött azzal az izákkal – név szerint Dambbal –, akitől lányt szült; de Rózát sosem festette le.

Róza takarítani járt Malevics házába, és ebédet készített neki. Azután kezdett el ezzel foglalkozni, miután meghalt az anyja, aki csakúgy,



mint az ő anyja – azaz Róza nagyanyja –, az egyedül élő öregemberről gondoskodott.

Malevics igénytelen ember volt, az evés iránt pedig egyenesen közömbösen viselkedett. Ódzkodott a hűtővásárlástól, ezért Róza gyakran talált megsavanyodott levest a tűzhelyen. Malevics nem nyúlt sem a kvaszhoz, sem a házi sörhöz, amit Róza hozott neki, de úgy tűnt, még vizet sem ivott.

Ami az étkezést illeti, Róza szigorú szabályokhoz tartotta magát. Nem ette meg a házinyúl húsát, mert a házinyúl majdnem dísznyúl, a dísznyúl meg majdnem macska, macskát pedig senki sem eszik. Róza úgy tartotta, hogy a nőknek gyakrabban szükséges üríteniük, hogy olyan szép hátsójuk legyen, mint amilyen neki is van, ehhez pedig többet kell enniük. Ezzel szemben a férfiaknak inniuk kell többet.

De az öreg nem osztotta Róza meggyőződését, így a nő végül Dambal szúrta össze a levet, akit később egy sor másik férfira cserélt. Közben minden érdeklődését elveszítette Malevics iránt, és a felette való gyámkodást is Ajsa lányára hagyta. Hadd takarítson ő az öreg házában, főzzön rá, elvégre is az meg csak őt szokta lefesteríteni, és csak őt látja szépnek.

Kazimir Malevics közvetlenül a háború után jelent meg Csodavóban. Akkoriban már hiányzott a jobb lába, a bal karját pedig könyöktől levágták a szanitécek. Egy súlyos agyrázkódás következtében majdnem elveszítette az emlékezetét: nem emlékezett a saját nevére sem, de a papírjai alapján Gyökeresnek hívták. Iván Dimitrijevic Gyökeresnek. Még a saját anyját sem ismerte fel, akinek karonfogva kellett hazavezetnie. Az asszony minden reggel azzal kezdte, hogy a nevéen szólította a fiát, de választ nem kapott rá. Nem emlékezett sem az anyjára, sem az apjára, sem Nágya Kákabelovára, aki ígéretet tett neki, hogy várni fog rá, míg visszatér a háborúból. Nágya magával hozta két gyermekét, akiket arra tanítgatott, hogy ezt a féllábú embert papának nevezzék, de Iván nem ismerte fel Nágycsát, a gyerekekre pedig még ránézni sem tudott. Ez utóbbiért egyébként senki nem ítélkezett felette: a városkában mindenki tudta, hogy Nágya abban az időben szült gyereket, amikor Iván a háborúban volt.

Az anyja rövidesen meghalt, és Iván Gyökeres a sziget nyugati végén álló, elszigetelt, roskatag ház ura lett, amit óriási topolyafák zártak el a külvilágtól. Az anyja egész életében attól rettegett, hogy a kunyhó bele fog csúszni a tóba: volt, hogy heves esőzés után a part egy darabon beomlott, és a szakadék egy-két méterrel közelebb került a házukhoz.

Iván ezután változtatta meg a nevét.

Nyina Gyítelovam, az anyakönyvi hivatal vezetője meglepődéssel olvasta Gyökeres kérelmét:

– Hát, azt még megértem, ha Dzsuvadov Mityka, vagy a szomszéd-asszonyom, Elektromos Andrejevna nevet akar változtatni, de maga miért? Gyökeres meg Iván, na és? Ezek normális nevek! De ez a... – És felolvasta a kérelemről: – Malevics! Kazimir! Szeverjanovics!? Maga talán zsidó, Iván Dimitrijevic, vagy kínai? Vagy ne adj isten, szektás? Akkor hívhatnák akár Golbaszto Momarem Gurgyilla Seffin Mulli Ulli Gjunak is!...

Nyina olvasott nő volt, de a féllábú állhatatos maradt. Aztán mivel azokban az időkben nem voltak érvényben szigorú törvények és előírások a családi és utónevek megváltoztatására vonatkozóan, az ügy szabad utat kapott és Iván Dimitrijevic Gyökeres kisvártatva Kazimir Malevics Szeverjanovicsá változott.

Malevics még aznap ecsetet és festéket vásárolt a papír-írószer boltban, az egyik szobából kirámolta az összes bútort, és feketére festett egy falat – az első négyzetcentimétertől az utolsóig.

Ugyanekkor művétagokra is szert tett. Amikor egy hónappal később Áspis doktor megvizsgálta Malevicset, elképedve tapasztalta, hogy a protézisek a beteg szervezetének szerves részeivé váltak, összeforrtak a csontokkal. Sőt úgy tudta mozgatni a végtagjait, mintha mi sem történt volna: behajlította térdben a vaslábát, mozgatta a vasujjait. Végül fogott egy töltőtollat, és bal kézzel aláírt egy üres lapot. Biztos, ami biztos, hőmérőt dugtak a hóna alá. A műszer tíz perc múlva, majd fél óra múlva is 18 fokot mutatott; 18,6 fokkal kevesebbet a normálisnál.

– Ilyen testhőmérséklettel csak a hullóknél találkozhatunk – mondta szórakozottan Áspis doktor. – A kígyóknál vagy a békáknál. Nem fázik?

Malevics megvonta a vállát.

A doktor a vállán meg a bokáján szaruképződményeket figyelt meg, amelyek halpikkelyekhez hasonlítottak. De a doktort leginkább a festészethez való vonzalom kérdése foglalkoztatta, ami oly hirtelen támadt fel különös páciensében. Áspis az egyik volt Csodavóban azon kevesek közül, akik hallottak már Kazimir Malevicsről és az ő *Fekete négyzetéről*. Amikor azt mondta, hogy Kazimir Malevics 1935-ben Leningrádban prosztatarákban elhunyt, a páciense felcsattant.

– Az nem halál volt: én akkor egy új életre ébredtem.

– És szabad megnézni a képeit?

Malevics nem ellenkezett.

Áspis doktor egyből megértette, miért festette a betege feketére a szoba egyik falát, és ezen meg sem lepődött. Azonban a festmények és a rajzok a műteremben – a tágas mellékszárnyban, ahol egy kemence állt – nagy hatással voltak rá. Akadtak ott tájképek, csendéletek meg néhány önarckép is, amelyek mesterien voltak megfestve, és valahogy az igazi Malevics munkáira emlékeztettek, azéra, aki meghalt prosztatarákban.

– Az ördögbe is – szolt Áspis doktor –, önnek kiállításra kell rendezni. Talán egy művésznek nem fontos az eredmény? A kollégák és a látogatók elismerése?

– Nem – szolt a házigazda. – A művészetnek semmi köze az eredményorientáltsághoz, amit a marxisták és a liberálisok erőszakolnak rá. A művészet nem áru, és nem az élet kihívása, hanem a halálé. Nem múzeumokba való, hanem olyan, mint az ikon. Ha egy ikon elvész, az azt jelenti, hogy így kell lennie, hogy Isten így akarja. Minden más ördögtől való.

Áspis doktorban bennakadt a szó. Hallgatta Malevicset, amint a művészetről beszélt: arról, hogy az miként vált árucikké, és miként szakadt el az élettől. Csak bólogatott, amikor a házigazda Sztálint kezdte szidni, amiért elárulta az avantgardistákat, akik egy új emberi fajról álmodtak, majd lehordta azokat, akik kényelmesen berendezkedtek a Gulag valamelyik táborában, és új burzsujokká váltak.

– Doktor úr, én nem vagyok örült – mondta a házigazda búcsúzás-kor. – Én Malevics vagyok, az a Kazimir Malevics, aki a *Fekete négyzetet* festette, hogy legyen háromszor is átkozott!

– Na, jól van, jól van – mormogta Áspis. – Óvatosabbnak kellene lennie a kemence körül... festékek vannak ott, terpentín meg acetón... baj lehet belőle...

Később még sokat gondolkodott ezen a különös eseten, és arra jutott, hogy mindez valószínűleg az erős agyrázkódásnak és annak a néhány sérülésnek a következménye, amelyek a háború alatt érték Malevicset. Majd azon kapta magát, hogy gondolatban az ismert festőművész nevének szótárát olvassa, és ettől váratlanul összezavarodott, de csak legyintett. Végül is Áspis doktor a kórház főorvosa volt, és sok mindent látott a maga idejében. Olyan ember volt, akinek Isten is elrendelte, hogy lapítson, ha az emberiség különös jelenségeiről esik szó, hiszen a feleségének volt egy kis farkincája, egy kicsi fark, malac-farkhoz hasonló, és Áspis doktor néha még arra is gondolt, hogy talán nem is szeretné ennyire az ő kis Irináját, ha ez a farkinca nem lenne.

Míg Iván Gyökerez krómbőr csizmában, gimnasztyorkában és rangjelzés nélküli tiszt köpönyegben járt, addig Kazimir Malevics földig érő, fekete, az arcát elrejtő csuklyás köpenyben, és kezéből soha ki nem engedte vasalt végű botját.

Éjjelente Kazimir Malevics az utcákat járta, a botjával csörtetve, és soha meg nem állt, hogy rágyújtson, vagy hogy váltson pár szót egy útjába kerülő járókelővel. Járóként járta körbe a várost, télen-nyáron, évről évre, és az emberek hamar hozzászótkak, hogy zajt ver a botjával, sőt Áspis doktor egyszer még arra is gondolt, hogy nyugodtabban alszik, ha éjszaka hallja ezt a hangot, mert ha hallja, az azt jelenti, biztos lehet benne, hogy nem pusztult ki és nem vész el minden, és feltétlen el fog jönni a reggel...

Csodavó vezetősége szerette Kazimir Malevicset, aki mindig részt vett a városi ünnepek előkészületeiben, legyen szó május elsejéről, vagy újról, amikor harsány plakátokkal és transzparenszekkel díszítették fel az utcákat és a főteret.

Cégereket és kirakatokat tervezett üzletek számára, amiért jól megfizették.

Amikor a Kreml elrendelte, hogy a főtérről tüntessék el a Sztálin-émlékművet, éppen Malevics ajánlására spóroltak a költségvetésen; nem semmisítették meg teljes egészében a szobrot, csak a fejét vágták

le, és a helyére Puskin fejét helyezték. Hogy senkit ne hozzon zavarba a vezér jobb karja, ami a fényes jövő felé vezető utat mutatta, Malevics egy lámpást adott a kezébe.

És attól kezdve a csodavói téren egy bronz Puskin magasodott, Sztálin-köpenyben, Sztálin-csizmában, jobb kezében egy sokatmondó lámpással, amely eloszlatja az orosz éjszakában uralkodó sötétséget...

Áspis doktor időnként benézett Malevicshez, hogy megtekintse új munkáit, és eldiskuráljanak. Történt egyszer, hogy nem bírt magával, és megkérdezte a művészt, minek volt köszönhető az a szellemi pálfordulás, amit akkor, 1935. május 15. éjszakáján, Leningrádban élt át, amikor a halál új élettel ajándékozta meg.

– Nem szabad túl nagy értelmet tulajdonítani az ember életének – mondta Malevics, fel sem nézve a vászonról. – Semmilyen értelmet sem szabad tulajdonítani neki. Az emberek maguk választják meg, mi az az értelem, ami nem semmisíti meg őket. Nekünk pedig nem marad más, mint arra ügyelni, hogy ne pusztítsák el egymást.

– Mármint hogy az értelmek?

– Nem, az emberek – válaszolt Malevics szigorúan. – Az igazi értelem olyan, mint a kenyér, és kenyérért az emberek készek akár egymás torkát is átharapni.

– Akkor, ön szerint, eljön-e a földön a mennyei birodalom?

– E birodalomhoz való közeledés már maga a mennyei birodalom. De még ott, valamelyik penészes zugában – márpedig ilyen penészes, átkozott zuga mindenképp lesz –, még ott is marad egy szemétdomb, ahol mindig megtalálni azt az undorító, aberrált koldust, aki a szemétdombon kotorász... mert a paradicsom e nélkül a penészes zug nélkül, e nélkül az undorító, aberrált koldus nélkül nem paradicsom... nem az embernek való paradicsom...

Áspis doktort szórakoztatták ezek a beszélgetések. Tetszett neki, hogy az öreg úgy beszél ezekről a dolgokról, hogy nem vesz fel közben semmilyen pózt, nem kezd fellengzősen szónokolni, hanem mintha még közömbös is lenne számára, mintha nem arról beszélne, amiről szükségszerű, hanem arról, ami elkerülhetetlen.

Amikor Róza először vitte magával Malevicshez a kis Ajsát, az öreg megfogta az állát, és a lány ostoba tekintetét látva azt mondta: „Meg foglak téged örökíteni, újra meg újra.” Róza már hozzászokott, hogy a „megörökítés” egyet jelent azzal, hogy „lerajzolni”, de mégis kirázta a hideg attól, hogy az öreg „újra meg újra” meg akarja örökíteni a lányát, átváltoztatva valami új, felfoghatatlan, veszélyes létezővé. Később, az Ajsáról készült portrékat nézve, időnként felelevenedett benne a félelme: a képekről egyrészt mintha a saját lánya, másrészt viszont mintha egy másik ember nézett volna vissza rá.

Nyáron Ajsa rövid kartonruhában járt, amely a hónaljánál, a hátán, és a melle alatt elszíneződött a nehéz szagú izzadságtól. Főzött, és egy porszívó meg egy seprű segítségével rendet tartott a házban. Az öreg leggyakrabban a műteremben, a tűzhely mellett örökítette meg a lányt, ritkábban az udvarban, a kerti padon vagy a tóparton, amikor Ajsa napozott vagy fürdött. Mindezek közben Ajsa pucér volt, ami miatt egy cseppet sem feszengett senki. Erőtéljes, formás alakja volt, duzzadó melle és domborodó feneké.

Kazimir több száz portrét rajzolt modelljéről. Ajsa a tűzhelynél, Ajsa a kerti padon, Ajsa a tónál. Ajsa közben nőtt, változott – változatlanul csak a tekintete maradt meg, az a kicsit különös tekintet, amivel a lány mintha átdöfte volna a tárgyakat és az embereket, mintha mélyen, tisztán látná a tárgyak és az emberek lényegét, azt a lényegét, amit nem lehet szavakba önteni, ami csupán a bolond és az Isten számára tárulkozik fel. A portrék túlnyomó részén Ajsa arca vagy meztelen teste sötét homályból tűnt elő, úgy, mintha ezt az arcot, ezt a testet maga a káosz szülte volna; örvénylő, lázongó, szörnyű káosz, amibe elemeire hullva szét, bármelyik pillanatban visszazuhanhat a test. Az együgyű Ajsa ezeken a vásznakon – ahogyan Kazimir Malevics fogalmazott – az ismeretlen és megismerhetetlen határán létezett, és Áspis doktor újra meg újra megirigyelte az öreget, akinek valahogyan sikerült úgy beszélnie ezekről a dolgokról, hogy közben sosem vált dagályossá.

– Úgy látszik, ez a bolond lány boldogsággal ajándékozott meg – mondta végül az öregnek.

– Úgy látszik, ez a bolond lány értelmet adott az életemnek – válaszolta változatlan hangszínnel, a munkáját félbe sem hagyva az öreg.

Bár Róza óvta lányát a férfaktól, Ajsa valahogy mégis talált rá alkalmat, hogy akár egy férfival, akár egy suhancsal elvonuljon a tóparton lévő bozótosba vagy az elhagyatott házba. Megérte a férfiaknak tréfából átölelni Ajsát és néhány kedves szót súgni a fülébe, ugyanis a lány ilyenkor egyből tűzbe jött, és karon ragadva az illetőt, egy eldugott helyre húzta, hogy ott azt csinálja vele, amit a legjobban szeretett a világon. A férfiaknak tetszett ez a vakmerőség, a lány tomboló, eszetlen szenvedélyessége. Ajsa morgott, harapott, karmolt, a tetőponton pedig vad, rekedtes hangon kiabálni kezdte: „Issza-a-a! Issza-a-a! Issza-a-a!”, amivel megrémítette mind a partnerét, mind a közelükben felbukkanó járókelőket.

Amikor Malevics előtt vetkőzött le, minden egyes alkalommal várta, hogy a férfi átölelje, és súgjon néhány kedves szót a fülébe, majd amint lehet, szerelmeskedni kezdjen vele. De Kazimirra hatástalan maradt Ajsa testének állatias büvereje. Leállította a lányt, aki aztán engedelmesen elhelyezkedett a heverőn, Malevics pedig a festőállvány mögé állt. Az öreg csak egyszer nem bírta magával, és villás nyelvvel nyalni kezdte Ajsa combját, hasát és mellét, mire a lány egy szempillantás alatt elalélt.

Később gyakran gondolt vissza erre a nyelvre, és közben halkan azt rebegte: „Issza-a-a...”

De az öreg soha többé nem akarta kényeztetni.

Ajsa panaszkodott Malevicsről egy barátjának, Száska Gosztyznak, akinek aranyfoga volt, és aki engedte Ajsának, hogy hozzányúlhasson. Száska az ölébe vette a lányt, megcsiklandozta, megfektette, Ajsa pedig kiabálni kezdte, hogy „Issza-a-a!” – és mindenről el is feledkezett.

– Ez a te Malevicsed egy öregember – mondta neki Száska. – Egy zsigori öreg, aki csak ahhoz ért, hogy kuporgassa a pénzét. A pénznek mozgásban kell lennie. Én borostyán gyöngysort vennék neked, ha pénzem lenne. Ő vajon mit csinál vele, tán a seggébe dugja? Vagy hová?

Ajsa szerette azokat a borostyán gyöngysorokat, amelyek egyébként epoxigyantából készültek, és a Francia-híd melletti söröző bódében árulták őket.

- Az öregnek sok pénze van?
- Sok – felelte Ajsa. – Nagyon sok.
- És hol tartja?
- Egy helyen.
- Milyen helyen?
- A kemencében – mondta Ajsa. – Elzárja a kemencébe.
- A szemétláda. – Száska megcsiklandozta Ajsát, aki felkuncogott, és odabújt hozzá. – Holnap odamegyek: megmutatod?
- Szépségem – suttogta Ajsa. – Én még akarok...
- Most nem tudok. Majd holnap.
- Másnap Száska ebéd után érkezett Ajsához. Az öreg aludt, a sarokba húzódott a fekete falhoz, és köpenyét a fejére húzta, ahogyan szokta. Ajsa a műterembe vezette Száskát.
- Száska kinyitotta a kemence ajtaját, és kivette a dobozt, amiben szemlátomást hétszáz rubel volt.
- Ez meg mi? Ez az összes? – csattant fel Száska. – Hol a többi? Hol van az a sok-sok pénz?
- Gyorsan felforgatta a műtermet, de az üvegekben és a dobozokban csak festék volt.
- Ajsa karon ragadta, de Száska kirántotta magát.
- Állj! Hol az öreg pénze? Hol az a sok pénz?
- Szépségem – kérlelte Ajsa Száskát, ismét karon ragadva és tenyerét a melléhez szorítva. – Szépségem...
- Száska átkutatta a konyhát, a hálószobát, majd visszatért a műterembe, bemászott az asztal alá, és ebben a pillanatban belépett a helyiségbe Malevics.
- Te meg ki vagy? – lökte meg a botjával. – Mit keresel itt?
- Száska kirántotta az öreg kezéből a botot, és rávágott vele. Malevics elesett.
- Basszus... – Száska négykézlábra állt, és Malevics mellkasára tapasztotta a fülét. – Asszem ez kipurcant.
- Szépségem – suttogta Ajsa, és elkezdte lerángatni fején át a ruháját. – Szépségem...
- Mi van, meghibbantál? Ez itt kinyiffant!

– Szépségem... – Ajsa karon ragadta, és magához húzta. – Szépségem...

– Húzz innen, te ribanc! – kiáltott rá Száska, és ellökte magától. – Mindjárt jönnek a rendőrök, te meg csak erre tudsz gondolni?...

A kijáráshoz sietett, de megbotlott valamiben, és elesett. Ajsa rávetette magát. Száska le akarta dobni magáról, de Ajsa szeretett birkózni, és kutyákkal tudott is: rátapadt Gosztyra, és vállon harapta. Az kirántotta magát a szorításból, és a hátára fordult, Ajsa ravaszul meglovgolta, mire Száska képen törölte, de Ajsa felvett a földről egy hatalmas, négyélű szöveget, és lendületből tövig Száska szemébe vágta. A fiú öszszerándult, és elcsitult. Ajsa az arcához dörzsölte az arcát, de Száska nem válaszolt. Száska szájába dugta az ujját, és kitapogatta az aranyfogát. Aztán unatkozni kezdett. Fel-alá mászkált a műteremben, időnként elidőzve egy-egy kép előtt, amin ő maga volt megörökítve, és ő, és megint ő, majd begyújtotta a kemencét, és hozzálátott Száska kidekorálásához. Ezüst festékkel festette ki az arcát, majd szedett az ablak alatt növevényből, és befedte vele a férfi testét. Malevics arcát aranyra festette, az ajkait feketére, és a szeme köré piros karikákat rajzolt. Közelebb húzta Malevics testét a kemencéhez, oda, ahol Száskák feküdt, a saját arcát pedig égszínkékre mázolta, a mellét aranyra, szentet dobott a kemencébe, lefeküdt Malevics és Száska közé, és elaludt.

Egy vascső a kemencétől az ablakig húzódott, amitől tüzet fogtak az asztalon heverő papírok, festékek, meggyulladtak és felpöndörödtek a vásznak, lángra kapott a terpentin, az acetone, a padló és a falak. Ajsa tomboló lángok között tért magához, félelmében összeszorította a szemét, és amikor újra kinyitotta, Száska tűztől összegörnyedt alakját látta, majd a saját lángoló ruháját, a lábát, amint pikkelyek fedték be, meg az öreg Malevicset, aki tágra nyitott szemmel nézett rá, és a lány egyből megértette, hogy neki, Ajsának ez nem fáj, egyáltalán nem fáj...

A szomszédok az égő ház körül álltak, és csendben figyelték, amint a tűz felemészti a fát, a vásznakat, és összetöri a követ. Már semmit sem tudtak segíteni. A nők Rózát támogatták, akiből bánatában minden ereje kiszállt. És amikor a tűz utoljára lobbant fel és lohadt le, mindannyian láttak két, gyönyörű és szikrázó kígyót az izzó parázsban. Az

egyik kígyó hatalmas volt, a feje fekete volt, a másiké, a kisebbiké pedig égszínké. A kígyók a vörös-kékes lángnyelvek között tekeregték, magasra emelték a fejüket, és öltögették villás nyelvüket, majd váratlanul mindketten a tóhoz iramodtak. Eltűntek a vízben, nyomukban pedig csak az izzó homok maradt. Ebben a pillanatban a tavat hirtelen reszkető, vérvörös és kék lángok öntötték el, az éjjeli égbolton pedig vérvörös és kék hullámok cikáztak; cikáztak, majd kihunytak, és akkor földünk sötét vizeiben visszatükröződött ez az észveszejtő, ezerszemű világmindenség, ez az aranypikkelyes sárkány az összes izzó szemével, minden kék borzalmával, vérvörös szerelmével, és minden esztelen, örök szépségével...

*Kóti Regina fordítása*

KÓTI REGINA

FORDÍTÓI KOMMENTÁR

Jurij Bujda *Kazimir Malevics másik élete* című elbeszéléséhez

Jurij Bujda kortárs orosz író 1991-ben debütált prózaíróként, korábban fotóriporterként és szerkesztőként tevékenykedett. A különös történetű Kalinyingrád közeléből származó író ma Moszkva környékén él és alkot, írásait olyan nívós és nagy múltú orosz folyóiratokban publikálják, mint a *Znamja* vagy a *Novij Mir*. Szépirodalmi tevékenysége mellett napjainkban is a *Kommerszant* moszkvai napilap szerkesztőjeként dolgozik.

Műveivel az utóbbi lassan három évtizedben előkelő helyet vívott ki magának a kortárs orosz prózában. Bátran nevezhető az orosz kispróza megújítójának, leggyakrabban pár oldalas, groteszk történeteket tár az olvasó elé, amelyekkel a *Szkoreje oblako, csem ptyica* (Inkább felhő, mint madár), a *Lvi i Lilii* (Oroszlánok és Lilimok), *Vsze proplivajuscije* (Mindenki elsuhan), és a *Porosz menyasszony* (Prusszkaja nyeveszta) című elbeszélésköteteiben ismerkedhetünk meg. Utóbbiban a hábo-

rú utáni kalinyingrádi régióban játszódó különös, groteszk, néha meszeszerű, néha hátborzongató történeteket gyűjtött össze a szerző, melyek ihletőiként sok esetben saját, gyermekkori élményei szolgáltak, de írt többek között a két kijevi vértanú legendája ihlette elbeszélést, *Borisz i Gleb* (Borisz és Gleb) címen, és az egymás szomszédságában élő, Hegelről és Gogolról szóló anekdotát is (*Gegel i Gogol*). Regényei közül kiemelkedőek a *Szinyaja krov* (Kék vér), *Vor, spion i ubijca* (A tolvaj, a kém és a gyilkos) és a *Don Domino* (Don Domino), valamint két rövidebb regény, a *Jermo* (Jermo) illetve a *Tretye szerdce* (A harmadik szív), melyek az Olaszországban és Franciaországban élő oroszok életét jelenítik meg, Nabokovnak az orosz emigránsok világát megjelenítő műveivel polemizálva. Írásai egy része német, japán, lengyel, francia, finn fordításban is elérhető, de Jurij Bujda neve nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt sem. Egyes elbeszéléseit színdarabbá is adaptálták Moszkvától Kalinyingrádon át Londonig.

Bujda írói munkássága már több ízben elnyerte az orosz kritika elismerését: a *Porosz menyasszony* című elbeszéléskötetéért egyrészt Apollon Grigorjev-díjban részesült (1998), másrészt jelölték az Orosz Booker-díjra (1999) – amire már korábban, 1994-ben is jelölték a *Don Domino*ért –, míg *A tolvaj, a kém és a gyilkos* című regényéért a Nagy Könyv nemzeti irodalmi díjjal tüntették ki (2013).

Kötetei közül Magyarországon a *Porosz menyasszony* jelent meg 2006-ban, Goretity József fordításában, a Kalligram Kiadó gondozásában. A kritika értően reflektált az elbeszélések által rajzolt írói világra, és a kötet mérsékelten hangos, ugyanakkor markánsan pozitív visszhangot hagyott maga után: „Bármennyire is beleilleszkedik az orosz irodalmi hagyományba, különös tekintettel a gogoli fantasztikumra, alkotásban van valami közép-európai. Közel áll hozzánk, ezért is nagy dolog, hogy megjelenhetett magyarul ez a könyv. Ezt manapság nem könnyű keresztyülvinni – érdemes volt megküzdeni érte.”<sup>41</sup>; „Jurij Bujda betessékeli az olvasót egy titkos ajtón, és mire az észbe kap, már közelről szemléli a meszeszerűen megírt történetekben a természetes kollektív elhülyülés

<sup>41</sup> Kantgrad. Könyvkritika. In: *Élet és Irodalom*, L. évf. 16. sz., 2006. április 21.

példamutatványait és néha a salamovi keménységűre tömörített emberi tragédiát [...] 46 novellát rejtő kötetének magyar kiadása nagyon alkalmas az orosz író hazai ismeretlenségének felszámolására.”<sup>42</sup>

Bujda világát egyfajta szabályos eklektika jellemzi: az első ránézésre össze nem illő vonásokat, hangulatokat, színeket képes úgy keverni, hogy végül megtalálja a tökéletes elegyet, egyensúlyba hozza az ellentétes pólusokat, s kerek egészet, értéket alkot. Könyvei lapjain gyakran keverednek mesés elemek és legendák a hétköznapi életből vett szituációkkal és személyekkel; mesehősökhöz hasonlatos, csodálatos figurák kerülnek össze a leghétköznapibb, esendő emberekkel, antihősökkel. Stílusában szintén jól eltalált arányokkal vegyül a profán a magasztossal, és előfordul, hogy naturalista szövegrészletet lírai leírás követ. Életrajzi ihletésű történeteket szelídít fikcióvá, mesésen szép történeteket kever a tragikus valósággal, miközben gyakran érint a természetfeletivel vagy éppen a szexualitással kapcsolatos kérdéseket. Különösen igényes nyelvezettel, de könnyen olvasható stílusban ír, választott témái ugyanakkor, a művek terjedelmétől függetlenül, kellően mély kibontást és fordulatos ábrázolást kapnak. Történetmesélése gördülékeny, és sosem fordul unalomba, aminek eléréséhez gyakran a realitás és fantasztikum képeit váltogatja – művei történelemhez, valósághoz fűződő viszonyának erősségét azonban hiábavaló volna latolgatni az olvasásélmény rovására. Mindezen felül Bujdának gyakran sikerül az is, ami csak keveseknek szokott: képes arra, hogy egyszerre visszataszító és szívszorító történeteket kifinomultan találjon.

Az olvasó ezúttal Bujda *Lvi i Lilii* (Oroszlánok és Lilimok) című kötetének egy szintén több szempontból is összetett elbeszélését, a *Kazimir Malevics másik életét* (Drugaja zsziny Kazimira Malevicsa) ismerheti meg fordításban.

Bujda néhány írását szokás a „gyomorforogató, de lenyűgöző” címkével értékelni, és ez utóbbi jelzők csakugyan validak a *Kazimir Malevics másik élete* című elbeszélés esetében is. Míg a *Porosz menyasszony* elbeszéléseinek szervezőereje a groteszk jegyein túl a közös cselek-

<sup>42</sup> Nyolc kis kritika. In: *Magyar Narancs*, 18. évf. 35. sz., 2006. augusztus 31.



ményhelyszín, Kalinyingrád volt, és mintha ez az egyedi történelmi-etnográfiai háttérrel rendelkező város generálta volna a lehetetlen történeteket, azok még lehetetlenebb szereplőivel, addig az *Oroszlánok és Lilimok* elbeszéléseinek metszete tragikusabb, és ezúttal tematikus; a szövegek olyan visszatérő, kényes témák köré szerveződnek, mint a nő nem természete, a nemi erőszak vagy a testi fogyatékoság.

A *Kazimir Malevics másik élete* bár szintén egy groteszk színezetű, képtelen történetet mesél el, a cselekmény helyszíne azonban ezúttal a *Zsungli* (Dzsungel) című kötetből már ismert kisváros, Csodavo (az eredetiben: Csudovo). A település neve már önmagában valami fantasztikus konnotál, olyan helyet, ahol egyrészt bármilyen csoda megeshet, másrészt azonban hangsúlyos a kisvárosi léte, és úgy érezzük, valójában bármelyik kisvárosban játszódhatna a Bujda-féle fantasztikummal átszőtt világmodell szerint. Az időbeni elhelyezéshez csak akkor kap támpontot az olvasó, amikor szó esik arról, hogy le akarnak dönteni egy Sztálin-szobrot. Igaz, ez utóbbi alapján nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a cselekmény ideje akkorra datálható, amikor a Hruscsov nevéhez fűződő, 1953-ban megkezdett desztalinizációs hullám hatására elrendelték a Sztálin-szobrok ledöntését. Az elbeszélés középpontjában Kazimir Malevics áll, akit különös viszony fűz egy együgyű fiatal lányhoz, Ajsához, akiben kancsalságával együtt meglátja a halhatatlan szépséget, és akiről ezért megszámlálhatatlanul sok portrét készít majd. A történet maga csupán a felszínen merül ki a klasszikus „mester és műzsája” szűzsében, hiszen sokkal elemibb kérdések válnak benne uralkodóvá a háborúban megcsonkított, avantgárd mesterként újjászülető Iván Gyökeres (az eredetiben Ivan Kornyejev) és az értelmi fogyatékos Ajsa mint műzsa személyén keresztül. Az elbeszélés valódi főszereplőjének azonban maga a magány tűnik. A két főhős sorsán az ugyanarra a kérdésre adott különböző válaszokat láthatjuk: hol van a tökéletlen ember helye a kor világában? Egy szellemileg korlátolt fiatal lány és egy testi fogyatékos háborús veterán arra irányuló, kétes kimenetelű próbálkozásait figyelhetjük meg, amint megpróbálnak célt találni az életüknek. Választott vagy öntudatlan megoldásként előbbi az állatias nemi ösztönök kielégítésének él, utóbbi az identitásváltást választja, és avantgárd festőként újjászületve, a művészetnek szenteli életét.

Az identitásváltás aktusát találóan előkészíti a szöveg: előzményei és körülményei jól kidolgozottak. Így például meg kell említeni Iván Gyökeres árulkodó nevét, hiszen éppen majd gyökereit tagadja meg anyja halála után: új életet kezd, más néven kezd el élni, jelentőségteljesen még a névváltás bürokratikus eljárását is végigviszi. Az édesanya elvesztését – az erős kötelék látszólagos hiánya ellenére – olyan eseményként értékelhetjük, amely mély egzisztenciális krízishez vezet. Ezt látszanak alátámasztani azok a részletek is, amelyeket a szerző Iván Gyökeres házána leírásakor hint el: a ház elszigetelten, egy tóparton áll, egy szakadék szélén, és heves esőzés során előfordul, hogy a szakadék néhány méterrel közelebb kerül a házhoz: tehát a megsemmisülés határán táncol. A ház térben elfoglalt helye leképezi Iván Gyökeres lét és nemlét között egyensúlyozó létezmódját, ami az anya elvesztésével, a ház elszigeteltségét is számba véve még jobban kiéleződik, kínzóbbá válik. A bizonytalan élethelyzetre adott válasz lesz az identitásváltás: új életet, új sorsot választ a főhős – Kazimir Szeverjanovics Malevicsként él tovább. Nem példa nélküli jelenség ez az orosz irodalomban, gondolhatunk akár az *Egy örült naplójából* ismert boldogtalan és szánni való csinovyikra, Popriscsinre, aki egy nap spanyol királyi identitással ébred.

Ám az abszurd irodalom jegyein és az identitásváltásával Popriscsint idéző főhősön túl a beszélő nevek alkalmazásával kapcsolatban több szót kell ejtenünk a gogoli hagyományról. Már a *Porosz menyasszony* elbeszéléseiben megfigyelhettük, hogy Bujda szinte mindenkit gúnyneven emleget (Kisfejű Vita, Gramofonyiha, Zsopszik (Seggfej), Név Szerint Lev, Ravasz Légy, Szépséges Mu), valamint említettük a főhős, Iván Gyökeres, sőt, akár a cselekményhelyszín, Csodavo névválasztásának lehetséges magyarázatait. Érdekes adalék lehet, hogy csakúgy, mint Gogol, Bujda sem szívlelte a vezetéknevét, amiről a *Bujda* című, a *Porosz menyasszonyban* utószó helyett álló novellában így ír: „Gyerekkoromban titkon szenvedtem furcsa családi nevem miatt. A Szemjorkán lakó szomszédjainknak normális nevük volt: Ivanov, Cser Szen, Dangelajtisz, Lifsic; nekem pedig, sajna – Bujda. Ráadásul a tanárain eleinte a második szótagra tették a hangsúlyt, és ezzel csak fokozták kínjaimat.” Mint Gogolnál, úgy Bujdánál is mintha ez a sértettség tükröződne, és sok más elbeszéléséhez hasonlóan a *Kazimir Malevics*

*másik élete* is bővelkedik a beszélő nevekkel rendelkező szereplőkben. A fordító előtt a beszélő nevekkel kapcsolatban mindig felmerül a „fordítani vagy nem fordítani” dilemmája. Míg a régebbi fordítói gyakorlat inkább a beszélő nevek magyarítását részesítette előnyben, addig manapság inkább az eredeti nevek meghagyása és – esetleg – lábjegyzetekben a körülbelüli jelentés megadása a gyakoribb eljárás. Fordításomban most a korábbi gyakorlatot követtem, tekintettel arra, hogy egyfelől a jelen szövegben a beszélő nyelvek a szöveg egészét érintő jelentéstöbbletet hordoznak, másfelől a szerző által adott beszélő nevek legalább olyan furcsán-groteszkül hangzanak az orosz fül számára, mint ahogyan a megfeleltetésüként kreált, magyarosra-oroszra imitált nevek a magyar fül számára. A beszélő nevek célnyelven történő elegáns visszaadása nem kis feladat elé állítja a fordítót. Így például az anyakönyvi hivatal vezetője az orosz eredetiben Nyina Nyezevajlosagy, akinek családi neve szó szerinti fordításban egy lóhoz intézett, „ne ásítozz, ne báméskodj” jelentéssel bíró fegyelmezés. A választott fordítói megoldásként azonban a talán valamivel jobban hangzó Nyina Gyítelovam szerepel a magyar szövegben. Nehezebb feladatnak tűnt és hosszas kutakodást igényelt az orvos és Iván Gyökeres felesége beszélő nevének átültetése. A doktor családneve „Zsereh”, ami oroszul az európai édesvizekben gyakran előforduló pontyfélé, a balint jelenti, hangzásával azonban mindenképp egy karakán vonású, kemény embert juttat az olvasó eszébe, így magyar megfelelőjeként az Áspis doktor elnevezést választottam – ez szintén állatra, mégpedig az áspiskigyóra utal, átvitt értelemben azonban a házsártos ember metaforikus megnevezése. Az asszociációt a balin latin neve (Aspius Aspius) hívta elő. A főszereplő hátrahagyott kedvesének a mesék világából választott nevet Bujda: Nágya Odnobrjuhova, ami szó szerint annyit tesz, mint „Egybendőjű Nágya”, és *A farkas és a hét kecskegida* című orosz–oszt népmesére vezethető vissza, ahol az első, legkisebb kecskegidának egy bendője van, a másodiknak kettő, és így tovább a hetedikig; értelemszerűen az egybendőjű rendelkezik a legkisebb étvággal, ennek okán a nő magyar neve Nágya Kákabelova lett.

Az elbeszélésben továbbá, mélyebb olvasat során, számos további jelentésréteg tárul fel. Terjedelme ellenére mehökkentően összetett,

a legkülönbélebb irodalmi hagyományokat folytató, ötvöző, sokszínű szöveg rétegeiben veszhetünk el. Így például meg kell jegyezni, hogy a *Kazimir Malevics másik élete* alapjaiban és elevenen kapcsolódik be az örület témájában írott orosz irodalmi művek sorába. Ajsa egy olyan érzelmileg fogyatékos lány, aki együgyűsége ellenére némely vonásában ártatlanságot, krisztusi szépséget elegyít, és ezáltal Dosztojevszkij Miskin hercegéhez válik hasonlónak. Továbbá az örütekhez, bolondokhoz való viszonyulásnak a romantika korában megfigyelhető tendenciái is megjelennek alakján keresztül. A korábbi közhiedelemmel ellentétben ugyanis a romantika embere az örületet már nem büntetésként, az elkövetett bűnre adott válaszként értékelte, hanem áldásnak, a kiválasztottság jelének tartotta, és úgy vélte, hogy az örült mint kiválasztott lény előtt feltáruhatnak a létezés olyan igazságai, amelyek átlagos, épeszű társaik előtt sohasem. Éppen így ír Bujda Ajsáról: „Ajsa közben nőtt, változott – változatlanul csak a tekintete maradt meg, az a kicsit különös tekintet, amellyel a lány mintha átdöfte volna a tárgyakat és az embereket, mintha mélyen, tisztán látná a tárgyak és az emberek lényegét, azt a lényegét, amelyet nem lehet szavakba önteni, amely csupán a bolondnak és az Istennek tárulkozik fel.” Itt szükséges megemlíteni az orosz kultúra régebbi időkből származó különleges alakjait, a szent együgyűeket, a „jurogyivijeket”, akiknek különleges erejét, tisztánlátását és jóslatait sosem vonta kétségbe az orosz ember. Ezt a hagyományt szintén előhívja az, ahogyan Bujda megjeleníti az együgyű Ajsát. Elnevezése okán Ajsa azonban még a mesék világát is megidézi: Bujda „durocská”-nak nevezi, ezáltal az orosz mesevilág egy közkedvelt és vissza-visszatérő hősét, Ivanuska „duracsok”-ot, Bolondoska-Ivanuskát asszociálja.

A történet rétegei még mindig nem merültek ki a fent említettekben: az elbeszélés végén ábrázolt, két egymásba fonódó kígyó képében való újjászületés a görög mitológiai hagyományt idézi, míg az az alapvető momentum, miszerint egy valójában ismert körülmények között elhunyt kultikus művész újjászülethet, illetve előfordulhat, hogy nem is halt meg valójában – a popkultúra egyes összeesküvés-elméleteit juttathatja eszünkbe (gondoljunk akár az Elvis, vagy a Jim Morrison halálát cáfoló városi legendákra).

Mindeközben egy hiteles és lehangoló korrajz körvonalai is kivehetőek Bujda elbeszéléséből: az Ajsa betegségével visszaélő, beteges lelkületű férfiak megjelenítésén, az öreg előre eltervezett kirablásán és Ajsa anyjának kicsinyes jellemén keresztül a kollektív értékrend hanyatlása sejthető, ami a szocializmus harsány plakátjaiból, hangos ünnepségeiből és egy lefejezett Sztálin-szoborból álló díszlet előtt zajlik.

A sodró történet a vége felé még jobban eszkalálódik a rablás, a gyilkosság, majd a ház kigyulladását, és ennek érdekes stilisztikai kísérőjelensége, hogy az addigi neutrális stílusba hajló szöveg egyrészt egyre líraibbá, másrészt szó szerinti értelemben véve is sokszínűbbé válik. Ennek a fokozatos stílusváltásnak célnyelvi visszaadása már-már megoldhatatlan feladat elé állítja a fordítót. Az elbeszélés első felében szűkmarkúan alkalmazott színszimbolika a záró jelenetben a tetőfokára hág, és képi világában Brjusov szimbolista prózáját idézi: fekete és égszínkék fejű kígyók tekerednek a vörös-kékes lángnyelvek között, majd aranypikkelyes sárkány tükröződik sötét vizekben, minden kék borzalmával és vérvörös szerelmével együttvéve. Mindennek magyarázata gyakorlatilag lehetetlen, tekintettel arra, hogy a fordításban a magyar olvasót Valerij Brjusov költői szövegére, pontosabban annak közel száz évvel ezelőtti magyar fordítására kellene utalnia úgy, hogy a magyar olvasó számára a Brjusov-szöveg ismerete természetesen korántsem magától értetődő. Maradt tehát megoldásként az, hogy egy önmagában véve is színes, költői szöveget igyekeztem létrehozni.

Természetesen nem marad el a katarzis sem: a háztűzben Ajsa és Malevics szikrázó kígyókká válnak, és eltűnnek a világmindenséget tükröző vízben. Újjászületnek tehát, és egyúttal más szférába költöznek, ami számukra, a társadalomból kirekesztett „félemberek” számára üdvözítő felszabadulásnak és beteljesülésnek látszik.

Jurij Bujda a *Kazimir Malevics másik élete* című elbeszélésével ismét bebizonyította az olvasók előtt, hogy figyelmüket érdemes az író korábbi és jövőbeli munkásságára fordítani. Bujda szövegei egyúttal a műfordítással foglalkozók figyelmére is érdemesek: élvezetes és gördülékeny, helyenként azonban érdekes kihívásokat tartogató fordítói munka lehetőségével kecsegtetnek.

## Grigorij Rjazsszkij

### A LUK

Lukrival senki nem mutatott be minket egymásnak, hisz a semmiből jelent meg, a levegőből érkezett. És ő maga is épp olyan légies volt, mint az őt körülvevő levegő, majdhogynem súlytalan, szinte élettelen, anyagtalan. Az elején magam sem hittem, hogy létezik, hogy egy ilyen szépség csak úgy, szó nélkül beéri egy olyannal, mint én: egy semmi-ben sem különösebben figyelemre méltó fickóval a Moszkva környéki Reutov városkából. De megtörtént, a titkos álmok és a közvetlen valóság egybeesése hiányának minden törvényszerűsége ellenére.

Az egész azzal kezdődött, hogy apa és anya az utolsó pillanatban szanatóriumba utaztak, ám minket Maratkával szigorúan arra intettek, hogy a vizsgáinkat ahogy kell, letegyük, mindenféle elégségesek meg pótvizsgák nélkül. Habár ami a vizsgákat illeti, azok csak rám vonatkoztak, mert az idő tájt, amikor szüleink Kiszlovodszkba utaztak, éppen a 11. osztályt, vagyis caklipakli az egész középiskolát fejeztem be éppen. Maratka még nem, neki legalább egy év hátra volt a végzős vizsgákig, mert pont egy évvel fiatalabb nálam, attól viszont még éppen elég ellenszenves alak: nem semmi feladat állandóan csak nyelni a hülyeségeit, a kérkedését meg a fárasztó viselkedését, de nincs mit tenni, el kell viselni, mégis csak az édes öcsém, de azért a szüleink a búcsú-zást követően még odasúgták, hogy mivel most én leszek itthon a család rangidőse, viseljem gondját, és ne hagyjam ostobaságot csinálni. Te vagy minden reményünk, Ildar, mondta apám, amikor Maratka nem hallotta, majd hozzátette, hogy aszongya, most te felelsz a családban történő minden szerencsétlenségért, különösen a lányokról ne halljak egy szót se, mert hát tudod, Maratka milyen kivételes ügyességgel hajt végre mindenféle csínyt ezen a téren, rajtad kívül, fiam, mi anyáddal már senkiben sem bízhatunk, miattad viszont nyugodtak lehetünk még a szanatóriumi kezelésünk alatt is, ugye? Apa kérdően nézett rám,

és tudtam, hogy elégedett volt azzal, hogy milyen komolyan reagáltam erre az atyai példabeszédre. Ezt követően ideadott egyhavi pénzt, majd anyával elindultak a vasútállomásra.

Másrészt viszont a helyzet tulajdonképpen tényleg így is állt. Komoly fiatalember voltam, nem kevés apró, makacs pattanással a képeimen, amelyek hol rózsaszínű, hol sárga gennyes göröngyökkel tarkították tudós homlokom térképét, szemöldökömtől fölfelé. Ráadásul még kövér is voltam, ily módon a külsőmet abszolút objektíven, nyugodtan lehetett visszataszítónak mondani. Édesanyám kedvesen csak Bagelnek hívott. Azonban nem a fent említett komolyságom miatt szólított így, magától értetődően puha és gömbölyded jóltápláltságom volt az elnevezés oka. Igaz, ezért mindig hozzátette azt is, hogy „az én kis” vagy „az én kedvenc” Bagelem, vagy csak egyszerűen úgy hívott, hogy Bagelkám, fel sem fogva igazán, hogy ezzel még jobban megaláz, mint a lányok az iskolában, akik ugyan semmilyen bántó szóval nem illettek, de semmiféle érdeklődést sem mutattak férfitovoltom iránt. Csak annyit mondtak, hogy szia, Ildar, vagy hogy szervusz, Ildar. És kész. Szemüket sosem vetették rám érdeklődő figyelemmel vagy izzó tekintettel, utalva egy sulis utáni találkára, mert egyikük sem akart különösebben barátkozni egy jóllakott bagellal, pláne egy ilyen nyámnyila és cseppet sem agresszív sráccal. Talán csak a kémiatanárnőnk, Raisza Valerjevna nézett rám rendszerint olyan mosolygósan és útravaló jóindulattal, mintha sajnálta volna, hogy az iskola befejezése után végleg elválnak útjaink. De ezzel bizonyára nem csak velem kapcsolatban volt így, hanem az összes többi gyerekkel is, habár, másrészt, nagyon vézna nő volt és már nem is túl zsenge: legalább huszonhat éves volt, annál biztosan nem kevesebb. Hát ennyi lett volna a kapcsolatom a női nemmel az önállóságom kezdete előtt. Maratkával más volt a helyzet. Magasabb volt nálam, meg szélességre is vagy hat lyukkal vékonyabb, már ha ugyanazon az övön mérjük. Ezért aztán ha Maratka megjelent velem valahol, ugyanazok a lányok, akik korábban észre sem vettek, hirtelen felfigyeltek rám, de éppen ellentétes irányban, vagyis sajnálatot éreztek irántam, mert összehasonlítva minket, meglepődtek és szánakoztak, hogy az édes testvérem velem ellentétben eredendően szimpátiát váltott ki belőlük, pofátlanul vonzó volt, és egyetlen darab pattanás se virított

az arcán. Raisza Valerjevna ellenben, úgy tűnt, őszintén meglepődött, de pont fordítva, mint a többiek, hogy úgy mondjam, azon, hogy egy olyanak, mint én, hogy lehet egy teljesen másmilyen testvére, olyan, mint az öcsém. De az is igaz, hogy ő Maratkát még tizedik osztályosként ismerte meg, mert neki is kémiát tanított. Előfordulhat, hogy akkor csak én gondoltam azt a tanárnőről, hogy ezt gondolja rólam?

De lássuk Lukrit. Nem tudom, hogy a lábam miért vitt aznap a városba. Úgy értem, Moszkvába, a város központjába, a Tverszkaja utcára. Elhatároztam, hogy jó előre bespájazok kajából, habár tudtam, hogy baromság ezért a városban bóklászni, vizsgákkal a nyakamon. Nálunk, Reutovban is kapható minden, ugyanazon az áron, semmit sem nyerek vele, csak az időt pocskolólok. Ezért bemenni tehát ostobaság volt, de bizonyára előre éreztem, hogy megismerkedek Lukrival. Így is történt. Egy boltban esett meg a dolog, gondolom, elsőre kiszúrt magának. Amikor ráakadtam, ő már mosolygott, de nem túl széles mosollyal, csak úgy finoman, visszafogottan, de őszintén, ami, ha jobban belegondolok, még vonzóbb is egy férfi számára, mint az átlagos, tátott szájas vigyorgás. Először, mikor észrevettem, hogy figyel, nem vesztettem el a fejem, mert még a gondolatát sem feltételeztem, hogy az a mosoly nekem szól, felém címezték, konkrétan nekem szánták, nem pedig annak, aki a hátam mögött vagy mellettem áll. De a lány le sem vette rólam a szemét, sőt úgy éreztem, hogy még áthatóbban nézett a szemembe, és a mosolya is csak nekem szólt. Ekkor zavarba jöttem, majd rögtön utána elképedtem. Még soha senki nem ajándékozott meg ilyen átható és érdeklődő tekintettel, amely egészen belém fúródott, bele férfiúi lényem legmélyebb lényegébe. És még ma is, midőn rég magam mögött hagytam e balsorsú románcot, újra felmerül a kérdés, melyet azóta sem tudok megválaszolni: hogy lehet az, hogy abban a pillanatban, rögtön kitaláltam, hogy Lukri a neve? Szó nélkül, egyre csak mosolygott, az ajkával, a szembogarával, és nem kapta el rólam gyönyörű szemét.

Csak akkor ocsúdtam fel a bénító merevségből, mikor érzékeny bőkést éreztem a jobb oldalamban.

- Na, mi van, dagi? – kérdezte tőlem halkán egy jelentéktelen pasas, vidám és rosszat sejtető szemmel, majd röviden a lány felé biccentett.

- Tetszik?

A lány mintha nem vette volna észre se a hozzám intézett faragatlan kérdést, sem pedig az én arra adott érthetetlen és zavarodott reakciót, hanem folytatta a köztem és az idegen között kibontakozó jelenet akkurátus megfigyelését. Villámcsapásként hasított belém, hogy ez nem lehet véletlen: ott, a jobb oldalamban, ahol a fickó belém bökött a könyökével, ott született meg a kétely, amely egyébként azonnal átalakult bizonyossággá, hogy van valami számomra ismeretlen kötelék a pasas és a szőke lány között. Vagy nem mondtam még, hogy Lukri szőkesége a legtisztább vízével vetekedett? A kristálytisza vízhabé...

- Hozzám beszél? – kérdeztem a pasastól, szándékom szerint meglepetten, de már tudtam, hogy aligha sikerül ezzel becsapnom, mert a pasas keresztüllátott rajtam: látta a zavaromat is, a férfidolgokhoz kapcsolódó szerencsétlenségemet is.

- Igen, hozzád, ki máshoz? – lepődött meg ő is kissé a meglepődöttségemen.

És csak ekkor vettem észre, hogy rajtunk kívül egy árva lélek sincs a boltban. Leszámítva az elbűvölő hölgyet, természetesen. Nyeltem egyet. De a nyál sűrűbb volt, mint általában, ezért félúton odaragadt a nyelvcsövemhez, és a ragacsos gombóc elzárta a torkomat.

- Mi? – mindenesetre visszakérdeztem, hogy pontosítsam a férfi érdeklődésének tárgyát, habár abszolút biztos voltam benne, hogy a kérdés a titokzatos idegen lányra vonatkozott, de valahogy sehogy sem állt össze ez az egész. – Mármint hogy mi tetszik-e?

A férfi szeme elveszítette vidámságát, és egyszerűen rosszindulatú lett, mert már kezdte idegesíteni az értetlenkedésem.

- Hát róla beszélek, hogy tetszik-e. – Azzal odalépett a lányhoz, és finoman belecsípett a fenekébe. – Jó bőr, jó kis luk, ugye?

A lány továbbra sem hagyott fel a hallgatással, még a mosoly sem tűnt el az arcáról, mintha az iménti illetlenség megszokott dolog lett volna a számára, nem pedig szégyenletes vagy botrányos. Ismét kinyitottam a számat, hogy tiltakozzak az imént hallott felháborító aljasság ellen, amely nem illendő se hozzám, se a lányhoz, de a szavak, melyeket még ki sem tudtam ejteni, máris nekiütköztek a nyálgalacsinnak, amelytől már korábban elállt a lélegzetem, ezért képtelenek voltak elhagyni a gégémet, hogy az emberi alakot öltött bunkóság képébe vágódjanak.

- Na, ide figyelj, öcskös – vette fel velem újra, mintha mi sem történt volna, a félbeszakított szemkontaktust, lényegében választ sem várva a vita tárgyában. – Fizetsz... fizetsz nekem, mondjuk... – Szemét a plafonra szegezte, mintha latolgatott volna valamit, vagy visszaemlékezett volna: – Fizetsz egy rugó nyolcszázat, és viheted! A lány a tied, frankó? – Közben a lányra nézett, aki újfent nem lepődött meg a szavain, hanem úgy vette őket, ahogy kell, sőt úgy tetszett, még könnyedén biccentett is, hogy kifejezze teljes egyetértését az események illetén fordulatával. – Süketnéma, érted, viszont bitang jó, jobb, mint bárki más, én már csak tudom, elhiheted. – Ocsmányul elvigyorodott. – Attól még, hogy nem beszél, érti a dolgát, megtesz neked mindent, amit csak akarsz, nem vitás, eddig senki sem panaszkodott, neked meg, láttam én rögtön, különösen passzol, mert megtanulhatod vele, hogyan és hová, és ha úgy adódik, segít, ha kell. – A lány felé fordult, és az órájára nézett. – Várj egy percet, mindjárt elmehetsz ezzel a sráccal. – Ismét visszafordult hozzám, és ezúttal atyáskodva így érdeklődött: – Mi a neved?

- Ildar – feleltem zavartan, s ennek az idióta helyzetnek a kellős közepeén egy csapásra elmúlt heves méltatlankodásom a váratlan emberi hangnemtől, majd a magam számára is váratlanul hozzátettem: – Bagel.

A pasas ezúttal elégedetten felkacagott:

- Látod, hogy összepasszol minden: te Bagel vagy, ő meg Lukri. – A bageled lukja. – Mikor észrevette zavaromat és gyors pillantásomat az eddig ismeretlen lány felé, akit Lukrécianak hívtak, megnyugtatóan a vállamra tette a kezét. – Jól van, Ildar, ne parázz, a csaj rosszul olvas szájról, csak akkor érti, ha egészen közel vagy hozzá, de nem ellenkezik, mondj bármit is, ne majrézz, nincs mit tennie, haver, fizess és vidd, ahova akarod. Van kérőd?

- Van – válaszoltam, és megint azon kaptam magam, hogy már egyáltalán nem találok sértőnek a süketnéma lány gazdájának gátlástalan bizalmaskodását.

Ekkor a pasas véget vetett ennek a véletlen ismerkedésnek, és a kezét nyújtotta:

- Gyerünk, öcskös, perkálj, ideje lezárnunk a kérdést.

Apám kétezret adott ide, és az mind nálam is volt. A cech kiegyenlítése után kétszáz rubelem maradt, de hogy hogyan fogunk ebből Ma-

ratkával egy egész hónapig megélni, halvány fogalmam se volt. De én akkor gondolni se tudtam erre, mivel amíg Lukrival Reutovba bumliztunk, a pulzusom úgy vert, mint egy légkalapács, lehagyta a szívemet és a lélegzésemet, a lábaim belegabalyodtak a gondolataimba, amitől az egyik is, a másik is nyugtalankodni és rettegni kezdett. Egész úton igyekeztem nem nézni Lukrira: hihetetlenül kínos volt, egész idő alatt úgy éreztem, hogy szégyenpír önti el az arcomat, minden pontját, és hogy körülöttem mindenki tudja, hogy hová és miért megyek az én nőcskémrel, akiért a szüleimtől kapott pénzzel fizettem, amelyet azért adtak nekem, az idősebb fiuknak, hogy kaját vegyek belőle, vezessem a háztartást, és gondoskodjak az öcsémről. A csaj persze hallgatott, hiszen beszélni amúgy sem tudott, és ettől tényleg megkönnyebbültem egy kicsit, igaza volt annak a fickónak, legalábbis nem volt olyan kínos, mint valami fecsegő macával lett volna, aki egész úton valami ostobaságot fecsegett volna, és akaratlanul is kikotyogta volna a szándékomat a reutovi HÉV meg az összes megállója utasainak. Nem, az én Lukrim, az első nőm nem ilyen volt: egészen másfajta volt, más fából faragták, akinél nem volt helye sem közönségességnek, sem tahóságnak, és akihez nem tapadt közönséges emberi mocsok, habár ő maga is pénzért volt kapható – tudtam én ezt róla rögtön, és nem is tévedtem.

Maratka nem volt otthon, és ez némiképp segített csillapítanom térdeim remegését és a belsőmből jövő zakatolást. Tudtam, hol tartja apa a dugi piát, és meg is húztam rendesen. Az még csak eszembe se jutott, hogy Lukrit is megkínáljam: a süketségén meg a némaságán kívül egyébként, úgy látszott, vele minden rendben volt, vagy egyszerűen csak tudta, hogyan kell magát közben tartania. A pia alaposan fejbe vágott, de néhány perc múlva elbódultam, majd kissé kitisztultam. Igaz, a számból erős piaszag áradt, mintha egy kellemetlen, koszos alak lehelt volna ki a száju regemből. De aztán ez a szag is fokozatosan eltűnt, felszívódott a félrészeg bódulatban, és egy pillanatra magam elé képzeltem Raisza Valerjevna-t, a kémianárnőt, amint éppen átszívja a számból az ő vékony, nedves szájába ezt a szagfelhőt, hogy levegye a szükséges mintát a gázhalmazállapotú frakcióból, és elemezze az alkoholos kigőzölgést.

„Hogy kerül ide Raisza Valerjevna – gondoltam akkor, belezavarodva a gondolataimba –, ha egyszer engem Lukri vár?”

Bementem a szobámba, ahol hagytam, és bezártam magam után az ajtót. Aztán... Aztán nem jött össze semmi. Lukri mosolygott, de természetesen nem mondott semmit. Csak próbált gyengéd lenni, amennyire lehetett, és csendes mosolyával vigasztalóan mosolygott rám. Nem kell sietünk, Ildar, mintha ezt mondta volna, minden menni fog, hiszen éppen azért vagyok itt, hogy neked jó legyen velem, és meglásd, igazi férfi vagy, és hogy nem volt még dolgod lukkal, azt már elfelejtheted. És ekkor elmúlt a félelmem, és már nem éreztem magam kellemetlenül a szégyenem miatt, majd ismét felé nyúltam, megérintettem vékony bőrét, és újfent rácsodálkoztam, hogy az egész nő olyan, mintha levegőből volna, valami különös, meglepő, szokatlan matériából: nem valami szokványos, durva testből, nem valami izzadós és beillatosított emberi molekulákból, hanem más összetételű, hajlékony-engedékeny és érintésre megremegő anyagból. És abban a pillanatban kinyílt bennem egy különös lakat, és ahonnan kellett, előkerült egy mindezidáig ismeretlen, de a lakatba pontosan illő kulcs, kattant a megfelelő rugó, és kitárult a féltve őrzött ajtó, amely mögött minden egyéb is rejtve volt, minden, ami most egyszerre rám zúdult...

Aztán ott feküdtem mellette, arcomat az arcához nyomva, és csókoltam rózsaszín ajkát, amely egyáltalán nem hasonlított a Raisza Valerjevnaéra, aki bármit is gondolt magában, és bármennyire is próbált megvédeni az iskolában az engem övező általános közönytől, most már annyira semmiféle védelemre nincs szükségem többé: sem a kémianárnő részéről, és pláne nem a saját részemről, az anyuci egykori porcukros bageljétől, mert a mai naptól fogva teljes értékű férfi vagyok, akit majd szétvet a büszkeség meg a bőségesen áradó férfierő, amely e fordulópontig egyre csak halmozódott a szervezetemben. Mindenféle szavakat sutogtam neki, de nem az arcába, hanem a fülébe, mert tudtam, hogy úgy sem hallja, mert nem látja a számat, ezért nem tud válaszolni sem, de nem csak emiatt. Hanem azért is, mert tudtam és biztos voltam benne, hogy ha tudott volna, olyan szavakat mondott volna, amelyek hasonlóak az enyéimhez, és ugyanolyan érzékeny viszonzott melegséggel is, nem pedig olyan gyengédséggel, amelyiknek a pasas pontosan kiszámította az árát, mert az a pacák nyilván semmit sem tudott a lány gyengédségéről, különben még több pénzt kért volna érte, és akkor a megélhetésre apa

és anya visszatértéig még kétszáz rubel sem maradt volna, azt pedig végképp nem lehet tudni, mit szól majd mindehhez Maratka, az én független öcsém, amikor a tudomására jut, mi is a helyzet Lukrival...

Ezt követően újra megismételtük a dolgot, de ezúttal már nem sietünk, pontosabban, én nem siettem, ő pedig kedvesen segített meglegyenem kibontakozó szerelmünk legmegfelelőbb pontjait. Ekkor már azt is megfigyeltem, hogy az én Lukrimnak nincsen moha a szeméremdobján – muzulmán módra le volt borotválva neki, mint minden közülünk való nőnek –, pontosan tudtam, hogy ez így van, láttam női vonalon az összes tatár rokonunknál, kezdve a kislányokétól egészen anyám csupasz altestéig.

Bizonyára ő is közülünk való, egészítettem ki örömmel a korábbi boldogságomat, anya elégedett lett volna a fennálló helyzettel meg a többi hasonló ténnyel is, a haja meg csak a szépség kedvéért lett szőkére festve, eredetileg fekete volt, mint a szén, mint a holló szárnya, folytattam a fantáziálást, és felbuzdulásom megint elérte a határát, és lihegve a szenvedélyes érzelmek újdonságának ismételt rám törésétől, ismét bevettam az eddig ismeretlen mennyországot, és kiegészítettem albatroszként hörögtem, diadalmas sasként vijjogtam, kora márciusi kismadárként csiripeltem, arról álmodozva, hogy végleg, az utolsó csontomig feloldódok ebben a mennyben, és úgy is maradok benne mindörökké.

- Nem engedlek sehová, hallod? – érzelegettem a második, még lélegzetelállítóbb fel- és leszállás után. – Velem maradsz, ugye? – Szándékosan lassan ejtettem ki a szavakat, úgy hogy a meztelen lány le tudja olvasni őket a számról, és eljuthasson hozzá a kimondott mondat értelmé. Válaszolnija szükségtelen volt – anélkül is láttam a szemében, hogy nem megy innen sehová, hogy velem marad, hogy most már mindig ott lesz, ahol én is leszek. Hát így állunk.

Karomba vettem Lukrit, és kicipeltem a fürdőszobába. A közös zuhanyzás után visszatértünk hozzám, a szobámba, és lefeküdtünk aludni. Kiderült, hogy Lukri sem nem iszik, sem nem dohányzik – egyiket is, másikat is határozottan és teljesen visszautasította. Reggel mindent elmeséltem Maratkának.

- Elment az eszed? – hitetlenkedett az öcsém, és elindult, hogy meggyőződjön tegnapi vendégem jelenlétéről. Miután meggyőződött

róla, a tarkóját vakargatva tért vissza: – És amikor az ősök hazaérnek, mit csinálsz majd vele? Mert ez egy ilyen egyszer használatos, olcsó maca, olyan, mint a szójakolbász, csak pótlék. Élvezetet ne várj tőle, nem hús-vér férfi vagy neki, hanem csak egy kuncaft, egy esetleges vásárló. Mennyi lóvét kellett kicsengetned érte, mi? Csak nem az interneten vetted?

Erre egyáltalán nem voltam felkészülve. Ilyen szavakra az ostoba rokonomtól. Ezért Maratka rövid időn belül a földön találta magát, a közvetlen közelemben, felrepedt, vérző alsó ajakkal, félelemben úszó szemmel. Az ilyen testvéri pillantáshoz szintén nem voltam még hozzászokva, mint ahogy semmihez sem, ami ez alatt a rövid, ám annál eseménydúsabb idő alatt önálló férfielemben megtörtént velem, úgy hogy miután büszkén rácsodálkoztam újonnan felfedezett erényemre, előhúztam a zsebemből a maradék kétszáz rubelt, és a földre hajítottam megdöbbszent öcsém, Maratka elé.

- Nesze! – kiáltottam, és nem húztam vissza a karom, ahogyan egy Hamlet tett volna. – Ez a tied a szüleink visszatéréséig. Él, ahogy akarsz, költsd, ahogy tudod, de a szemem elé ne kerülj, te korcs, mert nem érek rá, nekem záróvizsgáim lesznek. Felejtse el a szobámhoz vezető utat, megértted?

Hogy miként töltöm Lukrival a hátralevő időt, nem kezdtem el gondolkodni rajta, gondoltam, majdcsak kigondolok valamit, valahogy majdcsak összegabalyodunk.

Románckunk intenzívebben bontakozott ki, mint ahogyan azt feltételezhettem volna. Közös életünk második hetének végére már annyira közel kerültünk egymáshoz, hogy gondolni sem tudtam másra. Sem mire és senkire, csak Lukrira. A vizsgákat viszont mindeközben még a saját elvárásaimnál is jobban teljesítettem. No lám, gondoltam, mit tesz a szerelem az intellektussal, hát ezt jelentik azok a kémiai folyamatok az agyi kéregállományban: ha ezt Raisza Valerjevna tudná, visszavene az irányomba mutatott felesleges szánalmából meg a demonstratív gyámkodásából.

Ritkán jártam el otthonról, állandóan a nőmmel, Lukréciaival voltam együtt, na meg persze a tankönyvekkel, és az én kedvesem mind eközben annyira alkalmazkodott hozzám, hogy meg se próbált sehová

se elmenni, vagy egyáltalán, a jelenlétére figyelmeztetni. Úgy voltunk együtt minden éjjel, mint férfi és nő, és gyakran nappal is, amikor Maratka végre elhúzta otthonról a csíkot, és kettesben hagyott bennünket. Ilyenkor mindig a karomba vettem Lukrit, átvittem az ágyunkra, isteni alakját lassú mozdulatokkal megszabadítottam a ruháitól, miközben ujjaimmal gyengéden cirógattam testének különböző szegleteit, majd úgy adtuk oda magunkat egymásnak, ahogyan csak engedték, hogy szeressük egymást.

Kezdttem fokozatosan hozzászokni az együttléteink rendszerességéhez, és nem értettem, hogyan is tudtam eddig meglenni nélküle – és nem egy kisfiú naplójának szégyenteljes lapjaira gondolok itt, hanem a dolog érzéki oldalára, amely feltételezi a közös becézgetést és az elengedhetetlen szavakat, szavakat, szavakat...

A harmadik hét végére a koplalásnak meg a mindennapos érzéki aerobiknak köszönhetően hirtelen felfedeztem, hogy már nem hasonlítok bagelre. Azaz hogy természetesen nem vesztettem el azt a bizonyos szétfolyó formámat, de ezzel együtt észrevehetővé vált a kinézetemben egy számomra eddig ismeretlen vonás, amelynek szemlélése reggelente nem kevés esztétikai elégedettséggel töltött el, és minőségileg új emberi érzéssel ajándékozott meg. Ezt Lukri sem tudta figyelmen kívül hagyni, és még érzékibb és odaadóbb lett velem.

És ha ehhez hozzáteszem még, hogy az arcomon levő miniatűr gennyes vulkánok, melyek izzó rózsaszín szigetekként terültek el, észrevehető sebességgel kezdtek pusztulni és nyomtalanul feloldódni fiatal szervezetem boldogsággal trágyázott mélységeiben, akkor e változások oka kezdett bennem végleg tudatosulni – ez Lukritól volt, az én kedvesemtől, az első valódi szerelmemtől meg mindattól, ami vele együtt járt.

Aztán valami rettenetes, kivételesen rettenetes dolog történt, nem sokkal az előtt, hogy az ősök visszatértek Kiszlovodszkból. Éppen az utolsó vizsgám napjára esett, az utálatos kémia napjára. Raisza Valerjevna, mivel tudta, hogy mennyire nem szeretem a tárgyat, futólag rápillantott a zsírok elszappanosításának gondosan felvázolt képletére, helyeslően rábólintott, majd szembogarában tükröződő kedves fátólossággal rám nézett, és egy zsíros ötöst adott rá, nem kevésbé zsírosat,

mint az elszappanosítás képlete. És ez volt a legvége. Az utálatos tanulás vége, a személyem iránti rideg közönyösség vége, a kisfiús létezésem elfogadhatatlan oldalának vége. Egy másik, ismeretlen élet küszöbén álltam, és már nem voltam bagel, ezt már képes voltam magabiztosan bizonyítani magamnak, tovább akartam lépni, magammal vinni a másik életbe a kedvesemet, az én szótlán Lukrimat, aki egy hónap alatt imádatom legkedvesebb, legdrágább tárgya lett.

Egyébként aznap igencsak siettem haza, hogy minél hamarabb mesélhesek Lukrinak az utolsó vizsgáról, a jeles érdemjegyről ebből a bizonyos kémiaiából, a végről, amit hátrahagytam a múltban, meg a kettőnk jövőjének kezdetéről, és olyan boldogan szárnyaltam ettől a gondolattól, hogy még magamat is megelőztem. Halkan léptem be a lakásba, hogy észrevétlen odalopakodjak hozzá, hangtalanul közeledtem felé a szobába, hogy egyszerre zúdíthassam rá az örömhírt az alvó, semmit sem sejtő Lukrira. Csendben kitártam szobám ajtaját, és láttam, amit láttam. Háttal nekem, az íróasztallal szemben, szótlánul, kissé előregörnyesztett vállal a fivérem, Maratka ült a széken, és csinált valamit. Válla enyhén remegett, a feje egy ütemre rángott a vállával, leeresztett keze apró, összpontosított, ritmikus mozgást végzett, és látzott, hogy ő maga teljes egészében valami számára különösen fontos dologra összpontosít. A lakás csendjét csak Maratka orrának gőzmozdonyszerű fújtatása törte meg. Mivel nem akartam elhinni, hogy az történik, aminek soha nem lenne szabad megtörténnie, tettem felé két hangtalan lépést, és megláttam, amit nem kellett volna. A szék előtt, a földön Lukri térdelt, teljesen meztelenül, keze Maratka térdén pihent, a feje pedig... Lukri fejének mozdulatait az öcsém irányította, mivel a kezében tartotta, mintha csak élettelen tárgya lett volna ocsmány kéjsóvárságának. Ő pedig, az én süketnéma kedvesem, készségesen teljesítette az akaratát, és mellesleg nem vettem észre az arcán semmi jelét sem az elégedetlenségnek, sem a tiltakozásnak az ellene elkövetett bűnös erőszakkal szemben. Sőt mintha egy rövid pillanatra még úgy is tűnt volna hirtelen, hogy ugyanaz a csendes mosoly villant meg szemében, amellyel rám is mosolygott, amikor először láttam őt meg, amint magányosan ácsorgott a Tverszkaja utcai bolt sarkában. Ez a mosoly azonban most csendes volt ugyan, de nem szégyenlős, hanem inkább



gúnyos. Ekkor ugyanolyan észrevétlenül, mint egy macska, hátralep-tem, és elhagytam ezt a szörnyűséges helyet.

- Miért? – kérdeztem mindkettejüktől, míg kisiettem a konyhába, megkeresni a konyhakést, és kezemben a késsel visszatértem a szobá-  
ba. – Miért, Lukri? Miért?

Ezúttal nem mézesmázaskodtam sem vele, sem a fivéremmel. Egy lendületes rúgással kinyitottam szobám ajtaját, és megláttam Marat-ka félelemtől eltorzult arcát. De nem rá tartogattam a rajtam úrrá lett haragot, mert már tudtam a választ a magamnak feltett kérdésre. Már tudtam, hogy miért. Maratkával együtt félrelöktem az útból a széket, két ugrással a lánynál termettem, hajánál fogva megragadtam, és úgy megrántottam, hogy a kezemben maradt egy hosszú szőke tincs. Nem tudom, érzett-e Lukri fájdalmat e pillanatban, mert sikítani, ugye, nem tudott, de legalább könyörgő tekintettel nézett a szemembe, noha az al-  
jas mosoly még ekkor sem tűnt el bájos, romlott arcáról, és ezzel végleg az örületbe kergetett.

- Te!!! – ordítottam a képébe. – Te!!! – és ekkor eszembe jutott az a férfiak használta szó, amely hirtelen pattant ki a térből, és zuhant rám meztelen igazságával. – Luk vagy!!! – Te csak egy luk vagy! Igaza volt a boltban a pasasnak, csak egy luk vagy, semmi más!!!

Maratka, aki továbbra sem kelt fel a földről, rettegve figyelte, ho-  
gyan szurkálom össze módszeresen és gondosan az én Lukrimat. Elő-  
ször az arcába vágtam bele a kést, de vér nem fröccsent ki belőle.

- Nesze neked, te lotyó! – majd úgy döftem az oldalába, hogy a  
kés markolatig hatolt belé, és beleállt a parkettába. Vér ekkor sem folyt  
belőle, viszont valahogy furcsán hörögni, vagy inkább sziszegni kez-  
dett rám. – Szóval így? – Ekkor már a földön hevert, agóniában, de  
nekem már mindegy volt, el kellett számolnom vele mindazért a szép  
élményért, ami a múltban megesett köztünk.

- Mi van veled, Ildar, mi lélt? – motyogta félelmében Maratka. – Ne  
csináld, ne csináld...

- Kussolj, te taknyos! – vettem oda ledöntött fivéremnek. – Te  
majd csak ezután jössz.

Maratka azonnal összekuporodott, és óvatosan az ajtó felé mászott,  
de nem vette le szemét a kezemben lévő késről.

Aztán hirtelen lecsillapodtam. Amilyen hirtelen jött, úgy is maradt  
abba. Eldobtam a kést, felbontottam az apám piáját, és az egészet be-  
szlopáltam. Aztán elindultam az iskolába, megvártam a vizsgák végét,  
és megvártam Raisza Valerjevna-t, a kémiatanárnőt, amint hazafelé tar-  
tott. Kissé dülöngélve odaléptem hozzá, egyenesen a szemébe néztem,  
és határozottan így szóltam:

- Nem megyünk fel magához, Raisza Valerjevna?

- Menjünk – válaszolta egyszerűen a tanárnő. – Menjünk, Ildar.

- Szeretem magát, Raisza Valerjevna – mondtam neki, amikor meg-  
érkeztünk, és a csipőjére tettem a kezem, ahogy Lukrival is tettem.

- Ne hívj többet az apai nevemen, jó? – felelte a kémiatanárnő, és  
levette a blúzá, elém tárva duzzadó kebleit. – Hívj csak Rájának.

- Rendben – válaszoltam, miközben le sem vettem tekintetemet a  
tanárnő testéről. – Egyszerűen csak Rája – és megrészegült elégedett-  
séggel gondoltam, hogy nevének semmilyen összecsengése sincs és  
nem is lehet a lukkal, mert nem azokból a betűkből áll, teljesen más  
anyagból van, nem művi, hanem élő és meleg.

A tanárnő szeméremdombja egyáltalán nem volt borotvált, éppen  
ellenkezőleg, bozontos volt és vörös, és kissé egyenetlen is, de sokkal  
inkább kedvemre való, mint Lukri hasának hideg és sima felülete. És  
még az is tetszett, hogy Raisza Valerjevna, mármint hogy Rája, nyö-  
gött és vonaglott görcsös, de igencsak tapasztalt ölelésben, és csupa  
nedves volt meg illatos, de szintén másként, nem csak olyan lélekte-  
len gumiszagú, mint az előző állandó partnerem. Majd miután saját  
szenvedélyétől kimerülten és gyermekinek egyáltalán nem nevezhető  
gyakorlottságotól elbűvölten, féltékenyen érdeklődni kezdett, hogy  
ki volt az, aki ennyire elismerésre méltóan megtanított e bonyolult tu-  
dományra, nem válaszoltam, csak valami zavarodottsághoz hasonló  
kifejezést erőltettem az arcomra, legbelül azonban elmosolyodtam, és  
gondolatban köszönetet mondtam korábbi választottamnak, az én ki-  
fogástalan, szobahőmérsékletű Lukacskámnak.

Két nappal később hazaértek az ősök, apa és anya, mi meg Marat-  
kával kimentünk eléjük az állomásra, mert Melitopolban vettek négy  
vödör befőttnek való cseresznyét, amit valahogy el kellett cipelni Reu-  
tovig. Addigra már újra összebarátkoztunk az öcsémel, mivel a hűt-

lenségét és az én rettenetes gyilkosságomat követő napon vágtam egy darabot a bicikligumiból, lakkbenzinnel zsírtalanítottam, bekentem Technokol Rapiddal, és gondosan beragasztottam vele minden vágott és szúrt sebet Lukri gumitestének felületén. Nem siettem a munkával, levágtam a gumi végeit és túreszelővel lecsiszoltam a széleiket, hogy a ragasztás lehetőség szerint észrevehetetlen maradjon. Még ugyanazon a napon friss levegőt engedtem a gumi Lukrécia lelkébe, visszaillesztettem, már amennyire tudtam, gumikoponyájához a szintetikus, szőke hajtincset, amelyet kitéptem, és a végeredményt ünnepélyesen átnyújtottam ajándékba az öcsémnek, Maratkának, örökös használatra, nekem már a továbbiakban nem volt rá szükségem. Mert hát nem csak férfi vagyok, hanem elvégre báty is. Nem igaz?

Valkai Szabina fordítása

VALKAI SZABINA

FORDÍTÓI KOMMENTÁR

Grigorij Rjazsszkij *A luk* című elbeszéléséhez

A fordításnak mint szakmának célja elsősorban a nyelvek és kultúrák közötti közvetítés, melynek során törekedni kell mindenekelőtt a szöveg értelmének, funkciójának és hatásának megőrzésére. Az olyan fordított szöveg létrehozásának kulcsa, melyben teljesülnek e kívánalmak, nem más, mint a fordítói szövegfeldolgozás, azon belül is a különböző olvasási műveletek végrehajtása. Ismeretes, hogy a fordító a szöveg feldolgozásának eltérő fázisaiban, eltérő céllal olvas. Különösen műfordításkor kiemelten fontos szerepet kap a szövegértelmezés és szövegértés, hiszen egy irodalmi mű mindig összetett és többretegű alkotás. A fordító feladata az, hogy a hagyományos értelemben vett fordításon túl észrevegye a szövegben megbúvó rejtett, sokszor akár lefordíthatatlannak tűnő utalásokat, mögöttes tartalmakat és átvitt értelmeket is, amihez létfontosságú a figyelmes, elmélyült és alapos olvasás, valamint

ha szükséges, a többszöri nekifutás, azaz egy adott szövegrész újbóli elolvasása.

A jelen esszé arra hivatott, hogy bemutassa Grigorij Rjazsszkij orosz forgatókönyvíró, filmproducer és író *Dirka*, magyarul *A luk* című novellájának fordítása közben felmerült értelmezési és fordítási nehézségeket, valamint azok megoldásait. Grigorij Viktorovics Rjazsszkij Ljudmila Ulickaja, az ismert és elismert, kortás orosz író nő unokatestvére. Prózaírói pályáját 2000-ben kezdte, s ez idáig Magyarországon egyetlen műve, a *Példaértékű ház* (Dom obrazcovogo szogyersanyija) című regénye jelent meg, melyből televíziós filmsorozat is készült 2012-ben. A regény olvasása támaszt nyújthat abban, hogy megismerjük Rjazsszkij írói stílusát, melyről általánosságban elmondható, hogy filmszerűség jellemzi, és olykor a legapróbb részletekig kidolgozott leírások gazdagítják. E konkrét novella jellegzetességeihez sorolandó továbbá, hogy javarészt meglehetősen hosszú mondatokból tevődik össze, ami részben a kifejtettségnek, részben pedig annak is tulajdonítható, hogy gyakori a szövegben a rokon értelmű kifejezések halmozása. Értem ezalatt például a következőt:

„Сначала, сразу как заметил, я не обалдел, потому что не допустил даже мысли, что это ко мне улыбка (1), в мой адрес направление имеет (2), конкретно для меня предназначается (3), а не для того, кто за спиной моей или вбок.”

A kommentár tárgyát képező novella tartalmát tekintve látszólag könnyed kortárs olvasmány, melynek középpontjában egy pattanásos arcú, enyhén túlsúlyos kamasz fiú néhol groteszk elemekkel átítatott férfivá válása áll. A nagyjából egy hónapot felölelő történet másik fontos szereplője a célnyelvi szövegben Lukri (az eredetiben Irka) névre hallgató titokzatos lány, kinek valódi mivoltát mindvégig homály fedi, s csupán az olvasó interpretálásán múlik, minek is gondolja. A novella jóformán egésze ellentétpárokra épül. Például a testvérpár, Ildar – akinek élete a történet során 180 fokos fordulatot vesz – és Maratka testi adottságai szöges ellentétben állnak egymással, ahogyan szellemi szintjük is, ezenfelül, a két női szereplő, Raisza Valerjevna, a hús-vér nő és Lukri, az utánzat is egymás antitézisei. Továbbá az is szembeállítható, ahogyan a kémiatanárnő látja a két fiút. Hiába Maratka a jobb

kinézetű, ő mégis Ildart kedveli. Ezek és a szövegben előforduló más ellentétpárok a szöveg nyelvezetében is megmutatkoznak. Ezeknek az ellentétes viszonyoknak a fordításakor figyelmet kellett fordítani arra, hogy a szóismétlés ne legyen zavaró mértékű, tehát kerülni kellett az egymásutáni *de, viszont, ellenben* stb. szavak repetitív sorjázását, és ügyelni arra, hogy a gyakori nézőpontváltás se akassza meg vagy zavarja az olvasót.

A szójátékok és a többértelműség fordítása mindig problémaforrásként kezelendő a fordítás során, elsősorban a két nyelv eltérő grammatikai rendszere és valóságfelfogása miatt. A nehézség mértéke attól is függ, hogy a két nyelv milyen viszonyban áll egymással, mennyire különbözőek. Feltehetően két azonos nyelvcsaládba tartozó nyelv között – például az orosz és, tegyük fel, a szlovák nyelvek az indoeurópai, azon belül is a szláv nyelvcsalád tagjai között – könnyebb végrehajtani a szöveg átváltását egyik nyelvről a másikra, ellenben a magyar – mely az uráli nyelvcsalád része – és orosz nyelvek, az előző példához képest, meglehetősen távol állnak egymástól, így az sem kizárt, hogy lefordíthatatlan szerkezetekbe ütközik a fordító. Ebből fakadóan a jelen novella fordításakor a szöveg egészét tekintve az egyik legátfogóbb problémát okozó rész a cím és az ahhoz szervesen kapcsolódó név fordítása volt. Az orosz 'dirka' szó kétféleképpen értelmezhető: egyrészt mint lyuk, másrészt viszont van egy elvont jelentése is, amely az argóban női nemi szervre enged következtetni. A szó e jellemzőjének tudatában a magyar nyelvben is hasonló értelmezési lehetőséggel bíró szót kellett találni. Ez még nem jelentett különösebb kihívást, hiszen a célnyelvben is megtalálható lyuk szavunk ugyancsak magában hordozza e kettős jelentést. Viszont a választott szó egy másik kritériumnak is eleget kellett, hogy tegyen: bele kellett, hogy illeszkedjen a nevekkel való játékba. A női karakter forrásnyelvi megnevezése Irina, melynek túlnyomó többségben az Irka becézett alakját alkalmazta az író, ami nem véletlen, hisz jól megfigyelhető, hogy az Irka és a 'dirka' szavak hangalakja mennyire összecseng, s ez a hasonló hangalak a novella humorának egyik forrásául szolgál. Ezt az analógiát megtartva lett végül a választott célnyelvi név Lukrécia, melynek becézett változata a Lukri. Azonban a szövegben fellelhető nyelvi játék ennyivel még nem ér véget, ugyanis a szerző

a történet középpontjában álló Ildar nevű hős gúnynevét is bevonja játékba hozza. Ildar beceneve ugyanis a Bublik, azaz a Bagel, melyet a hős és a péksütemény külső jegyeinek hasonlósága miatt aggattak rá. Az ominózus szójáték humorának forrása – a bagel és a hozzá tartozó lyuk – a két szereplő nevének jelentésével való élcelődés: míg Ildar esetében a bagel a küllemére vonatkozik, addig Lukri a becenevét mintegy a „funkciója”, a szerepe után kapta. Tehát a nevek megválasztásakor több feltételnek is megfelelően, körültekintően kellett eljárni, szem előtt tartva többek között a szöveg stílusbeli regiszterét is.

Az előző gondolatmenethez kapcsolódóan szót érdemel a beszélő nevek fordítása is. Még ma sem eldöntött kérdés, vajon kell-e fordítani az ilyen neveket vagy sem, ám a mai tendencia szerint a legtöbb tulajdonnevet nem fordítjuk, hanem át vesszük a forrásnyelvből úgy, ahogy ott szerepel, orosz nevek esetén természetesen a transliterálásukat követően. E fordítási hagyomány tiszteletben tartását a fordító bizonyos esetekben megszegheti, vagy meg is kell, hogy szegje (ez mindig kontextustól függ, és a fordító döntése), hiszen könnyen előfordulhat, hogy ha azokat a fordító nem fordítja le, akkor akár fontos stilisztikai és szemantikai jegyek is elveszhetnek a szövegből. E veszteségek kiküszöbölése miatt volt indokolt az elbeszélés beszélőneveinek fordítása, ellenkező esetben a textust megfosztottuk volna egyik lényegi részétől.

A szövegben kulturális utalásokkal is találkozhatunk, melyek fordítása fennakadáshoz vezethet: amellet, hogy fel kell ismerni és tudni kell értelmezni őket, a legnagyobb problémát az okozza, hogy szinte lehetetlen ekvivalens módon és az átadó kultúrában nem feltétlenül járatos olvasó számára is érthetően visszaadni a kulturális utalásokat és sajátosságokat. Ilyen utalásként fogható fel például a novellában, hogy Ildar és családja tatár származásúak, ami nem jelenik meg explicit módon a műben, csupán közvetett információból következtethetünk rá, ahogyan arra is, hogy ez a hovatartozás és általánosságban a vérségi kapcsolat mennyire fontos a szereplők számára. A „наверняка из наших” és „как у всех наших женщин” kifejezésekben a birtokos névmás enged ezekre az információkra következtetni, illetve az a kijelentés is ezt erősíti, hogy Ildar édesanyja elégedett lenne azzal a helyzettel, hogy fiának tatár barátnője van. Miben rejlik tehát a kulturális

sajátosságok lefordításának nehézsége? A gond az velük, hogy sokszor fordíthatatlannak bizonyulnak. Ugyanis az a tény például, hogy egy Moszkva környéki tatár családról van szó, az csak az orosz olvasónak bír többletjelentéssel, akár érzelmi töltettel, s csak belőle válthat ki különféle asszociációkat. A magyar olvasó számára egyszerű információ, mely nem bír többletjelentéssel. Ennek oka az eltérő kultúrában gyökerezik.

A groteszk és abszurd elemek és helyzetek átszövik az egész novelát. Ha jobban belegondol az olvasó abba, hogy a lány nem más, mint egy alkalmi használati tárgy, akibe/amelybe beleszeret a főszereplő, úgy bizonyos helyzetek egyszerre válnak humorossá és egyben szánalomkeltővé is. Az író mindvégig az olvasó érzékeivel játszik azáltal, hogy sejteti, de nem mondja ki egyértelműen, hogy valódi személyhez vagy csupán egy élettelen tárgyhoz, egy guminőhöz fűzik-e szerelmi szálak a főszereplőt. Rjazsszkij ambivalens szavakkal tartja fent a misztikus homályt, mely körbelengi a titokzatos entitást. Ildar és a Tverszkaja utcán található bolt eladója élő személyként kezelik Lukrit, sőt még beszélnek is hozzá. Mindössze a narrációban szereplő leírt tulajdonságok és kétértelmű melléknevek sejtetik, hogy nem egy valódi személyről, hanem egy szexuális kiegészítőről van szó. Fordítás során ez többnyire értelmi akadályt nem okozott, viszont a célnyelvi megfogalmazás során megfontoltan kellett eljárni, és meg kellett tartani ezt a homályosságot. Ilyenkor válik szinte tankönyvszerűen nyilvánvalóvá, hogy a szó szerinti fordítás nem működik. Az alább következő példa egy konkrét kifejezés okozta értelmezési nehézséget mutat be:

„А Маратка — нет, ему сдавать выпускные лишь через год надо, потому что он моложе меня как раз на год, но зато противным бывает — сил нет хлебать его привередство постоянное, похвальбу и занудство, а делать нечего, приходится терпеть, так как он мне младшим родным братом приходится...”

Az idézett mondat kiemelt részének fordításakor az okozta az értelmezési komplikációt, hogy a kifejezést nem lehet szó szerint lefordítani, illetve le lehet, de ha a 'хлебать' igét szó szerinti jelentéssel alkalmazzuk, értelmetlen végeredményt kapnánk. A 'хлебать' ige jelentése kortyolni, kanalazni, szürcsölni, mellyel, ha szó szerint fordí-

tanánk, valami ilyesmit kapnánk: „nincs erő kanalazni az állandó hülyeségeit, kérkedését meg a fárasztó viselkedését”. Feltehetőleg itt egy neologizmusról van szó, ezért el kell vonatkoztatni a szó szerinti jelentéstől, és az értelem átadására kell koncentrálni. A kifejezéssel a szerző nyilván azt szerette volna szavakba önteni, hogy nehéz elviselni a főhős öccsének jellembeli hiányosságait, azonban a jelen mondatban ezt azért nem volt lehetséges ily módon leírni, mert a folytatásban is eképp szerepel: „приходится терпеть”, azaz magyarul: „el kell viselni, el kell tűrni”. Továbbmenve, ha ezt az értelem szerinti megfogalmazást alkalmaztam volna az adott helyen, úgy újfent veszteség érte volna a célnyelvi szöveget, hiszen itt egy jóval színesebb kifejezés lenne helyénvaló, ezért némiképp szabad fordítással élve kellett a magyar nyelvben is megtalálható, hasonló jelentéssel bíró szófordulatot kigondolni. Végül a szövegben felhasznált fordítás az „nem semmi feladat állandóan csak nyelni a hülyeségeit, a kérkedését meg a fárasztó viselkedését, de nincs mit tenni, el kell viselni” lett, amely részleteiben próbálja a forrásnyelvi szövegben olvasható beszédfordulatot idézni, halvány logikai kapcsolatot tartva fenn mindeközben a szürcsölés/kanalazás és nyelés között is. Bizonyára másoknak is ismerősen cseng például az „Ezt már nem nyelem le, torkig vagyok!” beszédfordulat, mely azt példázza, hogy az alkalmazott szófordulat azonos jelentéssel használatban van a magyar nyelvben.

Az előző példához hasonlóan a „Есть хата-то?” mondat fordításakor is az forrásnyelvi szövegtől elrugaszkodott, értelem szerinti fordításra volt szükség. Itt is elmondható, hogy a szó szerinti fordítás önmagában, mely úgy hangzik, hogy „Van viskó?” nem lett volna helytálló és adekvát megoldás. A szöveggörnyezet és a beszédhelyzet alapján értelmezve a mondatot, egyértelműen kiderül, hogy mire gondolt ezzel a beszélő, mégpedig arra, hogy van-e bármilyen hely, ahová a vevő elviheti az árut. Így ebben a situációban is az értelem szerinti fordítás bizonyult a legjobb kivitelezésnek, emellett ügyelni kellett az eredeti kifejezésben rejlő szlenges megfogalmazásra is, így a magyar fordítást a következőképpen gondoltam el: „Van kéród?” Ez a mondat azon túl, hogy ekvivalense a forrásnyelvi variánsának, még a beszélő rövid, tömör, lényegre törő stílusát is hűen adja vissza.

A soron következő mondatban az okozhatott értelmezési nehézséget, hogy eldöntsem, milyen értelemben is használatos a 'наказать' ige, amelynek elsődleges jelentése: 'megbüntet'. Ez a jelentés viszont semmiképpen sem illik a szövegbe. Az eredeti mondatban nyilvánvalóan a beszélő sajátos nyelvhasználatának érzékeltetéséről van szó: az elbeszélő főhős egyfelől érzékeltetni kívánja, hogy maga a vizsga is büntetésszámba megy számára, másfelől hogy büntetés fog járni a szülőktől, ha rosszul teljesíti a vizsgákat. Az eredetiben a „szkáz” technika alkalmazásával már-már képzavaros mondat születik: „А началось с того, что отец с мамой в санаторий уехали по горящей путевке, а нам с Мараткой строго-настрого наказали экзамены подавать как положено, без троек и пересдач на потом.” Ezt kellett megpróbálni visszaadni valahogy úgy, hogy a magyar szövegben valamennyire megmaradjon az eredeti értelme. Végül az a megoldás született, hogy a 'наказать' szót az 'int' igével fordítottam: „minket Maratkával szigorúan arra intettek, hogy a vizsgáinkat ahogy kell, letegyük, mindenféle elégségesek meg pótvizsgák nélkül”.

Folytatásként az egyik leggyakoribb fordítási univerzálét, az explicitációt emelném ki a sorból. Ahogy egyetlen fordított szöveg, úgy ez a novella sem mentes az explicitációtól, ami nem más, mint olyan eljárás, melynek során a fordító a célnyelvben kifejt, illetve felszínre hoz az eredeti szövegben csupán utalásszerűen, rejtetten meglévő nyelvi vagy nyelven kívüli információt. A meghatározásból következik, hogy az explicitáció maga implikálja a szövegértelmezést, mintegy az értelmezés velejárója. Íme, néhány szemléltető példa:

„С Ирккой нас никто не знакомил, потому что она возникла из ниоткуда, из воздуха.”

„Lukrival senki nem mutatott be minket egymásnak, hisz ő a semmiből jelent meg, **a levegőből érkezett.**”

A fenti mondat csupán egyetlen igével vált explicitabbá, és noha nélküle is értelmes szöveget kaptunk volna, ez az apró módosítás mégis gördülékenyebbé tette a szöveget.

Nincs ez másként a következő mondatpár esetében sem:

„И сама такой же воздушной оказалась, **как окружающая среда**, почти невесомой, словно неживой, нематериальной.”

„És ő maga is épp olyan légies volt, **mint az őt körülvevő levegő**, majdhogynem súlytalan, szinte élettelen, anyagtalan.”

Az idézett mondat félkövérrel kiemelt része is explicitált formát kapott a fordítás során. Az eredeti orosz szövegben szó szerint csak környezet szerepelt, de az egész mondat interpretálásából egyértelműen kiderült, hogy környezet alatt nem másra, mint a levegőre utalt a szerző, így a célnyelvi mondatban már ez is benne szerepel.

Konklúzióként elmondható, hogy a biztos nyelvtudás és kulturális ismeretek mellett a figyelmes és alapos fordítói olvasás is mind meghatározó szerepet játszanak a szövegértelmezésben, következésképpen az értelmezési nehézségek leküzdésében. A problémás részek többszöri átolvasása többnyire segíti a megértést, valamint beszédfordulatok, szólások és közmondások esetén az egy nyelvű értelmező szótárakra is támaszkodhatunk.

Forrásjegyzék:

<https://www.nyest.hu/hirek/piton-mcgalagony-fazekas-avagy-tulajdonnevek-a-muforditasban>

[http://real.mtak.hu/30972/1/11\\_Kappanyos\\_u.pdf](http://real.mtak.hu/30972/1/11_Kappanyos_u.pdf)

Falusi, M. (szerk.) 2017, Budapest: MMA MMKI

## Vjacseszlav Pjecuh

### A VÉG - KOMMENTÁROKKAL

Az ember azért mégis csak furcsa módon lett megkonstruálva, sőt túlságosan is. Vegyük például a farkast: mindent tud, ami szükséges neki ahhoz, hogy ellássa a funkcióit, akkor is, amikor elragadja a kolhozból a bárányokat, vagy amikor megpróbál meglógni a vadászok elől, és túl azon, amit természetből fogva tud, nem is kell mást tudnia. Nem így az ember: először is, jóval többet tud annál, mint ami valójában elengedhetetlen lenne funkcióinak ellátásához, másodszor pedig megszállottja a plusz ismeretek megszerzésére irányuló titokzatos törekvéseknek, noha a Prédikátor annak idején figyelmeztetett: „aki gyarapítja a tudást, a gyötrelmet is fokozza”, miközben az emberi kíváncsiság, amely rendszerint csak fölösleges jellemvonás, és egyáltalán nincs összhangban az ember mindennapi érdekeivel, és csak nagyritkán biztosítja a nagyobb jólétet vagy biztonságot, sőt éppen ellenkezőleg; mindenesetre ha az ember nem fedezte volna fel a puskaport, véget nem érő harcai megmaradtak volna késelésnek, tömegverekedésnek, olyasféléknek, mint amelyeket manapság a talponállók és sörözők környékén láthatunk. Fajunknak e kivételes sajátossága a következő gondolatot ébresztheti: az ember mégis metafizikai lény, még ha csak részlegesen, egyes megnyilvánulásaiban is, nem pedig teljes egészében. Már csak azért is lehet csupán részlegesen metafizikai lény, mert míg a farkasnak a maga korlátozott tájékozottsága mindig is a javát szolgálja, addig az ember, mindenek ellenére, csak a szenvedését gyarapítja. Az még rendben is lenne, ha ez a szenvedés a fejlődés bizonyos termékét jelentené, a tulajdonképpeni tudás pedig rejtett kincset érő áldás lenne, csak hát éppen maga a tudás nem más, mint merő szenvedés... Vegyük egy jellegzetes példát az életből: egy szép napon az egyik polgártárs, aki egy kisváros lakója volt, hülye fejfel felesleges kíváncsiságot tanúsított, és ezzel bajba sodorta magát; a polgártársat Ivan Ivanovics Ozerkannak hívták.

Nem volt még kifejezetten öreg, de valami olyasmi, inkább egy fiatalos, méltóságteljes ábrázatú, idősödő ember, amelynek általában a francia pincérek meg az orosz professzorok szoktak lenni; egykor a járási végrehajtó bizottság munkatársa volt, agglegény és – csak megjegyzésként – fékevesztett materialista. Szóval, Ivan Ivanovics egy szép napon olyan dologba ütötte az orrát, amibe nem kellett volna, és váratlanul olyan dolog történt vele, amit aztán sokáig nem tudott ésszel felérni. Minden azzal kezdődött, hogy egy könnyed mozdulattal meglökött egy ajtót, egy közönséges, sötétzöldre festett betétes ajtót, de hirtelen rosszul lett, és a gyengeségtől leült egy ládikóra. A következő pillanatban elakadt a lélegzete, aztán megszédült, és olybá tűnt neki, mintha álmodt volna: egy nagyon-nagyon hosszú létrát, amely lefelé visz, és két lépésre tőle egy borotvált tarkójú férfi lépdel le rajta, a távolban pedig hívogató fény pislákol. Egyébként mindez csak részben hasonlított álomra, a dolog sokkal inkább a Baratinszkij-szindrómára hasonlított, márpedig Baratinszkij azt mondta: „A létezés: sem nem álom, sem nem ébrenlét” –, vagyis Ozerkan esetében valami köztes állapot volt ez, amely valószínűleg csak részben hasonlított álomra. Ilyesmi már korábban is előfordult vele: első alkalommal az éjszaka kellős közepén mintha azt látta volna, hogy egy ismeretlen férfi áll a szoba közepén, háttal az ágyának, és titokzatos kézmozdulatokat tesz; másodjára pedig egy fehér macska jelent meg neki, amely mintha az örök nőiséget testesítette volna meg, és megpróbált bebújni hozzá a skót kockás takaró alá –, ezért aztán Ivan Ivanovics nem rémült meg különösebben, amikor rosszul lett, és a gyengeségtől leült a ládikóra.

De még csak most jön a történet java. A létra véget ért, fény villant fel, de valami furcsa, olívizöld árnyalatú, felbukkant négy nap, amelyek mintha penészesek lettek volna, és kissé egymásra is csúsztak volna, végül valami sápadt, sivataghoz hasonló végtelenség tárult a szeme elé, és amennyire látszott egyáltalán, ezt a sivatagot meztelen emberek tömege töltötte meg, akik csüggedten bóklásztak fel s alá a bokáig érő porban, amitől úgy látszott, mintha csonkokon mászkálnának ide-oda. Ezt a zűrzavart leszámítva csend honolt, akár a víz alatt.

– Semmit sem értek! – szólalt meg Ivan Ivanovics. – Hol vagyok? Kik ezek az emberek körülöttem? És miért meztelenek?!

A borotvált tarkójú kísérő nem felelt.  
– Vlagyimir Vlagyimirovics, érthetően kérdezem: hova a keserves édesanyjába hozott maga engem?!

– Szűrőállomásra.

– Igen, és?

– Az van, barátom, hogy most téged teljes szigorral át fognak világtítani.

– Nem kell engem átvilágtítani! – zúdult fel Ivan Ivanovics. – Hát miféle módi ez, hogy aki csak az utatokba téved, azt át akarjátok világtítani?!

– Téged senki sem kérdezett. Ha már egyszer ez a rend, akkor légy olyan kedves, dermedj, és dögölj.

– Tényleg, akartam is kérdezni, miféle rend ez?

– A rend a következő: először is, a friss halottakat átvilágtítják, hogy milyen a morális képük, aztán pedig elviszik őket az ennek megfelelő helyre.

„Aha! Szóval én egy friss halott vagyok! – gondolta Ivan Ivanovics Ozerkan. – Szóval, ezek szerint váratlanul meghaltam, amikor hirtelen rosszul lettem, és a gyengeségtől leültem a ládikóra...!”

Különös dolog: nem félt, sőt személyes létezésének ez az új módja még csak feszült kíváncsisággal sem töltötte el, ha csak az nem, hogy Ivan Ivanovicsra a csalódottság keserű érzete nehezedett: hogy, aszongya, egész életemben a Mengyelejev-féle periódusos rendszerben hittem, most meg hirtelen nesze neked, itt van ni: kiderül, hogy létezik túlvilág...

Egyébként ez várható is volt. Ha az ember képes a tagolt, artikulált beszédre, erre a csodák csodájára, amellyel össze sem hasonlítható a legmerészebb ószövetségi csoda sem, ha képes akár öntudatlan állapotban feltárni a világ kémiai szerkezetét, képzeletének pusztá erejével létrehozni olyan szuggesztív gondolatokat, amelyek aztán önmagukban anyagi hatalommá válnak, akkor nincs mit csodálkozni rajta, hogy az emberi tudat képes autonóm módon is működni, ráadásul alapvető és külső rendszerként. Ivan Ivanovics tapasztalata természetesen személyes tapasztalat volt, amelyet lehetséges, hogy a pszichikai tulajdonosságai vetítettek előre, másfelől viszont az is nyilvánvaló, hogy az ember

maga a csoda, mindenekelőtt csoda, ráadásul olyan elképzelhetetlen mértékben, hogy semmiképpen sem kizárható annak lehetősége, hogy a tudata és a lelke autonóm módon létezik. Ha a békák királykisaszszonnyá változása szokványos dolog lenne, ha a nátrium és a klór egyesüléséből gazdasági krízis születne, nem pedig konyhasó, vagyis ha a természetben lenne valami, ami csak egy kicsit is közelítene az „ember” szubsztanciájához, csak egyetlenegy lélegzet, amely vagy képes lenne katasztrófába sodorni az Isten világát vagy monadológiát alkotni, akkor még el lehetne ismerni, hogy az emberi nemre is kiterjed a vég általános törvénye, ellenben az ember annyira magányos, egyedi, példa nélküli jelenség a sokféle létforma között, hogy bármi elvárható tőle, akár a tudatának és lelkének önállósága is. E gondolatban főként az kelthet bennünk gyanakvást, hogy nálunk a lét korántsem minden esetben határozza meg a tudatot, hogy az ilyesmik egymástól függetlenül is léteznek, és mi lenne, mondjuk, ha a milliomos Szavva Morozov hirtelen agyonlőtte volna magát Nizzában, vagy ha az író Piszarjev, aki a Péter-Pál-erődben raboskodott, vidám bökverseket írt volna Puskin dicsőséges útjáról... Akárhogy is legyen, mindenesetre nem árt, ha az ember hegyezi a fülét, mert ne adj’ isten, kileheli a lelkét, és ahelyett, hogy örök álomba szenderülne, hirtelen valami szörnyű helyen találja magát, méghozzá pucéran, fázva, bokáig a porban tapodva...

– A morális képeket illetően nem aggódom – szólalt meg Ivan Ivanovics –, úgy vélem, hogy amióta az eszemet tudom, a rágalmazók és ellenségek ellen küzdöttem.

– Majd ott tisztázzák – tájékoztatta a kísérője.

Ivan Ivanovics azt felelte:

– Ehhez kétség sem fér!

És ekkor a másvilági tájképnek újfajta részletei tárultak fel, úgymint: egy magas fa, amely leginkább tölgyre hasonlított, csak vagy ki volt száradva, vagy a gyökerével felfelé nőtt; a fa alatt asztal állott, egy teljesen hétköznapi asztal, amely egészen földi módon zöld vászonnal volt leterítve, az asztalnál szemüveges férfi ült, és egy vastag füzetbe írt valamit.

Ivan Ivanovics elég furcsának találta, hogy a másvilágon annyi minden emlékeztet a való életre, legalábbis megtalálhatók az anyagi létezés

ilyen-olyan jellemzői, viszont nincs min csodálkozni: ha feltételezzük, hogy a síron túli lét, ha nem is a tökéletes tükörképe, de bizonyos értelemben az átalakult tükröződése a földi életnek, akkor kell, hogy legyenek benne füzetek is, terítők is, szemüvegek is. Bármennyire fantasztikusak is a másvilágról alkotott elképzeléseink, mindenképpen helyet kell találnia benne a különféle evilági dolgok megtestesülésének is ugyanúgy, mint ahogy álmunkban is újraalkotjuk az anyagi létezés tárgyait, sőt az embereket is, akiket vagy még sohasem láttunk azelőtt, vagy akik már rég átköltöztek a másvilágra.

A kísérő az asztalhoz vezette Ivan Ivanovicst.

– Neve? – kérdezte a szemüveges férfi.

Ivan Ivanovics bemutatkozott és megjéjdt.

– Úgy... – mondta a szemüveges férfi, elővett az asztal alól egy bőrkötéses fóliánst, fellapozta, megtalálta a szükséges oldalt, és elkezdte végighúzni rajta az ujját, hogy megkeresse a sort – Úgy: Ivan Ivanovics Ozerkan. Nézzük csak, mi van a rovásán... Egy faskamra felgyújtása, csoportos nemi erőszak elkövetése egy papi családból származó fiatal lányon, Znamjonszkaján, tagság az ateizmus élharcosainak társaságában, befejezetlen középfokú végzettség, különböző okból folytatott verkedések, szomszédjainak és kollégáinak hatvankét rendbeli feljelentése, házastársi hűtlenség, kétszeri kisebb lopás...

Ivan Ivanovics arca eltorzult, köhintett egyet, de hallgatott.

– És most, nézzük mit adott előlegbe: befejezetlen középfokú végzettség, négyévnyi önkéntes kényszermunka egy hadiüzemben, Nyiznyij Tagilban, krónikus tüdőgyulladás, álmatlanság, szűzföldek feltörése, hetvenkét rubel ötven kopejka nyugdíj, kibújás a sorkatonaság alól, összesen nyolc év és két hónap sorban állással töltött idő... Nos, mit lehet mondani: összességében, fifti-fifti.

A kísérő megjegyezte:

– Egyenes út a hatos számú „Oroszország” lágerbe...

– Nem mindegy neked? – szakította félbe a szemüveges férfi. – Na, szóval: elkíséred a klienst a hatos számú „Oroszország” lágerbe, és átadod Martinovnak, a saját kezébe, ő majd elhelyezi valahol.

A kísérő mutatóujjával könnyedén vállon bökte Ivan Ivanovicst, és elindultak. Pontosabban, nem elindultak, hanem inkább elkezdtek

helyet változtatni: porfelhőt hagyva maguk után, elrugaszkodtak a lábukkal, repültek egy kicsit, aztán újra elrugaszkodtak.

– Ki volt ez? – kérdezte óvatosan Ivan Ivanovics, a szemüveges férfire célozva. – Talán az Isten?!

– Na, azt ugyan lesheted, kispofám! – felelte a kísérő.

– Nem hiába tartottam magam ahhoz a platformhoz, hogy Isten nem létezik.

Nos, ahogy mondani szokás, talán igen, talán nem: a tengerimalacoknak tuti, hogy nincs Istenük, legalábbis közvetlenül nincsen, az embernek viszont állítólag van. És ennek vannak is aránylag súlyos bizonyítékai: Isten már csak amiatt is létezik, hogy az ember örök idők óta gyanakszik a létezésére, és fél tőle, illetve hogy az emberek döntő többsége, akiknek fogalmuk sincs az evangéliumi igazságról, úgy él, ahogy jó keresztényhez illik, és még az Amazon-vidékiek is nehezen hágják át a „Ne ölj!” parancsolatát; és bár igaz, hogy holló a hollónak nem vájja ki a szemét, de a halálbüntetéskor és a háborúban elkövetett gyilkosságra úgy hivatkozunk, hogy az ember az Istentől eredethez tethető, hiszen mi másnak is kellene lennie, ha nem egy kis istennek ahhoz, hogy átlépjen végzetén, és hozzászokjon a halálbüntetéskor és a háborúban elkövetett gyilkosságokhoz... Általában az agnosztikusok abból indulnak ki... vagyis nem is éppen abból, hogy az élet túlságosan igazságtalan és túlságosan gonosz, hanem hogy az Isten teljességgel elképzelhetetlen, habár bizonyos mértékig mégiscsak elképzelhető; ahhoz, hogy ésszel felfoghassuk Istent, elő kell vennünk egy papírlapot, kivágni rajta egy keresztet, és azon keresztül belenézni a fénybe: tulajdonképpen nincs ott semmi, csak egy lyuk, ami viszont egy fényességesen fényes kereszt. Végül is, az értelmileg ép embereknek figyelembe kell venniük, hogy lehetséges, hogy Isten nincs, mindenestre azonban nem árt úgy viselkednünk, mintha minden kétséget kizárólag mégiscsak létezne, és szakadatlanul figyelni minden egyes rejtett gondolatunkat, minden lépésünket. Csak nehogy rosszul járjunk!

– Sokáig bolyongunk még? – érdeklődött Ivan Ivanovics Ozerkan.

Mire a kísérője azt felelte:

– Nem mindegy az neked, te bajkeverő? Megtudod, ha odaérünk.



Körülöttük ugyanúgy az élettelen pusztaság terült el, mint azelőtt, amelyet vastagon por borított, és az egész olyan volt, mint valami földönkívüli táj, emiatt Ivan Ivanovics azt gondolta, hogy nem egy távoli égitesten van-e, amely esetleg nem is tartozik már a Tejúthoz. Továbbra is meztelen embertömegek taposták a port, de amikor Ivan Ivanovics közelebről megnézte őket, akkor látta, hogy mindegyik szerencsétlen szabályosan körbe-körbe jár, és eltűnődve mormog magában valamit az orra alatt, miközben rá sem hederít a szomszédjaira, és még grimaszolt és hadonászott is hozzá, és időnként az ég felé emelte révedt tekintetét.

– Ezek meg mit csinálnak?

A kísérő azt mondta:

– Szenvednek a bűneikért az átkozottak. Undokságokat csináltak, mindenfélét elkövettek, most pedig megbűnhődnek érte! De ezek még viszonylag kis halak: olyanok, akik nem fizettek tartásdíjat, hamiskártyások, ittas vezetők.

– És sokáig kell még így járkálniuk?

– Örökké.

– És mi a helyzet a tüzes gyehennával?

– A tüzes gyehenna tulajdonképpen nem más, mint egy örökké tartó tüdőgyulladás, negyvenegy-negyvenkét fokos lázzal. Ott, természetesen, komoly társaság gyűlt össze, főként néptribunok és hóhérok.

– Szerintem ez nem büntetés, hanem ajándék. Minden néptribun azt mondhatja, hogy: jobb az örökké tartó tüdőgyulladás, mint az örökké tartó semmi.

– Lehet, hogy ezt mondják... az első fél órában...

– És milyen büntetések vannak még?

– Különfélék – válaszolta nagyot sóhajtva a kísérő –, a békétlenekkel vizet hordatnak, a „nem szándékosan”-ért szándékosan ütnek, és van még örökké tartó hasmenés is, amelyet hazaárulásért adnak.

És valóban: a meztelen emberek, akik körbe-körbe botorkáltak és mormogtak valamit az orruk alatt, jobbról egyre inkább elmaradtak, és egy tágas mező tárult a szemük elé, amely guggoló emberekkel volt tele, akik komoran bámultak a messzeségbe. A mezőn túl ólmosan csillogott egy kanyargós folyó, azon túl egy kerítés rajzolódott ki,

amelynek nem volt se vége, se hossza, a kerítésen túl pedig – egészen a horizonton – hatalmas fák koronái magasodtak, a szokásos szemet gyönyörködtető zöld árnyalatban; friss levegő áradt arról, és mintha valami kellemes hang is hallatszott volna. „Valahogy mintha túlságosan is sok hazaárulónk volna” – gondolta Ivan Ivanovics, de hangosan már másról érdeklődött:

– Az ott, a kerítés mögött, véletlenül nem a mennyország?

– Nincs kizárva.

– Nem tudja véletlenül, mi lehet ott a mennyországban?

– Honnan tudnám?!

– Hát, talán keringenek valami szóbeszéddek...

– Nem keringenek itt semmiféle szóbeszéddek, szerintem itt én vagyok az egyetlen, aki kering.

Már a tágas mezőt is maguk mögött hagyták, és a folyót is átugrották, amely tulajdonképpen az örökös szomjúság csillapítására szolgált, és már egy karnyújtásnyira voltak a véget nem érő kerítéstől, amikor a kísérő azt mondta:

– Lehet, hogy ez itt egyáltalán nem is a mennyország, hanem... csak hogy zavart keltsen...

És valóban, a mennyország létezése, mint a makulátlanul tiszta lelkek számára a fellegekben fenntartott menedék léte már csak azért is kétséges, mert nincsenek makulátlanul tiszta lelkek. Igaz, a keresztény hagyomány bizakodik az Úr végtelen kegyelmében, hogy megbocsátja az emberi gyengeségeket, de ha még az indulatosság is megbocsáthatatlan, halálos bűn, ha egy férfi, aki egyszer sem vétett Krisztus hetedik parancsolata ellen, már valami rendkívüli jelenség, ha a különcök, akik szétosztják vagyonukat a részeges koldusok közt, ugyanolyan furcsán hatnak, mint a Steller-tengeritehén, akkor aligha lehet az Úr kegyelmében bizakodni.

Következésképpen, úgy látszik, hogy csak a pokol van meg az örökké tartó semmi. Ez már csak azért is így van, mert a lelkünk ugyanúgy fejlődik, mint ahogyan a testünk burka is, de nem önállóan, hanem az emberiség társadalmi lelkületével összhangban, amelyet általában a „kultúra” szóval jelölünk, értve ezalatt, hogy a központjában maga az ember áll; bizonyos szerencsés esetekben végbemegy e lelkek diffúzió-

ja, és akkor a halandó lény olyan hallatlan energiára tesz szert, amely még fizikailag sem képes eltűnni a szervezet életműködésének megszűnésével, és képes megmagyarázni néhány olyan jelenséget, amely materialista szemszögből megmagyarázhatatlan, például a látomások, a Baratinszkij-szindrómát, a gondolatátvitelt, a megvilágosodást, a lelki rokonságot; más, szerencsétlenebb esetekben, amikor a test térfogata valamilyen oknál fogva felülmúlja a lélek térfogatát, születnek az érzékeny gyilkosok, az erőszaktevők, a társadalmi igazságosságért küzdők, egyáltalán, a legkülönfélébb gazemberek és hóhérok; e példányoknak olyan gyenge a lelki energiája, hogy a szervezet életműködésének megszűnésével teljes egészében és mindörökké eltűnik; hogy melyik a jobb, természetesen nem tudjuk, de szeretnénk azt gondolni, hogy talán mégis jobb az örökös tüdőgyulladás, mint az örökké tartó semmi.

Mindeközben az utat eltorlaszolta a kerítés, amelynek nem volt se vége, se hossza. A kísérő balra fordult, és elindult a kerítés mentén, Ivan Ivanovics Ozerkan pedig akarva-akaratlanul követte. Figyelemre méltó, hogy itt is, ott is feliratok ötlöttek a szemébe, amelyeket ki tudja, ki készített, és közöttük volt a következő versike is:

Lehetsz te jó vagy rossz,  
A helyzeted is lehet fura,  
Azért fohászkodik minden orosz,  
Hogy megáldjon az egek ura!

- Egész túrhető versike – nyilatkozott Ivan Ivanovics Ozerkan.
- Amilyen az író, olyan a vers – értett egyet vele a kísérő. – Egyszerű írók ülnek ott a kerítés mögött: realisták, hivatásos siratók, környezetvédők, leleplezők és egyéb sületlenek...
- Ha itt írók szenvednek, akkor nem értem, hogy én miért ide kerültem?!

Ez pedig pontosan érthető. A helyzet az, hogy az írói hivatás önmagában véve bűn; először is azért, mert egy komoly író isteni pozícióra tör már azzal, hogy a semmiből teremt világot, másodsor pedig azért, mert az írók többsége nem alkot, hanem szorgalmasan papírra veti a közéleti és magánéleti tények utáni benyomásait, és e tekintetben cseppet sem különböznek sem a hivatásos, sem a meggyőződéses besúgók-

tól. Ezenkívül az író olyan káros kíváncsiságot szít a polgárok körében, amely kis híján már az új vadtság állapotába sodorta az emberiséget, miközben a kérdések kérdése már rég meg van oldva: Isten nem létezik, mert kimondatott: „Az én országom nem ebből a világból való”; mert hát miféle Istenünk lehetne nekünk, gazembereknek, ha a feleségünkkel is ellenséges viszonyban vagyunk a bolygók közötti összeköttetéseknek és az egész ország komputerizálásának korszakában...

A kerítésen hirtelen kitért egy kiskapu, amelyet nehéz lett volna távolról észrevenni, és a vándorok előtt megjelent egy zord tekintetű, de egyébként teljes egészében véve szánalmas főszer – valószínűleg ő volt az a híres-neves Martinov, a hatos számú „Oroszország” láger parancsnoka. A kísérő eltűnt, pontosabban elillant a levegőben, Martinov pedig egy fejbiccentéssel beljebb invitálta Ivan Ivanovicst.

Kiderült, hogy valójában egyáltalán nem kerítés volt ott, hanem egy barakk fala, amelynek se vége, se hossza nem volt. Egy perc múlva láthatóvá vált a földpadló is, a távolban csoportokba verődött emberek, akik beszélgettek egymás közt, és láthatóvá vált a szemközti fal is, amely talán határos volt a mennyországgal, és amely annyira tele volt csótánnyal, hogy azt még elképzelni is nehéz.

– És most hogyan tovább? – kérdezte Ivan Ivanovics Ozerkan.

Martinov nem válaszolt. Olyan makacsul, reménytelenül nem válaszolt, hogy Ivan Ivanovics elgondolkodott: egész egyszerűen hallgatag, úgy látszik, neki ilyen büntetés jutott.

– Apropó, nem olvasta véletlenül Blaise Pascalt? – kérdezte Ivan Ivanovics, csak azért, hogy ellenőrizze feltevését. – Mert hogy van neki egy merész gondolata: napjainkban, amikor az igazság, úgy tűnik, visszavonhatatlanul elveszett, csak az képes azt megtalálni, aki úgy szereti, mint önmagát...

Martinov nem válaszolt.

Ekkor Ivan Ivanovics elindult a barakk szemközti fala irányába, egy ideig figyelte a csótányok mozgását, aztán pedig elkezdett a körmével kis lyukat vájni, mivel elképesztően kíváncsi volt: vajon mi lehet ott, a mennyországban?

*Debreceni Ferenc fordítása*

DEBRECENI FERENC

FORDÍTÓI KOMMENTÁR

Vjacseszlav Pjecuh *A vég – kommentárokkal* című elbeszéléséhez

Vjacseszlav Pjecuh a Moszkvai Pedagógiai Főiskolán végzett történelem szakon. Több mint egy évtizeden keresztül történelemtanárként dolgozott, mígnem 1983-tól egy sor új területen próbálta ki magát, hogy megkeresse mindennapi betevőjét. Dolgozott rádiótudósítóként, zsaluzó ácsként, lakatosként, továbbá egy vízi erőmű építkezésén és egy aranybányában is. 1991-ben sikerült újra megállapodnia, amikor is a *Druzszba Narodov* című folyóirat főszerkesztője lett. A nyolcvényi „kalandozás” a különböző munkák világában igen gazdag élettapasztalatot és rengeteg élményt adott Pjecuhnak, amit remekül fel tudott használni műveiben.

1978 óta publikál, első könyve 1983-ban látott napvilágot. Írásai sorra jelentek meg különböző rangos irodalmi folyóiratokban, olyanokban, mint a *Novij Mir*, a *Druzszba Narodov*, a *Znamja*, az *Oktyabr* és mások. Számos oroszországi irodalmi díjjal tüntették ki.

Pjecuh szépirodalmi írásai leginkább az esszé műfajával olvadnak össze, vagy tisztán azok. Jevgenyij Sklovszkij szerint „Pjecuh írásainak többségében az orosz nemzeti jellem, az orosz történelem drámai fordulatai vagy az orosz »talajos« felfogás felé fordul”<sup>43</sup>. Indulásakor, a 80-as évek elején a korabeli kritika az úgynevezett falusi próza képviselői közé sorolta. Pjecuhot ma általában a „másik irodalom” és azon belül is az ironikus avantgárd csoportjához szokás sorolni. Korai prózájának jellegzetes hősei népi figurák, a társadalomból kihullott, helyüket nem találó különcök, „akik nemcsak önálló filozófiára tartanak igényt, de önálló, egyedi életstílusra is.”<sup>44</sup> – írja Sklovszkij. Pjecuh ezzel mintegy továbbviszi a Suksin-próza tradícióját, elsősorban a „csodabogár” (чудик) hősökkel.

<sup>43</sup> Евгений Шкловский: <https://info.wikireading.ru/242343>

<sup>44</sup> Евгений Шкловский: <https://info.wikireading.ru/242343>

A 80-as évek végétől írásaiban a történelemfilozófiai tematika válik meghatározóvá. Alapos történelmi ismereteit azonban történészhez egyáltalán nem illő módon használja, hiszen felteszi a kérdést: mi lett volna, ha...? Ez a kiindulópontja a *Rommat* – vagyis Romantikus materializmus – (1989) című regényének, amelyben azzal a gondolat-tal játszik el, hogy mi lett volna, ha 1825 decemberében a dekabristák győztek volna. Pjecuh regényeit kritikusai gyakran bírálták bonyolult stílusa és didaktikus hangvétele miatt, azt azonban mindenképp el kell ismerni, hogy a mai, kortárs orosz prózában egyedülálló módon jelenik meg nála a „talajos”, neozslavofil gondolkodásmód.

Az 1997-ben megjelent *Goszudarsztvennoje gyitya* (Az állam gyermeke) című elbeszéléskötetében – amelyből néhány elbeszélés megjelent magyarul is: *A bal oldal* (Levaja sztorona), *A padlódeszka* (Doszki), *És mi van a hátizsákban, fiúk?* (A csto u vasz, rebjata, v rjukzakah?), *Pünkösdhétfő* (Duhov gyeny), *Zsirnov és Piszulin* (Zsirnov i Piszulin) – visszatér a 80-as években írt műveinek problematikájához, hőseihez és helyszíneikhez, vagyis újból a falusi próza felé fordul. Hősei a megváltozott, új körülmények között – a szocializmus helyett a „kapitalizmus építése” – próbálják tengetni nem egyszerű hétköznapijait. Pjecuh ezekben az elbeszélésekben bemutatja, hogy a falusi társadalom hogyan válik egyre üresebbé és értelmetlenebbé, és képviselőinek, a parasztoknak lumpenizálódását.

Ugyan Pjecuh témája Oroszország és az orosz falu, jelen írásában, *A vég – kommentárokkal* (Koncsina i kommentariji) kitekint ebből a világból, mégpedig nem is akárhová, hanem a másvilágba, ami kísértetiesen hasonlít az élők világára. Nehéz lenne egyértelműen feltárni ennek az elbeszélésnek az egyértelmű, világos értelmét, hiszen egyfelől a „szovjet mentalitás” szatírája, másfelől pedig a bűnről, a halálról, a feltámadásról, a pokolról és a mennyországról alkotott keresztényi felfogás ironikus ábrázolása. Ivan Ivanovics Ozerkan materialista világszemlélete ellenére egyszer csak a túlvilágon találja magát. De ez a „pokol” sokkal inkább emlékeztet a sztálini idők hírhedt légereire, illetve felfedezhetjük Dosztojevskij földi „poklának” attribútumait is, melynek csótányokkal teli falain túl ott találjuk a mennyországot, vagy legalábbis egy annak tűnő valamit, hiszen még az is kérdéses, hogy Is-

ten létezik-e, vagy sem; bár úgy tűnik, hogy inkább igen, mint nem. Viszont ahhoz, hogy létezik-e pokol, kétség sem fér, és természetesen, ha pokol létezik, akkor létezik a Sátán is, máskülönben nem lehetne megmagyarázni azt a rengeteg erőszakot, ami végigkísérte az emberiség egész történetét.

Vjacseszlav Pjecuh népszerű írónak számít Oroszországban, köszönhetően humorának és gazdag nyelvi fantáziájának. Itthon, Magyarországon azonban majdhogynem teljesen ismeretlen a neve. Mindössze néhány írása jelent meg magyar nyelven, az előzőekben felsoroltakon kívül a következők: *Panasz* (Zsaloba, 1989), a *Szombat* (Szubbotá, 1989) című fejezet az *Új moszkvai filozófia* (Novaja moszkovszkaja filozofija) című kisregényből, *Újüzem* (Novij Zavod, 1989), *Pünkösdhétfő* (Duhov deny, 1997), *Elefántcsonttorony* (Basnya iz szlounovoj kosztyi, 2012).

Végezetül, engedtessek meg, hogy ismét Sklovszkijt idézzem, hiszen ez a mondat remekül kifejezi Vjacseszlav Pjecuh prózájának mibenlétét: „Élesen érzékeli a társadalmi és erkölcsi élet megkövesedett fogalmait, amelyek sztereotípiákká, klisékké válnak, vagyis elhalnak, és igyekezik szétrombolni ezeket, megmutatni abszurditásukat, miközben arra is figyelmeztet, hogy ezeken az alapokon egy új mitológia is születhet.”<sup>45</sup>

Fontosabb kötetei: *Alfavit* (Ábécé) (1983), *Veszjolije vremena* (Vidám idők) (1988), *Novaja moszkovszkaja filozofija* (Új moszkvai filozófia) (1989), *Cikli* (Ciklusok) (1991), *Goszudarsztvennoje gyitya* (Az állam gyermeke) (1997).

Itt közölt írása az *Oktyabr* 1998. évi 9. számában, majd a *Russzkije anyekdoti* (Orosz anekdoták) (2000) című kötetében jelent meg.

<sup>45</sup> Евгений Шкловский: <https://info.wikireading.ru/242343>

## A FORDÍTÓ UTÓIRATA A MŰHÖZ

Mint ahogyan azt a fentiekben már említettem, Pjecuh népszerűsége egyfelől gazdag nyelvi fantáziájának és humorának köszönhető, másfelől annak, hogy írásai egy része esszéisztikus formában íródott. Ez a párosítás olvasói szempontból mindenképp érdekes fogásnak tűnhet, a fordítót viszont nehéz, olykor pedig megoldhatatlan feladat elé állítja.

A szöveg egyes bekezdései sokkal inkább hasonlítanak egy filozófiai traktátusra, mintsem egy irodalmi műre: ezt támasztja alá a következetesen végigvitt gondolatmenet (sokszor nem kevés iróniával fűszerezve), a szóhasználat és a mondatszerkesztés. A szerző gyakran használ a szövegben, mintegy a „tudományosság kedvéért”, idegen szavakat, amelyek fordítása többször problémát jelent, ugyanis magyarul sokszor zavaróan hatott volna, ha megmaradtak volna az idegen szavak és kifejezések. Egy kiragadott példa: az eredetiben találkozhatunk ezzel a kifejezéssel „не автономно”. Itt én a magyarosítás mellett döntöttem, és úgy fordítottam, hogy „nem önállóan”, mivel a szó szerinti „nem autonóm” vagy valami ehhez hasonló kifejezés nem használatos a magyar nyelvben. A mondatok szintjén a legnagyobb kihívást a többszörösen összetett mondatok jelentették, hiszen egyik-másik majdhogynem egy egész bekezdést tesz ki. A bonyolult, többszörösen összetett mondat, amelyben a tagmondatokat leggyakrabban melléknévi igeneves szerkezettel köti össze a szerző, a magyar nyelvben – a vonatkozó névmások használatának nehézsége miatt – helyenként szinte visszaadhatatlan, vagy legalábbis követhetetlenül bonyolulttá válik. Ez még akkor is zavaró, ha világosan érződik az a szerzői szándék, hogy az eredeti szöveg is helyenként követhetetlenül bonyolulttá, ha úgy tesszük, tudálékossá váljon. A mondatszerkesztés egyértelműen imitálja a tudományos esszéik stílusát: közbevetések („az emberi kíváncsiság, amely rendszerint csak fölösleges jellemvonás” – itt nemes egyszerűséggel a pusztán kíváncsiságról van szó, de mennyivel „tudományosabban” hangzik így), vagy a melléknévi és határozói igenevek használata, ami az oroszban leginkább az írott nyelv (publicisztikai és tudományos stílus) jellegzetessége (a beszélt nyelvben kevésbé fordul elő, legalábbis nem akkora számban, mint az írottban), de a magyarra fordításkor

kénytelenek vagyunk feloldani ezeket, olykor újabb tagmondat betoldásával, mivel az orosz szó a magyarban azzal a szófajjal nem fejezhető ki, vagy nagyon furcsának hatna.

Mindemellett a tudományos stílusba gyakran beszélt nyelvi szavakat és kifejezéseket vegyít: „дескать, всю жизнь верил в периодическую систему Менделеева и вдруг, здравствуйте, я ваша тетя: оказывается, существует загробный мир...”, amit én a következőképp próbáltam magyarul visszaadni: „hogy, aszongya, egész életemben a Mengyelejev-féle periódusos rendszerben hittem, most meg hirtelen nesze neked, itt van ni: kiderül, hogy létezik túlvilág”. A дескать szót közbevetett szóként használják valaki más szavainak visszaadásánál, és erősen beszélt nyelvi, de ebben a mondatban a nagyobb problémát a „здравствуйте, я ваша тетя” kifejezés jelenti, mivel ez a Brandon Thomas *Charlie nénye* című vígjátéka alapján készült, 1975-ös szovjet tévéfilm címére tett utalás is: Здравствуйте, я ваша тетя!. A szó szerinti „Jó napot, én vagyok a nagynénétek” megoldás azért nem követhető, mert a magyar nyelvben e kifejezés nem hordozza a „nesze neked” jelentést. Az, hogy a nem szó szerinti fordítással elvész a tévéfilmmel való intertextuális játék, szintén nem jelent valódi veszteséget, hiszen a magyar olvasó számára az ismeretlen szovjet tévéfilmre tett utalás amúgy is elveszett volna.

De talán szemléletesebb példa a держи карман шире kifejezés, ami szó szerinti fordításban „tárd nagyobbra a zsebed” lenne, ha a kifejezés nem lenne frazeologizmus, amelyet nyilvánvalóan nem szabad szó szerint érteni és fordítani. A kifejezés nagy erősen beszélt nyelvi, sőt stílusát tekintve inkább durva és vulgáris, ezért egy stílusban megfelelő kifejezést próbáltam találni, és így lett belőle: „Na, azt ugyan lesheted, kispofám!”. De mit tehet a fordító akkor, ha a szerző egy frazeologizmust a szó szerinti értelmében használ, ahogyan az az alábbi esetben történt: „Кары бывают разные, – со вздохом отвечал ему проводник, – на сердитых воду возят” szerepel az eredeti szövegben, amit a következőképpen fordítottam magyarra: „Különfélék – válaszolta nagyot sóhajtva a kísérő –, a békétlenekkel vizet hordotnak”. Itt a probléma a на сердитых воду возят kifejezésben keresendő, ami eredetileg egy orosz közmondás, és amit itt szó szerinti jelentésben

használ az író. A vicces közmondás arra hívja fel az embert, hogy nem érdemes mindenféle apróságok miatt mérgeledni. Általában akkor használják, ha le akarnak nyugtatni valakit, akinek a dühe nem tűnik túlságosan megalapozottnak. Magyar megfelelője: aki haragszik, annak nincs igaza. Itt nyilvánvaló nyelvi humorról van szó, ami magyarul átadhatatlan.

Egyébként találunk még a műben efféle kétértelmű kifejezéseket, például a мужичок szót, amely a мужик szó kicsinyítő képzős alakja, és amelynek az oroszban több jelentése is van: 1. férfi; 2. férj; 3. tanulatlan, durva, faragatlan férfi; 4. orosz paraszt, muzsik; 5. elítélt, az orosz bürokrácia közepén elhelyezkedő rab, aki egyszerűen csak büntetését tölti, és nem „hivatásos” vagy „besúgó”. Itt nyilvánvalóan a ’férfi’ és az ’elítélt’ jelentés az, ami érdekes számunkra, de a ’tanulatlan, durva, faragatlan férfi’ jelentés is ide érhető, mivel ezt a szót Martinovra használja az elbeszélő, aki a hatos számú „Oroszország” láger parancsnoka. Erre a szóra próbáltam a magyar büntözlengben is használatos szót találni, és jobb híján a „főszer” szót választottam.

Másik ilyen kétértelmű kifejezés a мир Божий („только одно-единственное дыхание, способное подвести мир Божий под катастрофу”, magyarul: „csak egyetlenegy lélegzet, amely képes katasztrófába sodorni az Istennek békességét”). Ez a Bibliából vett kifejezés, ott Istennek békességeként szerepel (*Kolosszeiekhez írt levél* 3:15, *Filippiekhez írt levél* 4:7), de fordítható Isten világaként is, hiszen az oroszban a мир szónak két jelentése van: béke és világ, és itt véleményem szerint mind a két jelentés helytálló, azonban mivel ezt a kétértelműséget sem lehet visszaadni magyarul, így az eredeti, Bibliából vett értelmezés használata mellett döntöttem.

Ezen az egy kifejezésen kívül más, szintén a Bibliából vett idézet is szerepel a műben vendégszöveggént. Ezek többnyire ismert, nevezetes bibliai sorok, melyek beazonosítása véleményem szerint nem okoz túl nagy nehézséget, illetve ezek értelmezéséhez sem szükséges kommentárokat fűzni. Mindössze annyit szeretnék megjegyezni, hogy a bibliai idézetek különböző fordításokban szerepelnek: A Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája (RÚF 2014) és a Szent István Társulat Bibliája (SZIT) alapján.

Mínt hogy Pjecuh jelen írása – ahogyan azt korábban említettem – a „szovjet mentalitás” szatírája is, a szovjet politikai zsargon, illetve a szovjet kultúra jó néhány eleme is felfedezhető a szövegben, amihez, úgy gondolom, szintén nem szükségeltetik túl sok magyarázat. Itt két vendégszövegre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik ilyen szöveg Majakovszkij *Vlagyimir Iljics Lenin* című poémájából származik: „замри и ляг”, ami Csala Károly fordításában „dermedj és dögölj”-ként szerepel. A pontosság és az intertextuális utalás kedvéért meghagytam ezt a variációt, annak ellenére, hogy aligha fog akadni olyan olvasó, aki az idézetre magyarul ráismer, vagyis az utalás vélhetőleg mindenképpen elvész, illetve annak ellenére is, hogy a magyar mondatba ez az idézet nem illeszkedik olyan szervesen, mint az orosz szövegbe a Majakovszkij-idézet. A másik ilyen vendégszöveg, pontosabban inkább egy átirata az eredetinek: „egymástól függetlenül válnak anyagi hatalommá”. Ez Karl Marx: *A hegeli jogfilozófia kritikájához. Bevezetés.* című írásából származó átvétel. Az eredetiben így szerepel: „[...] az elmélet is anyagi hatalommá válik, mihelyt a tömegeket megragadja.”

Ehhez a részhez kapcsolódóan szeretném még egy szóra felhívni a figyelmet, egy olyan szóra, amelynek jelentése talán nem is egészen világos. Ez a szó a szűrőállomás, amely nem tévesztendő össze a különböző egészségügyi létesítményekkel. A szűrőállomás olyan speciális intézmény, amelyet háború idején a hadművelési területen feltartóztatott gyanús személyek, illetve az ellenséges területről átjövő személyek számára hoztak létre ellenőrzés, átvilágítás céljából. Békeidőben azokat a személyeket szállítják ide, akiket a határország az államhatár megsértése miatt feltartóztat, vagy akik keresett személynek minősülnek. Ennek alapján a ’szűrés’ helyett szemantikailag szerencsésebb választás az átvilágítás. A fordításban ennek megfelelően, kontextustól függően vagy a szűrést, vagy az átvilágítást használtam, hogy megmaradjon mind az eredeti *фильтровать* ige pontos, szó szerinti jelentése is – annál is inkább, mert a leírt intézményt a magyar szakzsargon is szűrőállomásként határozza meg – mind a magyar nyelvben helytállóbb átvilágítás is.

Végezetül még egy fordítási problémát szeretnék kiemelni, a műben szereplő kis versikét, amely oroszul így hangzik:

Пусть характер твой рассеян  
И позиция странна,  
Исполать тебе, Расея,  
Черно-белая страна!

Szó szerinti fordításban magyarul így hangozhatna:

Hadd legyen csak jellemed szórakozott,  
És a helyzeted furcsa,  
Dicsőség néked, Oroszhon,  
Fekete-fehér ország!

Nyilván az egyik nehézséget maga a versforma jelenti, hiszen ügyelni kellene a ritmusra, a rímképletre, másfelől minél pontosabban vissza kellene adni a tartalmat is. Ezen kívül találunk a versben nyelvi humort is, ami a *рассеян* – figyelmetlen, szétszórt, szórakozott szó és a *россиянин* – orosz (hivatalosan az Oroszországi Föderáció állampolgára) szó hasonló hangzásából ered. Szintén érdekes a *Расея* szóhasználat a *Россия* alak helyett. A *Расея* egy beszélt nyelvi változata Oroszországnak, ami gyakran ironikus értelemben használatos. A vers fordításának végső változata, mondhatni, csupa kompromisszum: feladja a szó szerinti fordítás lehetőségét, főként azért, hogy a versnek megmaradjon a bökvers vagy csasztuska jellege, illetve hogy más, a magyar olvasó számára érvényes nyelvi humort játékba tudjon hozni.

